

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Отделение историко-филологических наук

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Журнал основан в январе 1952 года

Выходит 6 раз в год

1

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

Москва

2022

Главный редактор:

В. А. Плунгян д. ф. н., проф., академик РАН, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Зам. главного редактора:

Н. Б. Вахтин д. ф. н., проф., чл.-корр. РАН, Европейский университет в Санкт-Петербурге; Институт лингвистических исследований РАН

В. И. Подлесская д. ф. н., проф., Российский государственный гуманитарный университет

Редколлегия:

В. М. Алпатов д. ф. н., проф., академик РАН, Институт языкознания РАН

Ю. Д. Апресян д. ф. н., проф., академик РАН, Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН; Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН

И. М. Богуславский д. ф. н., проф., Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН; Мадридский политехнический университет, Испания

М. Д. Воейкова д. ф. н., Институт лингвистических исследований РАН

В. З. Демьянков д. ф. н., проф., Институт языкознания РАН

Д. О. Добровольский д. ф. н., проф., Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН; Институт языкознания РАН; Стокгольмский университет, Швеция

В. А. Дыбо д. ф. н., академик РАН, Институт славяноведения РАН

А. Ф. Журавлёв д. ф. н., Институт славяноведения РАН; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

П. В. Иосад Ph.D., Эдинбургский университет, Великобритания

Н. Н. Казанский д. ф. н., проф., академик РАН, Институт лингвистических исследований РАН

В. И. Киммельман Ph.D., Бергенский университет, Норвегия

Г. И. Кустова д. ф. н., проф., Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН

А. М. Молдован д. ф. н., академик РАН, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН

М. С. Полинская Ph.D., проф., Мэрилендский университет, США

Е. В. Рахилина д. ф. н., проф., Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН

Я. Г. Тестелец д. ф. н., проф., Российский государственный гуманитарный университет; Институт языкознания РАН

Л. А. Янда Ph.D., проф., Университет Тромсё — Норвежский арктический университет, Норвегия

Зав. редакцией: Н. В. Ганнус

Зав. отделами: Л. С. Козлов, А. С. Кулева

Статьи отбираются редколлегией журнала на основе анонимного независимого рецензирования.

Индексируется в: Российский индекс научного цитирования (РИНЦ); Brill Linguistic Bibliography (Online); Cambridge University Press Language Teaching (Online); De Gruyter Saur Dietrich's Index Philosophicus; EBSCOhost MLA International Bibliography (Modern Language Association); Elsevier BV Scopus; European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS); Gale MLA International Bibliography (Modern Language Association); ProQuest Linguistics and Language Behavior Abstracts (Online), Core; ProQuest MLA International Bibliography (Modern Language Association); Russian Science Citation Index (RSCI); Web of Science Core Collection's Emerging Sources Citation Index (ESCI); Wiley-Blackwell Publishing Ltd. Linguistics Abstracts (Online).

Адрес редакции: 119019, Москва, ул. Волхонка, 18/2, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, редакция журнала «Вопросы языкознания»

Телефон: +7 495 637-25-16

E-mail: voprosy@mail.ru

Сайт: <https://vja.ruslang.ru>

ISSN 0373-658X

© Российская академия наук, 2022

© Составление. Редколлегия журнала «Вопросы языкознания», 2022

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

Department of History and Philology

VOPROSY
JAZYKOZNANIJA
(TOPICS IN THE STUDY OF LANGUAGE)

Founded in January 1952
6 issues per year

1
JANUARY — FEBRUARY

Moscow
2022

Editor-in-chief:

Vladimir A. PLUNGIAN Vinogradov Russian Language Institute (RAS); Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Assistant editors:

Vera I. PODLESSKAYA Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia
 Nikolai B. VAKHTIN European University at St. Petersburg; Institute for Linguistic Studies (RAS), St. Petersburg, Russia

Editorial board:

Vladimir M. ALPATOV Institute of Linguistics (RAS), Moscow, Russia
 Yury D. APRESJAN Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (RAS); Vinogradov Russian Language Institute (RAS), Moscow, Russia
 Igor M. BOGUSLAVSKY Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (RAS), Moscow, Russia; Universidad Politécnica de Madrid, Spain
 Valery Z. DEMYANKOV Institute of Linguistics (RAS), Moscow, Russia
 Dmitriy O. DOBROVOL'SKIY Vinogradov Russian Language Institute (RAS); Institute of Linguistics (RAS), Moscow, Russia; Stockholm University, Sweden
 Vladimir A. DYBO Institute of Slavic Studies (RAS), Moscow, Russia
 Pavel IOSAD University of Edinburgh / Oilthigh Dhùn Èideann, UK
 Laura A. JANDA Universitetet i Tromsø: Norges arktiske universitet, Tromsø, Norway
 Nikolai N. KAZANSKY Institute for Linguistic Studies (RAS), St. Petersburg, Russia
 Vadim KIMMELMAN University of Bergen, Norway
 Galina I. KUSTOVA Vinogradov Russian Language Institute (RAS), Moscow, Russia
 Aleksandr M. MOLDOVAN Vinogradov Russian Language Institute (RAS), Moscow, Russia
 Maria POLINSKY University of Maryland, College Park, USA
 Ekaterina V. RAKHILINA HSE University; Vinogradov Russian Language Institute (RAS), Moscow, Russia
 Yakov G. TESTELETS Russian State University for the Humanities; Institute of Linguistics (RAS), Moscow, Russia
 Maria D. VOEIKOVA Institute for Linguistic Studies (RAS), St. Petersburg, Russia
 Anatoly F. ZHURAVLEV Institute of Slavic Studies (RAS); Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Managing editor: Natalia V. GANNUS

Editorial staff: Lev S. KOZLOV, Anna S. KULEVA

Articles are selected by the editorial board on the basis of anonymous double-blind independent peer review process.

Abstracting/Indexing: Brill Linguistic Bibliography (Online); Cambridge University Press Language Teaching (Online); De Gruyter Saur Dietrich's Index Philosophicus; EBSCOhost MLA International Bibliography (Modern Language Association); Elsevier BV Scopus; European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS); Gale MLA International Bibliography (Modern Language Association); ProQuest Linguistics and Language Behavior Abstracts (Online), Core; ProQuest MLA International Bibliography (Modern Language Association); Rossiiskii indeks nauchnogo tsitirovaniya (RINTs); Russian Science Citation Index (RSCI); Web of Science Core Collection's Emerging Sources Citation Index (ESCI); Wiley-Blackwell Publishing Ltd. Linguistics Abstracts (Online).

Address: "Voprosy Jazykoznanija", editorial office, Vinogradov Russian Language Institute (RAS), Volkhonka street, 18/2, Moscow, 119019, Russia

Telephone: +7 495 637-25-16

E-mail: voprosy@mail.ru

Website: <https://vja.ruslang.ru>

ISSN 0373-658X

Содержание

С. В. КНЯЗЕВ. О фразовой интонации в русских говорах с пословным мелодическим оформлением	7
М. КАРОВИЋ. On the accent of Croatian <i>kako</i> ‘how’ and related words	40
О. STERIOPOLO, E. STERIOPOLO. The division of GENDER	59
Л. Ф. КИЛИНА, А. СОКОЛОВА. Феминитивы с суффиксом <i>-ux(a)</i> в текстах XVIII–XX вв.: корпусное исследование	85

Из истории науки

С. Т. Золян. Юрий Лотман: о проблемах языка и языкознания	106
---	-----

Обзоры

Н. В. МАКЕЕВА. Фонетические и фонологические свойства признака продвинуто-сти корня языка в языках Африки	120
---	-----

Рецензии

Д. А. РЫЖОВА, М. В. КЮСЕВА. [Рец. на:] I. Kraska-Szlenk (ed.). <i>Body part terms in conceptualization and language use</i> . (Cognitive Linguistic Studies in Cultural Contexts, 12.) Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2020	151
--	-----

Contents

Sergey V. KNYAZEV. Sentence intonation in Russian dialects with word-by-word melodic contour	7
Mate KAPOVIĆ. On the accent of Croatian <i>kako</i> ‘how’ and related words	40
Olga STERIOPOLO, Elena STERIOPOLO. The division of GENDER	59
Liliia KILINA, Anastasija SOKOLOVA. Femininitives with the suffix <i>-ix(a)</i> in Russian texts of the 18 th –20 th centuries: A corpus study	85

Heritage

Suren T. ZOLYAN. Yuri Lotman: On problems of language and linguistics	106
---	-----

Surveys

Nadezhda V. MAKEEVA. Phonetic and phonological properties of the advanced tongue root feature in African languages	120
--	-----

Reviews

Daria A. RYZHOVA, Maria V. KYUSEVA. [Review of:] I. Kraska-Szlenk (ed.). <i>Body part terms in conceptualization and language use</i> . (Cognitive Linguistic Studies in Cultural Contexts, 12.) Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2020.	151
--	-----

О фразовой интонации в русских говорах с пословным мелодическим оформлением

© 2022

Сергей Владимирович Князев

Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН,
Москва, Россия; svknia@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена описанию результатов экспериментально-фонетического исследования просодической организации высказывания в севернорусском говоре (д. Вадюга Верхнетоемского р-на Архангельской обл.) с тенденцией к так называемому «пословному тональному оформлению». Исследование выполнено на материале 6749 реплик, полученных от шести информантов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что для оформления высказывания в говоре используется практически тот же набор просодических средств, что и в литературном языке: направление движения тона, интервал тонального изменения, уровень, на котором реализуется акцент, синхронизация тонального движения с сегментной последовательностью (тайминг), тип пограничного тона, характер фразового тона. Значительное сходство наблюдается и в наборе тональных акцентов: из описанных для говора типов L^*+H , $L+H^*$, H^*+L , L^* и H^* литературному языку не свойственен только акцент H^* ; при этом фонетическая реализация тональных акцентов в говоре и литературном языке различна. Кроме того, верхнепинежские говоры и литературный язык различаются ассоциацией интонационных средств с коммуникативными значениями: просодические средства в диалекте могут быть использованы иначе, чем в современном русском литературном языке (СРЛЯ), в частности значение незавершенности маркируется в говоре высоким пограничным тоном в отличие от низкого в СРЛЯ. Наиболее яркими различиями между описанным говором и СРЛЯ являются: тип минимальной интонационной единицы — **акцентная группа** в говоре и **синтагма** в СРЛЯ; дистрибуция тональных акцентов — за счет расширенного употребления в говоре восходящих тонов; большая функциональная нагруженность в говоре заакцентной части высказывания. В целом верхнепинежские говоры, несмотря на «пословный» характер тонального оформления, гораздо ближе литературному русскому языку, чем языкам со словесной просодией.

Ключевые слова: диалектология, интонация, просодия, русский язык, севернорусские диалекты, тон, фонетика

Для цитирования: Князев С. В. О фразовой интонации в русских говорах с пословным мелодическим оформлением. *Вопросы языкознания*, 2022, 1: 7–39.

DOI: 10.31857/0373-658X.2022.1.7-39

Sentence intonation in Russian dialects with word-by-word melodic contour

Sergey V. Knyazev

Vinogradov Russian Language Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia;
svknia@gmail.com

Abstract: The present paper discusses the prosodic system found in the spontaneous dialogue speech corpus of an archaic Northern Russian dialect (the village of Vadyuga, upper reaches of Pinega river, Arkhangelsk Oblast), in which, supposedly, each word bears a pitch accent. A total of 6749 utterances from six speakers were analyzed. The results show that the following tonal parameters

are used in this dialect as well as in Standard Modern Russian to convey different communicative meanings: the direction of pitch movement, the interval of pitch accent, the tonal level on which the pitch accent is realized, the timing of pitch accent, the type of phrase accent and the (final) boundary tone. The dialect has five pitch accents, L^*+H , $L+H^*$, H^*+L , L^* and H^* , by far the most frequently used of them being L^*+H , which is the predominant choice for prenuclear accents. Out of these five pitch accents, only H^* is absent in Standard Modern Russian; however, the phonetic realization of pitch accents is dramatically different in the dialect and in the standard language. Another distinction between the two idioms is found in association of prosodic means to communicative meanings; in particular, incompleteness is marked in Vadyuga with the high (downstepped) boundary tone, in contrast with the low tone typical for Standard Russian. The most prominent distinctions between the two idioms are the type of the basic prosodic unit (accentual phrase in the dialect vs. intonational phrase in the standard language), higher frequency of rising tones in Vadyuga, and greater utilization of the postnuclear part of utterance in the dialect. Generally, in terms of phrase prosody, the Pinega dialect (despite its ‘word-by-word melodic contour’) is much more similar to Standard Modern Russian than to the languages with lexical pitch accent, being most closely analogous to Modern Greek in this respect.

Keywords: dialectology, intonation, North Russian, phonetics, prosody, Russian, pitch

For citation: Knyazev S. V. Sentence intonation in Russian dialects with word-by-word melodic contour.

Voprosy Jazykoznanija, 2022, 1: 7–39.

DOI: 10.31857/0373-658X.2022.1.7-39

Введение

Одной из самых ярких особенностей просодической организации высказывания в севернорусских говорах является его так называемое **пословное тональное оформление**. П. С. Кузнецов, подробно исследовавший архангельские говоры Верхней Пинеги и Верхней Тоймы¹, писал о том, что в них «фраза состоит из ряда отрезков с восходящей интонацией, последний же отрезок характеризуется восходяще-нисходящей интонацией с более быстрым падением, чем восхождением» [Кузнецов 1949: 14]. Р. Ф. Пауфощима, основываясь на материалах диалектных систем с полным оканьем, в том числе архангельских — д. Лампожня и Азаполье Мезенского р-на, сел Карпогоры, Ваймуша и Кеврола Пинежского р-на, — отмечает: «Обращает на себя внимание мелодическая выделенность, как бы особая интонационная самостоятельность слов, включенных в общий интонационный контур фразы. Почти каждое слово во фразе получает свое мелодическое оформление, становясь, таким образом, обособленным от соседних слов» [Пауфощима 1983: 64]. На основании проведенного анализа Р. Ф. Пауфощима заключает, что «для севернорусских говоров характерно пословное оформление интонационного контура, в то время как среднерусским говорам свойственно посинтагменное оформление интонации» [Там же: 78]. Такое оформление, как указывает тот же автор, может достигаться «с помощью тонального подъема на ударном гласном каждого фонетического слова» [Касаткина 1991: 42]. Тональную обособленность каждого слова в этих говорах ранее фиксировала и Е. А. Брызгунова [1977а: 247, 262]. П. С. Кузнецов и Р. Ф. Касаткина указывают только на наличие восходящего тона в таких системах, однако очевидно, что для того, чтобы тон был восходящим на каждом слове в пределах одного тонального уровня, после его подъема должно иметь место и падение. Ср. описание М. Пост говора д. Варзуга Терского р-на Мурманской обл.: «Many Varzuga utterances show a repeating rising-falling intonation pattern on each phonological word» [Post 2005: 46]. Таким образом,

¹ Основной целью этого исследования была проверка гипотезы о том, что русская колонизация этих мест шла не с севера (вверх по течению Пинеги), а с юга — с Двины через водораздел Пинеги и Верхней Тоймы.

восходящим тон является в том смысле, что повышение предполагается на ударном гласном фонетического слова². Т. М. Николаева [1977: 260], отмечавшая это явление на материале других славянских языков (белорусского, словацкого, македонского), полагала, что оно свойственно наиболее архаичным языковым системам [Там же: 262] и указывала, что оно сочетается с отсутствием «сильной фразовой просодии» [Там же: 260]: действительно, если каждое слово содержит одно и то же тональное движение, набор тональных средств для выражения коммуникативных смыслов может быть ограниченным, а именно характер изменения тона на выделенном таким образом слове во фразе является во многих языках, в том числе и в современном русском литературном языке (далее — СРЛЯ), главным средством реализации этих значений.

1. Материал, задачи, теоретические основания и структура исследования

1.1. В современной интонологии, опирающейся преимущественно на автосегментно-метрическую фонологическую модель интонации [Pierrehumbert 1980; Beckman, Pierrehumbert 1986; Beckman et al. 2005], просодия описывается с точки зрения выделяемых в том или ином языке **просодических единиц** и ассоциированных с ними **тональных явлений**.

Просодические единицы образуют своего рода континуум от минимальных до самых крупных: мора (M) — слог (Syl) — стопа (F) — лексическое слово в роли просодической единицы (Wd) — фонетическое слово (prosodic word, PrWd) — акцентная группа (accental phrase, AP) — синтагма (intermediate phrase, ip) — фраза (intonational phrase, IP) — высказывание (utterance, Ut).

Тональные просодические явления подразделяются на лексические (слоговые и словесные тоны) и постлексические (фразовые), собственно интонационные, ассоциированные с единицами, большими чем слово: 1) тональные акценты (pitch accents, [N*]³), служащие для выделения одной из единиц в ряду подобных; 2) начальные и конечные пограничные тоны (boundary tones, [%N, N%]), маркирующие границы между единицами; 3) фразовые тоны (phrase accents, [N-])⁴, связывающие тональные акценты и пограничные тоны⁵.

В системе просодической нотации ToBI [Pierrehumbert 1980; Beckman, Hirschberg 1994; Beckman, Elam 1997] N может принимать различные значения: стандартное описание предполагает использование двух тонов: высокого (H) и низкого (L), в большинстве просодических описаний языков мира используются именно они [Jun 2005; 2014]. В тех случаях, когда возникает необходимость введения промежуточного значения — например, для конечных пограничных тонов в испанском языке, — может использоваться символ среднего тона (M%) или (чаще) применяется нотация с использованием знака !N% (даунстеп с высокого) [Estebas-Vilaplana et al. 2015]. Знак ^, наоборот, маркирует акцент, реализующийся на более высоком уровне, чем предшествующий (upstep). Контурные

² По нашим данным, наряду с говорами с восходящим пословным контуром существуют и диалекты с нисходящим, например говор с. Церковное Плесецкого р-на Архангельской обл. [Князев 2021a].

³ В квадратных скобках приведены их обозначения в стандартной нотации.

⁴ К сожалению, русский термин «фразовый акцент», который мог бы служить в качестве точного перевода термина «phrase accent», используется в русистике совсем в другом значении — для описания тональных акцентов, поэтому в дальнейшем мы будем использовать термин «фразовый тон» в качестве русского соответствия термину «phrase accent».

⁵ Здесь перечислены основные функции, их набор этим, конечно, не исчерпывается.

тоны в этой модели обозначаются с использованием символа «+»: восходящий — [L+H], нисходящий — [H+L].

Тональные акценты подразделяются на ядерные (**nuclear accent**), несущие основную коммуникативную нагрузку в пределах синтагмы или фразы, и предъядерные (**prenuclear accent**), при этом одни исследования демонстрируют систематическую роль предъядерных акцентов в передаче элементов информационной структуры высказывания [Baumann et al. 2007; Féry, Kügler 2008; Braun, Biezma 2019], другие указывают на то, что эти акценты в некоторых случаях могут выполнять только ритмические [Calhoun 2010; Chodroff, Cole 2018], «орнаментальные» [Büring 2007] функции [Дурягин 2021: 156]. В конкретных фонологических описаниях на базе ToBI дефолтные предъядерные акценты обычно не фиксируются: «if a language has a default pre-nuclear pitch accent occurring in almost all content words (e. g. Greek, Spanish), we may not need to label the pitch accent but only label non-default pitch accent» [Jun 2005: 451].

1.2. Просодические системы языков мира могут — среди прочего — отличаться друг от друга наличием / отсутствием лексической просодии (например, в китайском, сербохорватском и японском она есть, а в греческом, английском, немецком, русском — нет), а также тем, какая из просодических единиц является базовой для реализации тональных явлений. В общем случае, если основная просодическая единица языка имеет небольшую размерность (и тем самым имеются слоговые или словесные тоны), фразовая просодия в нем менее разнообразна: «The current version of ToBI systems proposed for contour tone languages (Mandarin, Ch. 9, and Cantonese, Ch. 10) shows that they do not have pitch accent (a * tone) and that they have smaller ‘intonational’ tone inventories compared to other languages (...) Stress-accent languages have multiple types of pitch accent while lexical pitch-accent languages have only one or two types of pitch accent» [Jun 2005: 434–435]. В зависимости от типа базовой просодической единицы и разнообразия фразовой просодии языки могут быть разделены на несколько групп:

- 1) слог — китайский язык, 5 слоговых тонов, нет фразовых тональных акцентов;
- 2) слово — сербохорватский язык, 2 словесных тона, нет тональных акцентов, 2 фразовых тона;
- 3) акцентная группа — японский язык, 1 тональный акцент (противопоставленный отсутствию акцента)⁶ + 1 фразовый тон;
- 4) фонетическое слово — (ново)греческий язык, 5 тональных акцентов + 3 фразовых тона;
- 5) синтагма — английский (5 тональных акцентов + 2 фразовых тона), немецкий (6 + 3), итальянский (7 + 1) и др. [Jun 2005: 434–435].

1.3. Основной целью данной статьи является описание тональных средств, которые используются в говорах с пословным оформлением высказывания для передачи коммуникативных смыслов, и попытка решения вопроса о принадлежности этих говоров к тому или иному из перечисленных выше просодических типов.

⁶ «In Japanese, in contrast, pitch accents are a lexical property of a given word, and thus they lack any such prominence-lending function. This leaves little room for variability in distribution of accents in a Japanese utterance (...) In Japanese there is only one type of pitch accent: a sharp fall from a high occurring near the end of the accented mora to a low in the following mora. In English, the inventory of pitch accent shapes is far more diverse. There are a number of pitch accent shapes, in which the F₀ can rise or fall to/from the accented syllable or can maintain a local maximum/minimum on that syllable. Each shape has associated with it a specific pragmatic meaning which that accent lends to the overall meaning of the intoned utterance (see e. g. Pierrehumbert and Hirschberg 1990). The Japanese falling accent does not have any such meaning associated with it» [Venditti 2005: 174–175].

1.4. Р. Ф. Касаткина отмечала, что при описании русской диалектной интонации необходимо учитывать не только такие очевидные параметры, как направление движения тона или ширина частотного диапазона, в котором реализуются мелодические контуры: «При общем сходстве контуров могут быть значительные расхождения в деталях, которые впервые для русской интонации описала голландская исследовательница Сесилия Одé. Эти детали касаются величины частотного диапазона, в котором реализуется мелодический рисунок, положения максимального или минимального значения частоты основного тона относительно ударного гласного (тайминга), крутизны подъема или спада тона» [Касаткина 2002: 134]⁷. Еще одним важнейшим элементом описания является, на наш взгляд, характер тонального оформления заакцентной части высказывания — фразовые и пограничные тоны (см. ниже раздел 2.3).

Таким образом, далее будут рассмотрены следующие тональные средства, которые могут служить для передачи коммуникативных смыслов:

- **направление** тонального изменения (восходящий, нисходящий, ровный тон);
- **интервал** тонального движения (большой или меньший) и его скорость (большая или меньшая);
- **тайминг** = характер синхронизации тонального изменения с сегментным составом высказывания, в первую очередь — с ударным гласным акцентированного слова (ранний или поздний);
- **уровень**, на котором реализуется тональный акцент (низкий, средний, высокий);
- характер тонального оформления заакцентной части высказывания: **пограничные тоны** в конце фразы (низкий, средний, высокий) и **фразовый тон** на отрезке, связывающем пограничные тоны и тональные акценты.

Нетональные фразовые просодические средства — фонационные, артикуляционные, количественно-динамические [Кодзасов 2009: 13–46] — в настоящей статье не обсуждаются; о характере распределения интенсивности во фразе в верхнепинежских говорах см. [Князев и др. 1997: 199–201].

1.5. Словесное ударение в пинежских говорах количественно-динамическое [Кузнецов 1949; Князев и др. 1997; Князев, Урбанович 2002], как и в севернорусских говорах в целом [Высотский 1973]; при этом дополнительное ударение возможно на начальном или конечном в слове гласном [Кузнецов 1949; Князев, Урбанович 2002]. Тональное движение не является коррелятом словесного ударения, поскольку не существует случаев различения словоформ при помощи разных типов тонального движения, как, например, в сербохорватском, или при помощи наличия / отсутствия изменения частоты основного тона (ЧОТ), как, например, в японском языке; кроме того, изменение тона может приходиться как на ударный слог словоформы (в большинстве случаев), так и на безударные (чаще конечные заударные) слоги (см. ниже).

1.6. Материалом исследования служили магнитофонные записи, сделанные в июле 1987 г. в ходе диалектологической экспедиции МГУ и ИРЯ АН СССР под руководством С. К. Пожарицкой в деревню Вадюга Верхнетоемского р-на Архангельской области, расположенную в верховье Пинеги. Выбор этого говора обусловлен тем, что

- 1) он представляет собой один из самых ярких образцов диалектных систем рассматриваемого типа;
- 2) этот говор во второй половине 1920-х гг. был описан П. С. Кузнецовым [1949], одним из первых указавшим на специфику его просодической организации (описание его состояния через 60 лет после исследования Кузнецова см. в [Князев и др. 1997]);

⁷ См. [Odé 1989; 2003; 2008].

- 3) существует мнение, что «особая “пинежская” интонация относится к числу реликтовых диалектных явлений» [Пауфощима 1989: 60]⁸; материалы наших экспедиций позволяют ввести в научный оборот новые данные об этой яркой диалектной особенности.

Запись материала в ходе экспедиции 1987 г. производилась автором данной статьи на кассетный стереомагнитофон «Соната 213С» с использованием выносных динамических микрофонов, впоследствии записи были оцифрованы А. В. Архиповым. В настоящее время завершена работа по созданию корпуса звучащих текстов говоров Верхней Пинеги и Выи, куда включены эти записи [Князев 2021б]. В большинстве случаев тексты представляют собой беседы интервьюеров с носителями диалектов, в редких случаях — диалоги носителей говора.

1.7. В ходе исследования с помощью программы «Praat» был произведен сплошной анализ (сегментация и просодическая нотация) **тонального оформления 6749 реплик**⁹, полученных от следующих дикторов (в скобках — количество исследованных реплик): 1) Р. М. И., 87 лет¹⁰, родилась в соседней с Вадюгой деревне Изевера (1768), 2) М. П. Е., 70 лет, родилась в соседней с Вадюгой деревне Ручей (2741), 3) М. А. И., 55 лет (391), 4) Н. Е. П., 63 года (216), 5) Н. А. П., 62 года (886), 6) Р. А. О., 67 лет, родилась в соседней с Вадюгой деревне Волыново (747).

1.8. В русистике по-прежнему наиболее распространенным способом описания фразовой просодии остается фонологически ориентированная система интонационных конструкций (ИК, смысловразличительных просодических единиц) Е. А. Брызгуновой¹¹ [1963; 1969; 1977б; 1980], базирующаяся на фиксации минимального числа компонентов: 1) характер **изменения** тона в центре интонационной синтагмы; 2) высокий или низкий тон в постцентровой части высказывания (тон в предцентровой части высказывания считается постоянным — средним или базовым). В системе ИК предакцентная и постацентная части синтагмы выступают в виде нерасчлененных единиц, что может приводить к существенным потерям информации при использовании этого описания, особенно в том случае, когда полный набор смысловразличительных просодических единиц еще не выявлен (как это и имеет место в случае диалектной интонации). Поэтому в дальнейшем мы вслед за Т. Е. Янко [2008] используем двойную нотацию: ТоВІ и номера ИК по Е. А. Брызгуновой, где это возможно.

Существенное достоинство ТоВІ заключается в том, что этот механизм может использоваться как для описания фонологической интонационной системы языков, так и для фиксации достаточно тонких различий в фонетических реализациях просодических единиц, например в созданной на его основе системе IPrA (International Prosodic Alphabet) [Hualde, Prieto 2016]. Для русского языка адаптация ТоВІ частично выполнена

⁸ Ср.: «Основной материал по пинежским говорам был нами собран в деревнях Ваймуша и Кеврола в 1965 г. В то время представленный выше интонационный тип был широко распространен в говоре. В 1983 г. мы вновь побывали в экспедиционной поездке на Пинеге, в нескольких деревнях Сурского сельсовета. Оказалось, что яркая “пинежская” интонация в наше время исчезает, уступая место обычной северной речевой мелодике. Лишь крайне редко, в речи отдельных носителей говора, можно встретить интонационный тип, ставший теперь архаизмом. В магнитофонных записях из деревни Кобелёво Пинежского р-на, сделанных Л. Л. Касаткиным в 1981 г., случаев особой пинежской интонации не отмечено совсем» [Пауфощима 1989: 60].

⁹ Репликами в данном случае считаются звучащие отрезки между физическими (в том числе — дыхательными) паузами, их продолжительность колеблется в диапазоне от 0,1 до 10 секунд.

¹⁰ На момент записи.

¹¹ Среди других описаний русской интонации следует выделить имеющую преимущественно фонетическую направленность комбинаторную модель интонации [Кодзасов 2009].

О. Б. Йокоямой [YokoYama 2001; Йокояма 2003]. На основе ToBI разработана и перцептивно ориентированная модель описания русской интонации ToRI (Transcription of Russian Intonation) [Odé 2003; 2008].

1.9. Далее в разделе 2.1 описываются просодические единицы, ассоциированные в говоре с тональным движением, в 2.2 — тональные средства, которые используются в исследуемых говорах на фразовом уровне в акцентной части высказывания (2.2.1 — тональные акценты, 2.2.2 — уровень, 2.2.3 — интервал, 2.2.4 — тайминг тонального движения); в разделе 2.3 характеризуется оформление заакцентной части высказывания (2.3.1 — фразовый тон, 2.3.2 — конечные пограничные тоны). В заключении приводится краткий обзор фразовых тональных средств говора в типологическом аспекте, в том числе — в сопоставлении с просодической системой русского литературного языка.

1.10. Подписи к приведенным ниже рисункам состоят из трех слоев:

- 1) на самом нижнем приводится максимально приближенная к литературной орфографическая запись соответствующего фрагмента (обычно — фразы);
- 2) на среднем — запись с разделением на слова (в тех случаях, когда это имеет принципиальное значение, — на сегменты);
- 3) на верхнем — нотация в системе ToBI (без указания на тип границы):

H — высокий тон,

L — низкий,

L+H — восходящий,

H+L — нисходящий,

^ — upstep («повышенный»),

! — downstep («пониженный»),

* — тональный акцент,

% — пограничный тон (%L — начальный; L%, H% — конечный),

— фразовый тон.

Под фразой далее понимается семантически законченное высказывание, ограниченное с обеих сторон реальными паузами (перерывами в звучании). Фраза может состоять из синтагм, каждая из которых содержит ядерный тональный акцент, синтагмы разделены просодическими границами, но реальные паузы между ними чаще всего отсутствуют. Синтагмы могут состоять из акцентных групп, каждая из которых содержит тональный акцент (ядерный или не ядерный). Акцентные группы состоят из фонетических слов.

2. Система тональных фразовых средств в говорах Верхней Пинеги

2.1. Просодические единицы, ассоциированные с тональным движением

Результаты проведенного исследования дают основания утверждать, что в говоре д. Вадюга просодические единицы, состоящие из слов, каждое из которых оформлено тональным изменением, встречаются очень часто. На рис. 1 приводится интонограмма типичной для СРЛЯ

фразы (произнесенной диалектологом) *А вообще вино не де³лают тут сами никто?* с одним единственным тональным движением на акцентированном слове (%L L+H* L%; ИК-3).

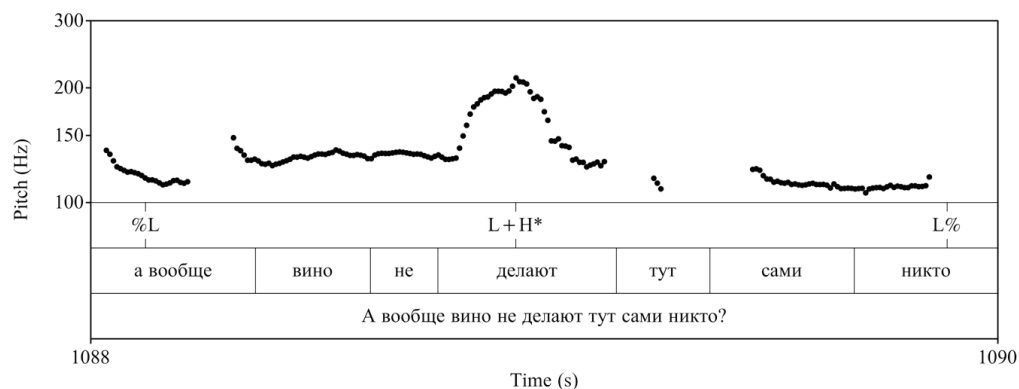


Рис. 1. Кривая ЧОТ фразы *А вообще вино не делают тут сами никто?* (СРЛЯ)

На рис. 2 в качестве примера пословного оформления приведена интонограмма фразы *А у нас Иван-от в Тойме неделю сидел не мог прилететь, дак нам уж боле автобус директор-от дал за ним ехать-то*, в которой одно и то же восходяще-нисходящее движение (L+H*) встречается 15 раз (завершается высказывание низким пограничным тоном — L%).

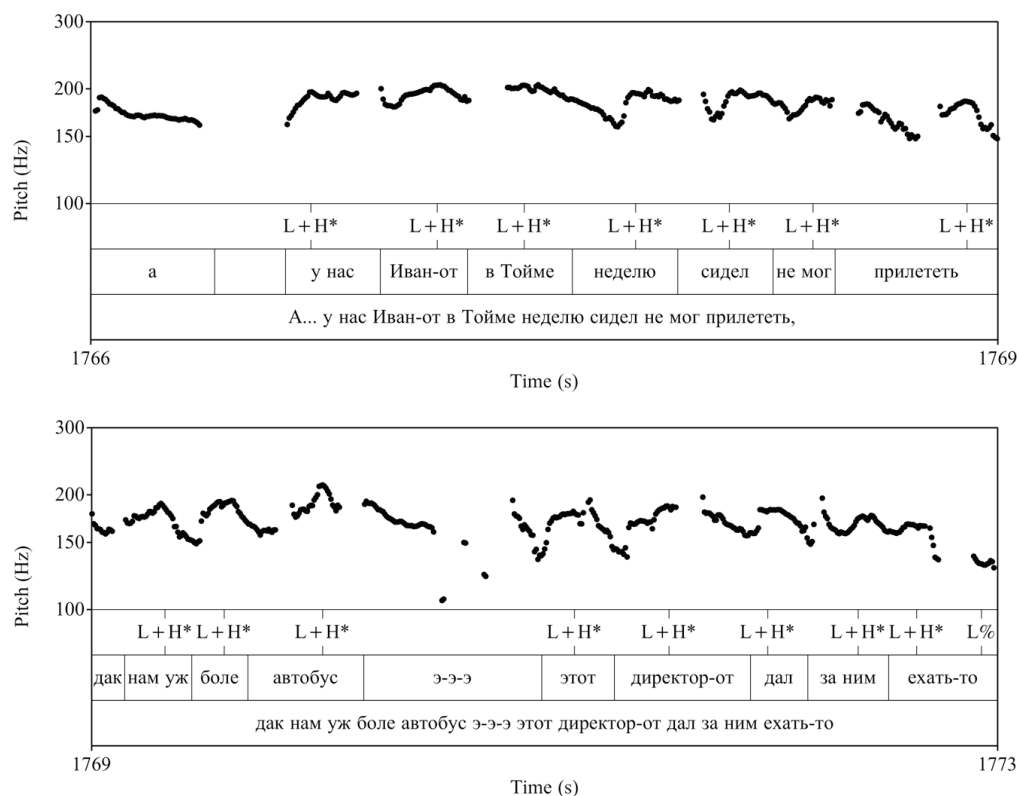


Рис. 2. Кривая ЧОТ фразы *А... у нас Иван-от в Тойме неделю сидел не мог прилететь, дак нам уж боле автобус э-э-э директор-от дал за ним ехать-то* (диктор — М. П. Е.)

На рис. 3 представлена интонограмма фразы *Хотели, Анна-то там была вот, мати-то у него, а хотела ехать*, демонстрирующая отличие предъядерных акцентов L+H* на отрезках {Хотели}, {Анна-то} {там} {была вот}, {мати-то} {у него}, {а хотела} с повышением тона со 160 до 200 Гц (1/4 октавы) от ядерного L+[^]H* на слове {ехать} (со 160 до 240 Гц, половина октавы). То же отличие подробнее иллюстрируется интонограммой фразы *А надо время!* на рис. 4: подъем со 150 до 190 Гц на фонетическом слове *а надо* (предъядерный акцент L+H*) и со 155 до 235 Гц на слове *время* (ядерный акцент L+[^]H*).

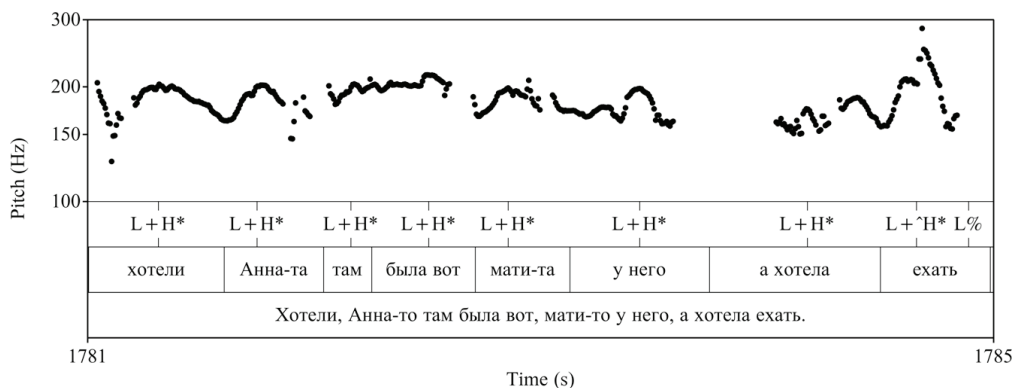


Рис. 3. Кривая ЧОТ фразы *Хотели, Анна-то там была вот, мати-то у него, а хотела ехать* (диктор — М. П. Е.)

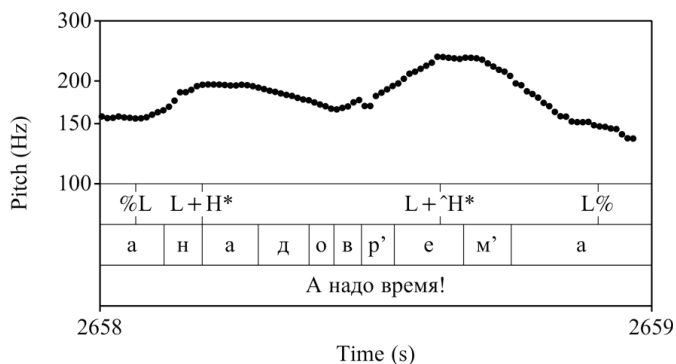


Рис. 4. Кривая ЧОТ фразы *А надо время!* (диктор — М. П. Е.)

Рис. 5, интонограмма фразы *А у нас уже всё наладилось, вот где, думаем, горе-то*, иллюстрирует тот факт, что восходяще-нисходящее тональное движение в говорах с пословным тональным оформлением ассоциировано не с каждым лексическим и не с каждым фонетическим словом, а с более крупными единицами, акцентными группами (accental phrase, AP), в данном случае — {а у нас уже}, {всё наладилось}, {вот где думаем}. Такую же АГ представляет собой сочетание {была вот} (см. рис. 3). Аналогичная картина наблюдается во фразе *У нас такая порода вот бессонная дак, у нас ни у кого сну-ту не было* (см. рис. 6): наряду с АГ, состоящими из одного фонетического слова ({у нас}, {такая} {порода вот}, {бессонная дак}, {не было}), в ней есть акцентная группа с двумя словесными ударениями {ни у кого сну-ту}. Во фразе *На день рождения пекли пироги* (см. ниже рис. 19) две АГ: {на день рождения}, {пекли пироги}. Во фразе *Раньше праздновали!* (см. ниже рис. 27) одна АГ.

Конечно, АГ, как и любая крупная просодическая единица, может при этом состоять — и часто состоит — и из одного слова, как это видно на рис. 2 и 3.

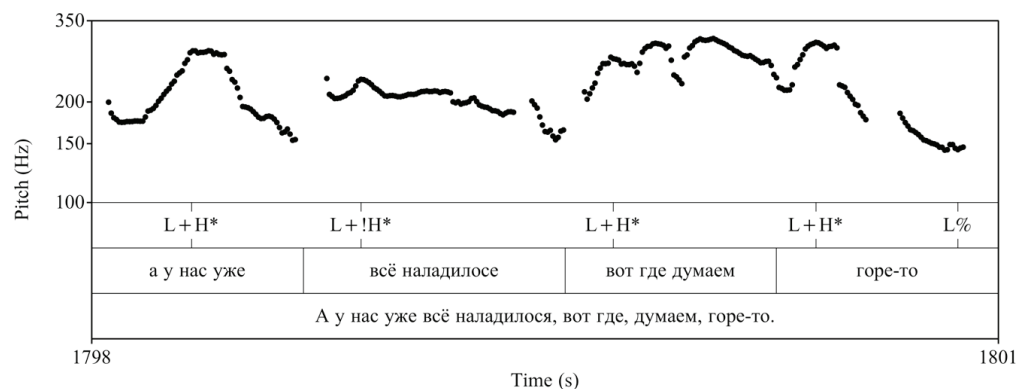


Рис. 5. Кривая ЧОТ фразы *А у нас уже всё наладилось, вот где, думаем, горе-то* (диктор — М. П. Е.)

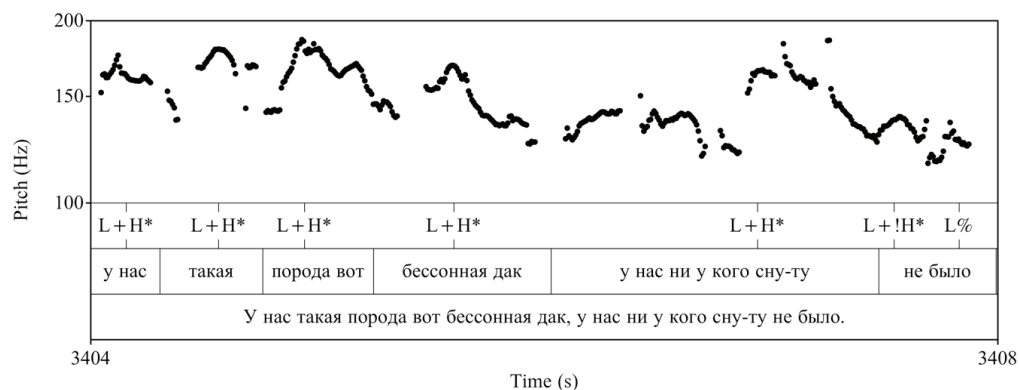


Рис. 6. Кривая ЧОТ фразы *У нас такая порода вот бессонная дак, у нас ни у кого сну-ту не было* (диктор — М. П. Е.)

2.2. Акцентная часть высказывания

2.2.1. Тональные акценты (направление движения тона)

2.2.1.1. Одним из исходных положений, лежавших в основе настоящего исследования, была гипотеза о том, что единственным типом тонального акцента в говорах с пословным мелодическим контуром является восходящее движение тона. Это утверждение близко к истине: по нашим данным, в Вадюге акцентом [L+H*] оформлены более 90 % всех акцентных групп, что, конечно, не удивительно с учетом того, что таким образом маркируются в говоре все предъядерные акценты и как минимум ядерные акценты со значением общего вопроса и незавершенности (см. о них 2.3.1, 2.3.3).

Тем не менее в исследованном материале встречаются и высказывания, оформленные иначе, относительная частота их встречаемости достаточно высока (особенно если исключить из рассмотрения предъядерные акценты). Очевидно, что исчисление полного набора тональных акцентов в верхнепинежских говорах — дело будущего, поскольку большинство существующих диалектных текстов представляют собой либо монологи носителей говора, либо диалоги, в которых вопросы задает диалектолог, и большая часть коммуникативных типов в речи информантов либо не встречается вовсе, либо встречается крайне редко¹². Ниже будут охарактеризованы лишь некоторые из них, по-видимому, наиболее типичные для просодической системы говора.

2.2.1.2. [H+L* (L%)]¹³: нисходящее движение тона с высокого уровня на ударном гласном (с предшествующим повышением на предударных) — в первую очередь, это вопросы с вопросительным словом, соответствующие примеры приведены ниже на рис. 7–11. Другой случай использования данного контура — ответные реплики, см. рис. 12. В этих примерах обращает на себя внимание наличие ровного тона в первой половине акцентированного гласного; по предварительным наблюдениям, в большинстве случаев ровный тон присутствует и в составе всех других тональных акцентов, что позволяет поставить вопрос о том, не являются ли тональные акценты в исследуемых говорах сложными, этой проблематике посвящено отдельное исследование [Князев 2022 (в печати)]. Ровный тон в начале гласного «центра ИК» отличает этот тип просодического оформления от используемой в частных вопросах в СРЛЯ ИК-2, которая — как минимум в стандартном московском произношении — характеризуется падением тона на всем гласном центра, с самого его начала.

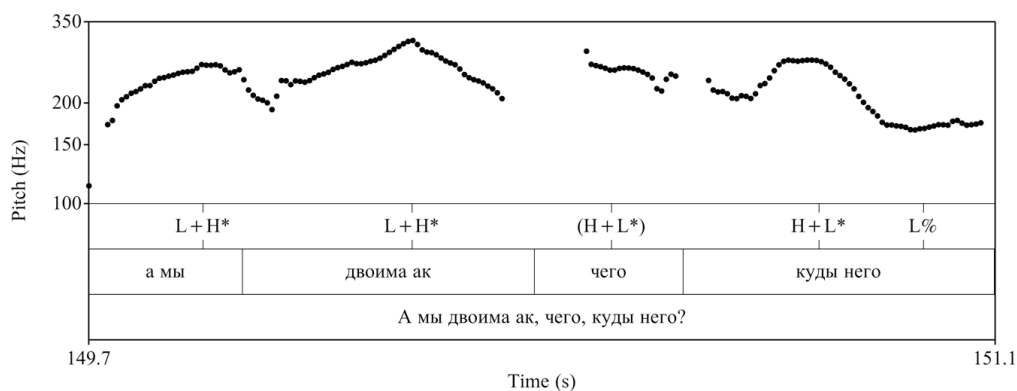


Рис. 7. Кривая ЧОТ во фразе *А мы двоима ак, чего, куды него?* (диктор — М. П. Е.)

¹² Поэтому, на наш взгляд, необходим иной подход к сбору диалектного материала для просодических исследований. Он должен быть организован таким образом, чтобы в текстах встречались все необходимые коммуникативные типы, желательно на сопоставимом для всех исследуемых языковых систем и удобном для фонетического анализа звуковом материале; при этом он должен быть удобным для работы с информантами старшей возрастной категории, зачастую неграмотными или не способными по разным причинам работать с письменными инструкциями. Наиболее адекватным методом для решения этой задачи, как представляется, может служить The Discourse Completion Task (DCT) — метод, адаптированный для просодических исследований из работ в области прагматики; он успешно используется в последнее время для эlicitации разных типов интонационных контуров и получил широкое распространение для описания интонации разных языков, прежде всего романской группы [Vanrell et al. 2018].

¹³ В [Дурагин 2021] сходный вопрос СРЛЯ предлагается интерпретировать как H*+L L%.

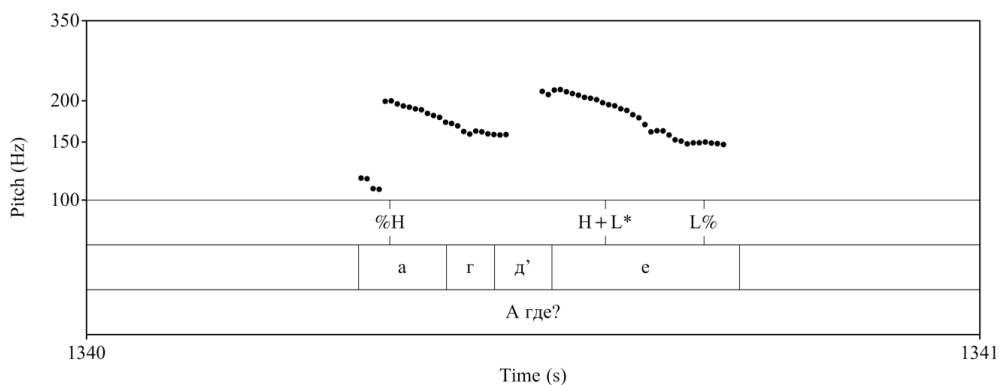


Рис. 8. Кривая ЧОТ во фразе *А где?* (диктор — М. П. Е.)

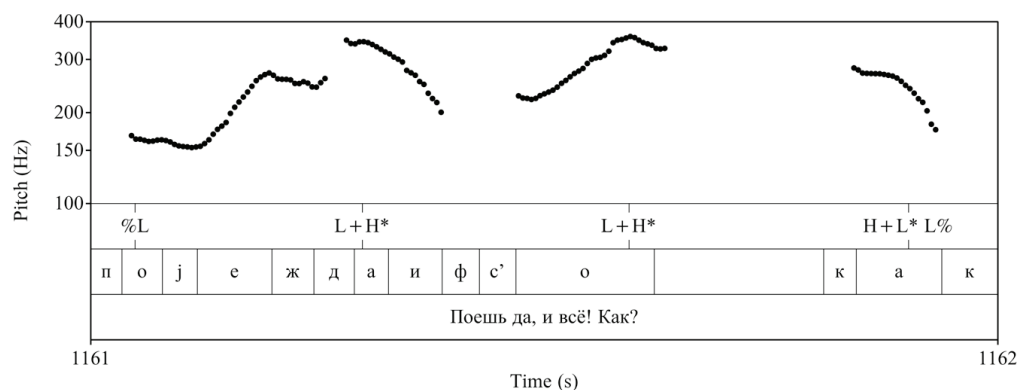


Рис. 9. Кривая ЧОТ во фразе *Поешь да и всё! Как?* (диктор — М. П. Е.)

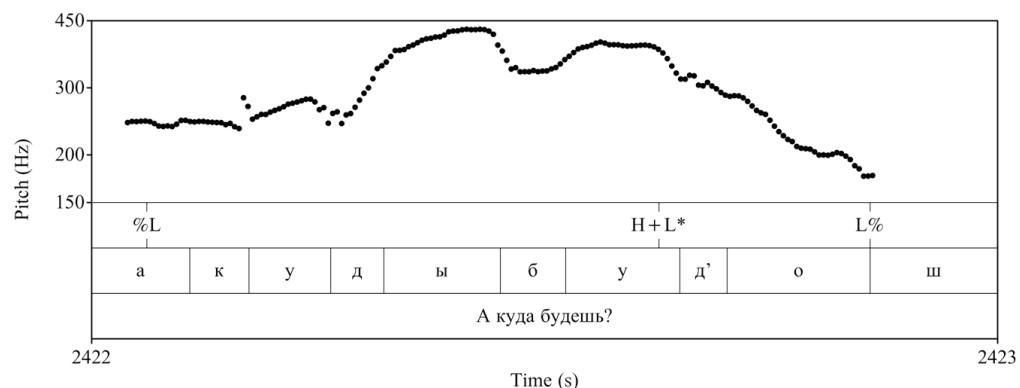


Рис. 10. Кривая ЧОТ во фразе *А куда будешь?* (диктор — М. П. Е.)

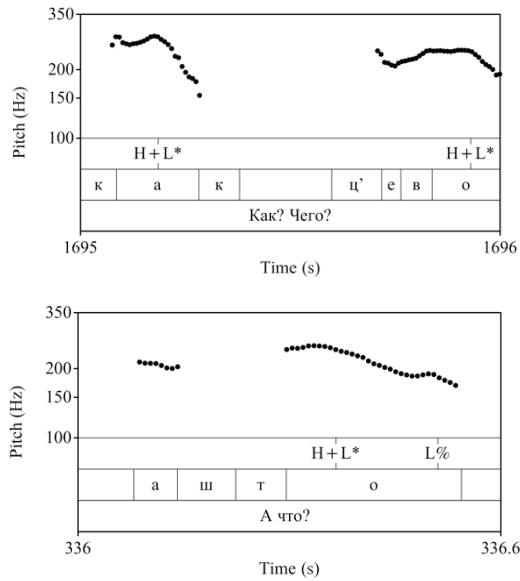


Рис. 11. Кривая ЧОТ во фразах *Как? Чего?* (сверху) и *А что?* (снизу), диктор — М. П. Е.

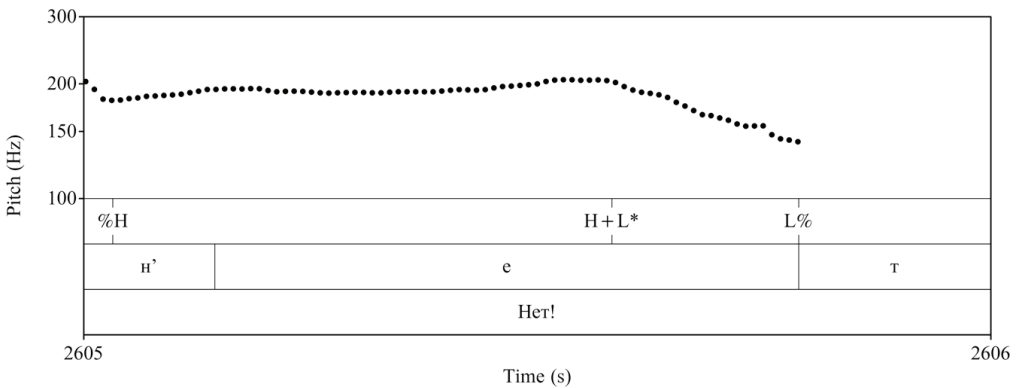


Рис. 12. Кривая ЧОТ во фразе *Нет!* (диктор — М. П. Е.)

2.2.1.3. Нейтральное утверждение, в том числе в ответных репликах, содержащих частицы *да* и *нет*¹⁴, может оформляться акцентом с низким тоном — [L*] (см. два примера на рис. 13¹⁵). На рис. 14 приведены примеры, иллюстрирующие оформление отрицательной реплики акцентом H+L*, утвердительной — акцентом L* в произношении одного и того же информанта. Следует отметить, что примеры использования тонального акцента L* в нашем материале весьма немногочисленны. Этим типом тонального акцента оформляется, по-видимому, ненейтральное утверждение.

¹⁴ В говоре Вадуги в ответных репликах копируется направление тона предшествующей реплики (в том числе реплики самого информанта или выступающего в роли его собеседника другого носителя диалекта) [Князев, Пронина 2021], однако полного совпадения в структуре тонального акцента в этих случаях нет.

¹⁵ Понижение тона на согласном [д] в этом случае является сегментным («микропросодическим»), а не фразовым.

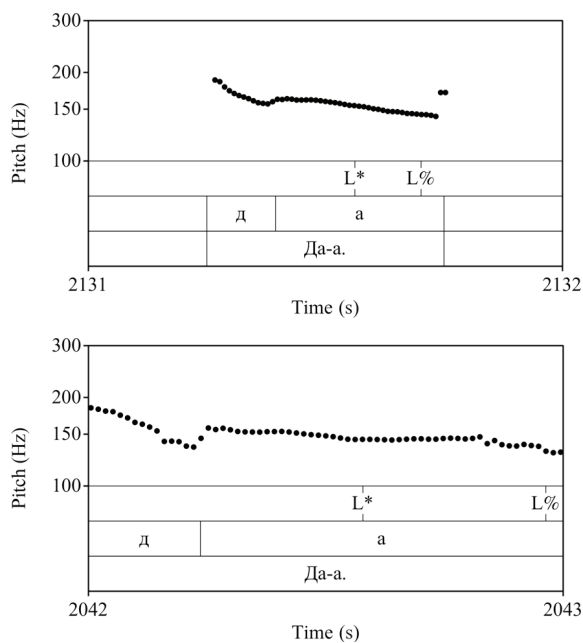


Рис. 13. Кривая ЧОТ во фразах *Да-а* (диктор — Р. М. И.)

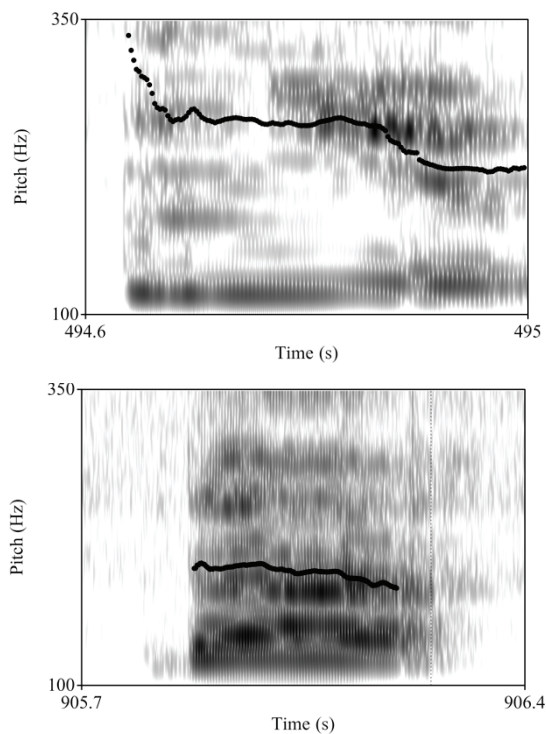


Рис. 14. Динамическая спектрограмма и кривая ЧОТ ответных реплик *He-em!* (H+L* L%,вверху) и *Да-а* (L* L%,внизу); диктор — Н. А. П.

2.2.1.4. Гораздо более частотным в утвердительных предложениях является восходящий акцент [**L*+H**] (см. рис. 15, 16): на первой половине гласного наблюдается низкий ровный тон, а на второй происходит подъем вне зависимости от типа пограничного тона. Акцент же [**L+H***], в противоположность этому, характеризуется тем, что повышение происходит в первой половине гласного, а во второй части тон обычно ровный высокий (ср. вопросительное *да?* на рис. 18; см. также рис. 9, 20, 21 и др.)¹⁶. Примеры этих двух акцентов в произношении одного информанта см. ниже на рис. 17.

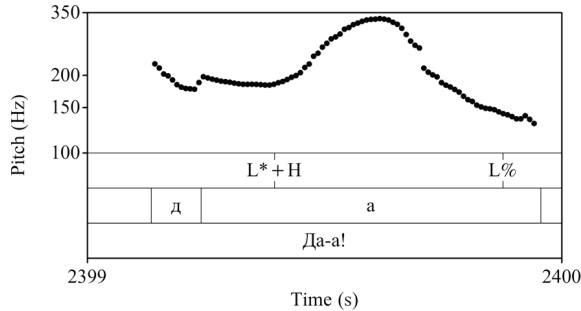


Рис. 15. Кривая ЧОТ во фразе *Да-а!* (диктор — Р. М. И.)

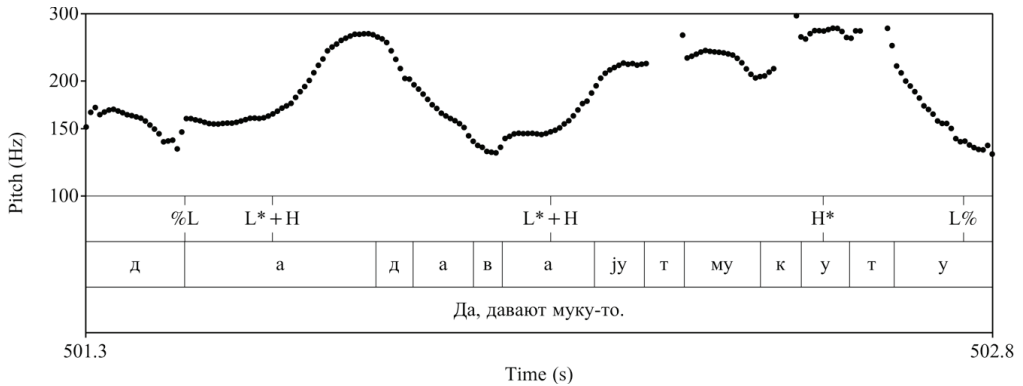


Рис. 16. Кривая ЧОТ во фразе *Да, дают муку-то!* (диктор — Р. М. И.)

¹⁶ Аналогичным образом различаются эти акценты, например, в греческом языке: “in L+H* the H tone appears roughly in the middle of the accented vowel, unlike L*+H which shows late alignment of the H tone” [Arvaniti, Baltazani 2005: 87].

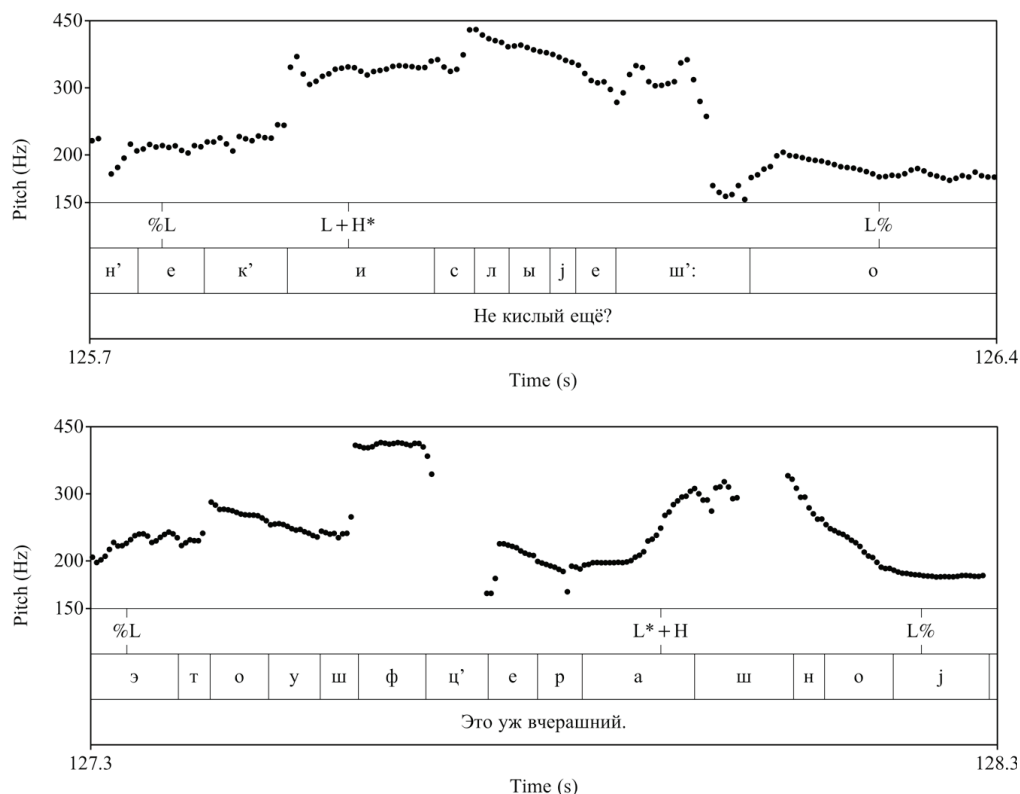


Рис. 17. Кривая ЧОТ во фразах *Не кислый ещё?* (вверху, L+H*) и *Это уж вчерашний* (внизу, L*+H), диктор — Р. А. О.

2.2.1.5. Кроме перечисленных выше, в просодической системе говора имеется тональный акцент [H*] — высокий тон без предшествующего подъема и последующего падения (см. рис. 18, 19), вопрос о его функционировании в говоре нуждается в дальнейшем изучении¹⁷.

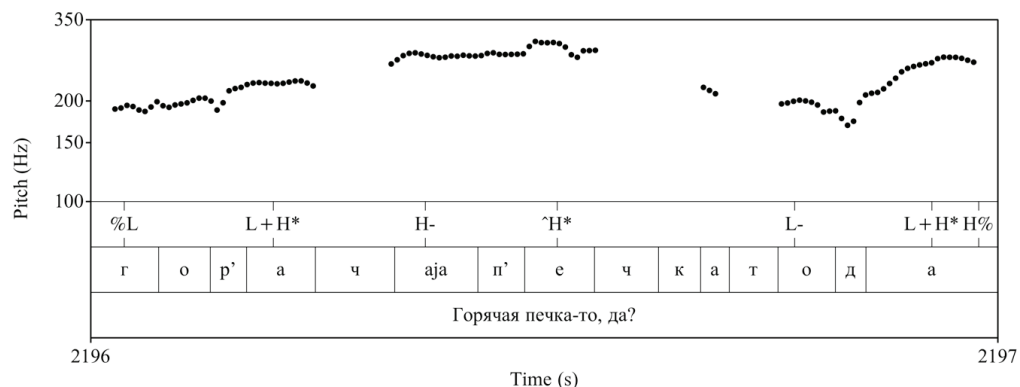


Рис. 18. Кривая ЧОТ во фразе *Горячая печка-то, да?* (диктор — Р. М. И.)

¹⁷ Ср.: "The two bitonal accents are in contrast with the monotonal H* accent (...) H* lacks the initial dip associated with the L tone of L+H* and L*+H" [Arvaniti, Baltazani 2005: 87].

2.2.2. Тональный акцент: уровень реализации тонального движения

Р. Ф. Касаткина отмечала: «Жителей Кировской обл. (б. Вятской губернии) издавна дразнили “вятскими петухами”. Можно предполагать, что такое прозвище обязано своим происхождением особой северной интонации, чаще использующей верхний регистр, чем интонации говоров других областей России» [Пауфошима 1989: 57]. На рис. 19 приведен пример высказывания, оформленного восходящими движениями тона на разных тональных уровнях: в первой части тональные максимумы фиксируются на среднем уровне в диапазоне 180–220 Гц (*на скотный, идите, купите, да, а может*), во второй — на высоком, значение тональных максимумов составляет от 290 до 325 Гц (*хозяйка, какая, продаст*). Предварительные наблюдения дают основания полагать, что уровень, на котором осуществляются изменения тона, может служить показателем эмоциональной оценки говорящим содержащейся в высказывании информации (см. об этом [Rodero 2011]).

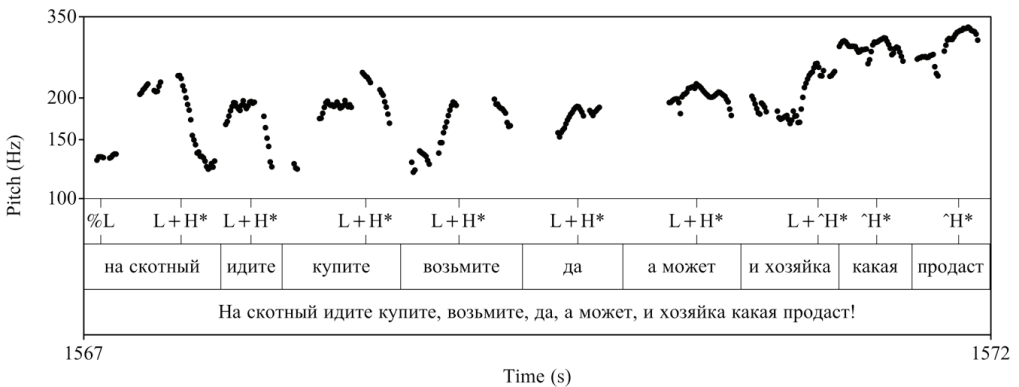


Рис. 19. Интонограмма фразы *На скотный идите купите, да, а может, и хозяйка какая продаст!* (диктор — Р. М. И.)

2.2.3. Тональный акцент: интервал и скорость тонального движения

По мнению Р. Ф. Касаткиной, больший интервал и скорость тонального движения отличают пинежские говоры от других севернорусских: «говоры Пинеги отличаются интонацией, ярко выделяющей их из других говоров Архангельской области — мезенских, двинских, каргопольских и др. (...) По нашим наблюдениям, характер завершающего тона, формирующего утвердительные высказывания в пинежских говорах, отличается большей крутизной подъема, чем это наблюдается в других говорах, поскольку движение вверх осуществляется на сравнительно небольшом временном отрезке, часто в пределах одного слога, и реализуется в более широком частотном диапазоне» [Пауфошима 1989: 59–60]¹⁸. Наши данные свидетельствуют, однако, о том, что в пинежских говорах представлены оба типа восходящего движения — как резкое с большим интервалом (от одной до полутора октав), так и плавное со стандартным повышением (приблизительно в половину октавы); есть основания полагать, что при наличии нескольких однотипных акцентов интервал тонального изменения коррелирует со степенью выделенности того или

¹⁸ Иной тип повышения в говоре д. Ваймуши описывает Е. А. Брызгунова: «Этот уровень тона у дикторов возникает как результат повышения тона через интервалы между слогами, а не в пределах одного слога» [Брызгунова 1977а: 242].

иного слова во фразе: выделенному слову соответствует больший интервал тонального движения (аналогично тому, как в СРЛЯ способом выделения одного из слов в синтагме является само наличие изменения ЧОТ).

Интонограмма фразы *На день рождения пекли пироги*, приведенная на рис. 20, свидетельствует о том, что на слове *рождения* происходит повышение тона на 30 % от базового (со 155 до 200 Гц), а на слове *пироги* — на 78 % (со 140 до 250 Гц); аналогичная картина представлена на рис. 21: на слове *малолетние* зафиксировано увеличение ЧОТ на 50 % от исходного (со 180 до 276 Гц), на слове *зажгли* — на 135 % (со 160 до 375 Гц).

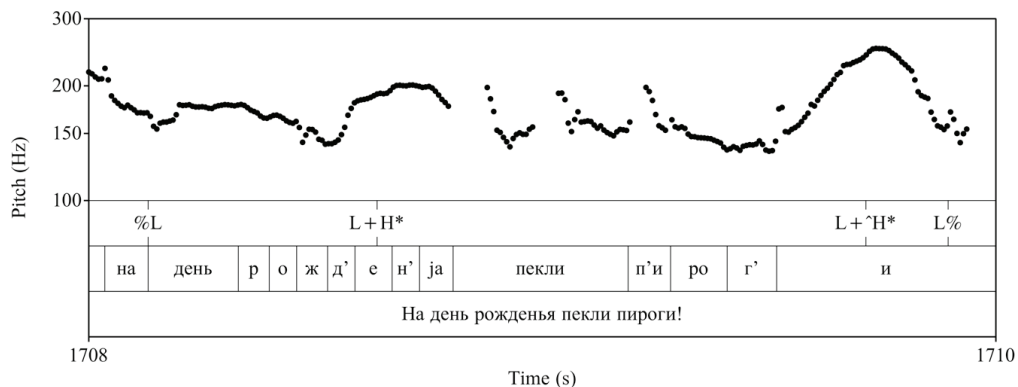


Рис. 20. Кривая ЧОТ фразы *На день рождения пекли пироги!* (диктор — Н. А. П.)

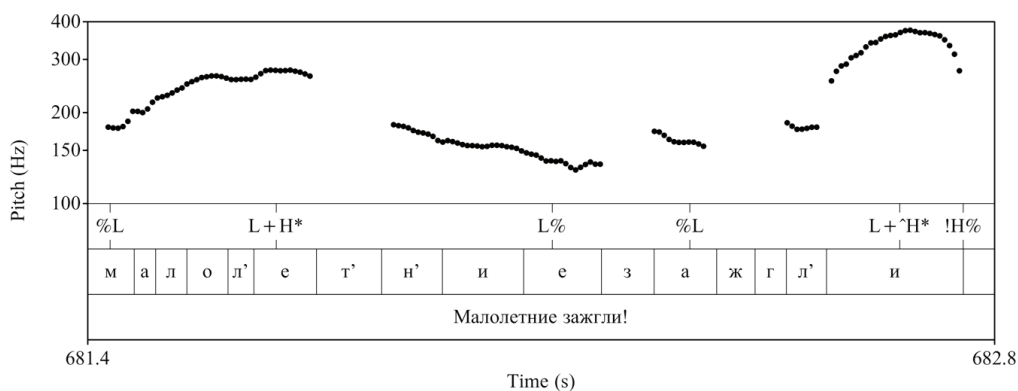


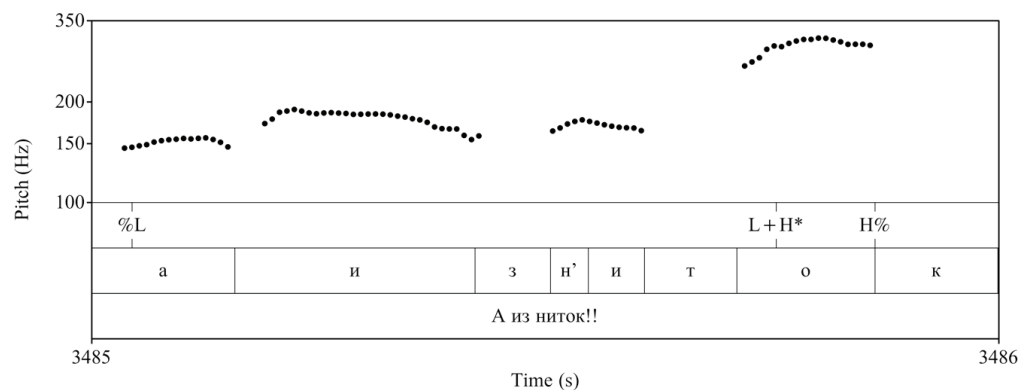
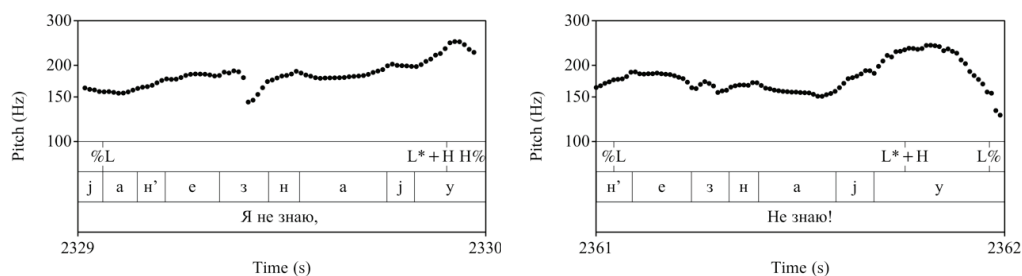
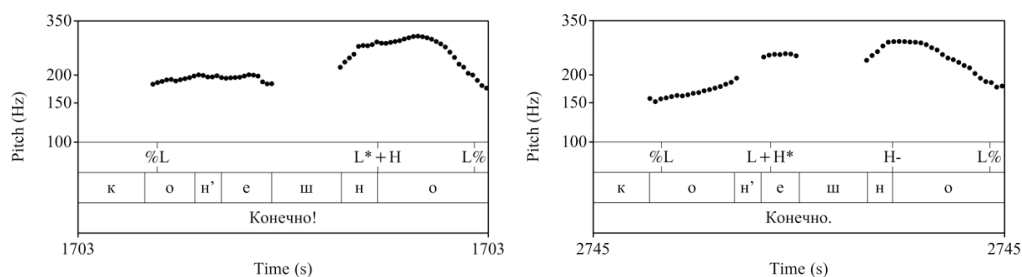
Рис. 21. Кривая ЧОТ фразы *Малолетние — зажгли!* (диктор — Р. М. И.)

2.2.4. Тональный акцент: тайминг

Стандартным способом синхронизации восходящего тонального акцента с сегментной последовательностью высказывания является подъем тона на ударном гласном с последующим ровным отрезком на нем (L+H*) или повышение тона на второй части ударного гласного с предшествующим ровным отрезком в его начале (L*+H) (см. примеры такой структуры выше на рис. 7–12, 20, 21 и 15–17 соответственно).

Наряду с этим в говоре достаточно редко (приблизительно в 5 % исследованных реплик), но встречаются случаи, которые могут быть интерпретированы как реализации так называемого позднего тайминга, когда значимое тональное изменение осуществляется

на заударных слогах (см. рис. 22–25). В большинстве таких случаев эти реплики содержат ярко выраженную эмоциональную составляющую, с которой и может быть связан соответствующий тип тональной организации.



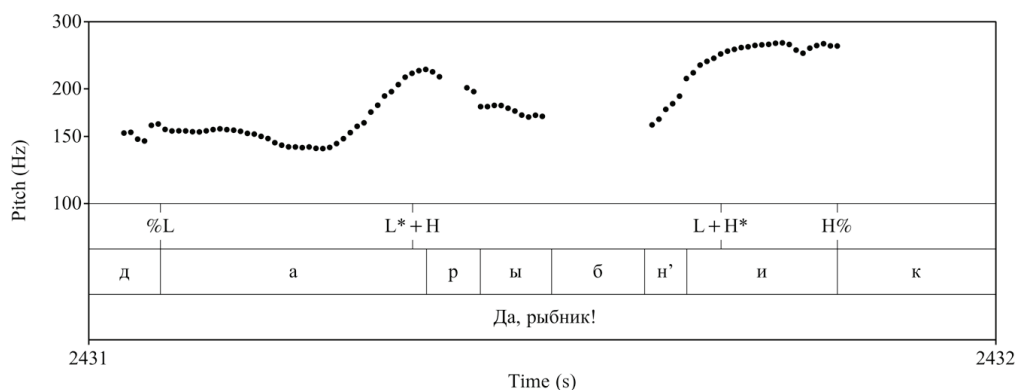


Рис. 25. Кривая ЧОТ во фразе (— *Это ры́бник, да?*) — *Да, ры́бник!* (диктор — Р. М. И.)

2.3. Заакцентная часть высказывания

В просодических описаниях на базе ToBI кроме тональных акцентов (pitch accents) характеризуются также фразовые тоны (phrase accents) и пограничные тоны (boundary tones).

Вопрос о необходимости введения в описание русской литературной просодии пограничных тонов остается дискуссионным [Knyazev, Pronina 2017; Князев, Савельева 2021]. В системе ToRI [Odé 2008] выделяются низкий пограничный тон и граница, не маркированная тоном; при этом считается, что конечный пограничный тон задается предшествующим тональным акцентом. Эта точка зрения оспаривается Л. Пашеном, который полагает, что пограничный тон не предсказывается тональным акцентом и может выполнять отдельную коммуникативную функцию [Paschen 2015: 493]. В то же время для описания просодии некоторых диалектных систем фиксация пограничных тонов представляется необходимой [Горячева и др. 2009; Князев 2021a]. Фразовые тоны на материале русского языка до сих пор описаны не были.

2.3.1. Фразовый тон

2.3.1.1. Фразовый тон в утвердительных высказываниях.

Выше уже было отмечено, что одни исследователи описывают тональные акценты в говорах с пословным тональным оформлением как восходящие [Кузнецов 1949: 14; Касаткина 1991: 42], другие — как восходяще-нисходящие [Post 2005: 46]: чтобы тон был восходящим на каждой просодической единице, после его подъема должно иметь место и падение. Важный вопрос в данном случае заключается в том, является ли нисходящее движение тона в этих случаях частью сложного тонального акцента или относится к заакцентной части контура — фразовому или пограничному тону.

Поскольку в говоре восходящее тональное движение имеет место почти на каждом слове (точнее — на каждой акцентной группе, см. раздел 2.1), материалом для анализа в данном случае должны служить конечные акценты фразы, за которыми не следуют другие акценты, предполагающие немедленный подъем тона в пределах той же синтагмы. Другое требование к материалу — наличие (как можно большего числа) заакцентных слогов, чтобы на них можно было проследить характер изменения ЧОТ; такие случаи, к сожалению, довольно редки, поскольку ядерный акцент обычно реализуется на последнем слове во фразе.

Соответствующие примеры утвердительных высказываний приведены ниже на рис. 26–28. На первый взгляд, эти контуры очень напоминают тип оформления общего вопроса

или незавершенности в СРЛЯ (повышение на ударном слоге, затем падение до низкого), но ни коммуникативно (это нейтральное законченное утверждение, а не вопрос), ни функционально (общий вопрос и незавершенность в говоре оформляются иначе, см. ниже), ни перцептивно (на слух эти фразы не производят впечатления вопроса или незавершенности) им не являются. Отличаются они и фонетически: в СРЛЯ наиболее типичной структурой с восходяще-нисходящим мелодическим контуром является ИК-3, для которой характерно резкое повышение тона на ударном гласном акцентированного слога и столь же быстрое падение на заударном с дальнейшим сохранением низкого уровня на всей заударной части. Типичный для СРЛЯ пример *А вообще вино не де³лают тут сами?* приведен выше на рис. 1, на котором видно, что уже в самом начале второго заакцентного слога устанавливается низкий тон, поддерживаемый на всей оставшейся части фразы. Мелодические контуры в рассматриваемом говоре устроены иначе: в них падение тона после повышения на ударном слоге начинается не сразу (некоторое время поддерживается ровный высокий тон) и осуществляется не резко: референциальная точка для низкого тона находится не на ближайшем к акцентированному гласному слоге, а на конечном слоге во фразе — особенно хорошо это видно на рис. 27 во фразе с тремя заакцентными слогами¹⁹. Таким образом, от ИК-3 данный контур отличается наличием ровной высокой составляющей после восхождения тона и последующим постепенным, а не резким, падением²⁰ (а от ИК-6 — самим наличием падения в заакцентной части фразы). Система интонационных конструкций Е. А. Брызгуновой не дает возможности отличать эти контуры друг от друга, поскольку постцентровая часть ИК в ней носит нерасчлененный характер, а в говоре данный мелодический контур характеризуется разными значениями в начале и в конце постакцентной части: конечный (пограничный) тон в ней низкий (L%), а фразовый тон между тональным акцентом и пограничным тоном — высокий (H-). Поэтому в описании говоров с пословным тональным оформлением требуется более детальная фиксация оформления заакцентной части мелодического контура, чем это предусмотрено системой ИК для литературного языка, а конечный во фразе мелодический контур со значением нейтрального утверждения имеет в них структуру **L+H* H- L%**²¹ (тем самым это действительно восходящий, а не восходяще-нисходящий тональный акцент).

Приведенные выше данные не соответствуют замечанию П. С. Кузнецова [1949: 14] о том, что последний отрезок фразы характеризуется восходяще-нисходящей интонацией «с более быстрым падением, чем восхождением». В описанных выше случаях картина наблюдалась прямо противоположная: гораздо более быстрое восхождение, нежели падение. По-видимому, это замечание Кузнецова относится к другому типу тонального акцента.

Отметим в заключение, что широкое распространение в подобных диалектах постпозитивных частиц (*дак, да, а, и* и др.) может быть связано, в том числе, с необходимостью реализовать конечный (чаще всего низкий) пограничный тон: частицы эти обычно фиксируются именно в самом конце интонационной фразы, особенно часто — сразу после ударного слога, где нет другого способа реализовать низкий пограничный тон, противопоставленный в говоре высокому (см. об этом 2.3.2.1). Пример подобного рода см. на рис. 28, где на ударном гласном (конечного в слове) акцентированного слога *варім* имеет место восходящий тон, на конечном в слове согласном — ровный высокий, а на двухчастной (тонально, спектрально и динамически) частице *а*, продолжительность которой втрое больше продолжительности ударного гласного, — нисходящий, а затем ровный низкий. Впрочем, возможна и альтернативная (на наш взгляд, менее вероятная) трактовка: в отношении

¹⁹ Сходным, но, по-видимому, не вполне идентичным образом оформляются вопросительные высказывания в терских говорах [Post 2005; 2008]; см. также 2.3.2.2.

²⁰ Еще одним отличием является более ранний тайминг этого акцента в говоре: повышение тона обычно начинается до начала гласного (на согласном в инициали ударного слога) и заканчивается приблизительно в середине ударного гласного.

²¹ ИК-3 в этих терминах имеет вид **L+H* L- L%**, ИК-6 — **L+H* H- H%**.

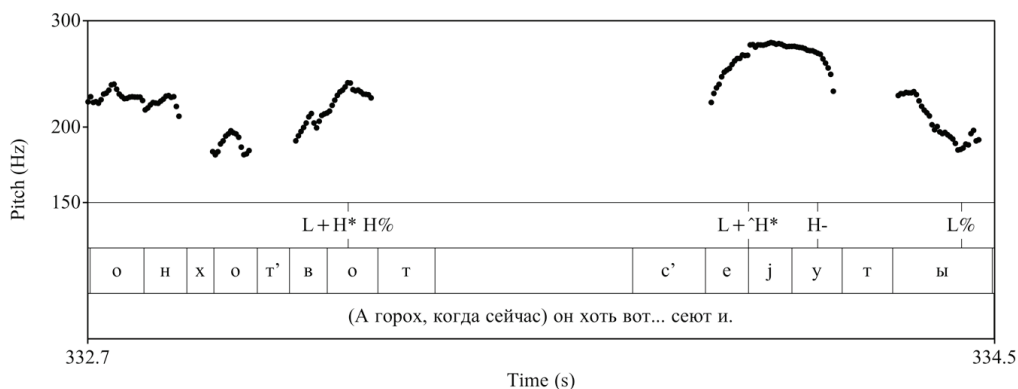


Рис. 26. Интонограмма конечного во фразе слова *сеют и* из фразы *А горох, когда сейчас он хоть вот сеют и* (диктор — Р. М. И.)

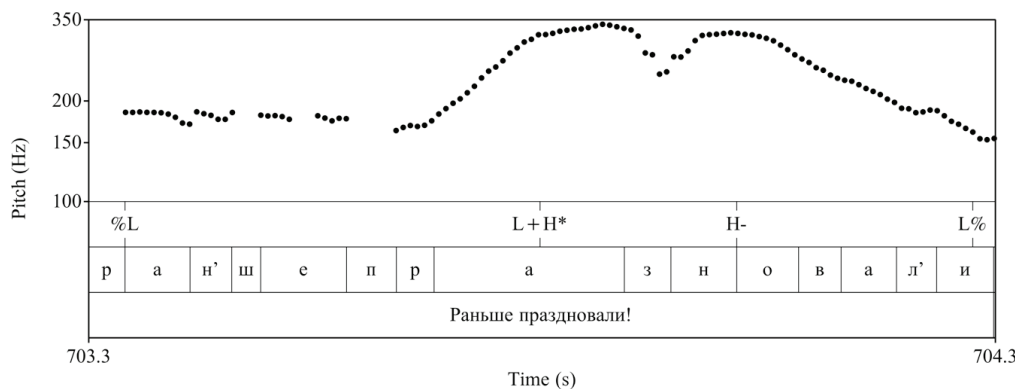


Рис. 27. Интонограмма фразы *Раньше праздновали!* (диктор — Р. М. И.)

фразовой просодии частицы являются прозрачными сегментами: значение ЧОТ на них (всегда низкое) не значимо с точки зрения просодической организации фразы, существенным является тон только на самостоятельных фонетических словах. Этой трактовке противоречат, однако, случаи с низким тоном на конечной частице (см. рис. 29) в случае интонации незавершенности (о незавершенности см. 2.3.2).

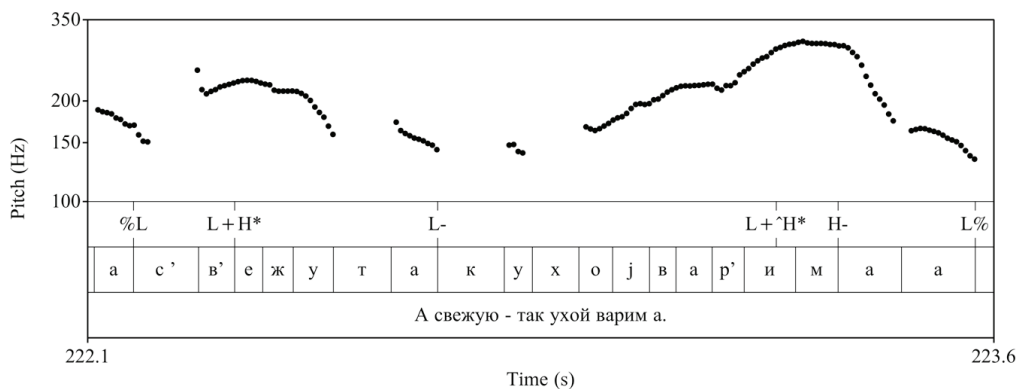


Рис. 28. Интонограмма фразы *А свежую — так ухой варим а* (диктор — М. П. Е.)

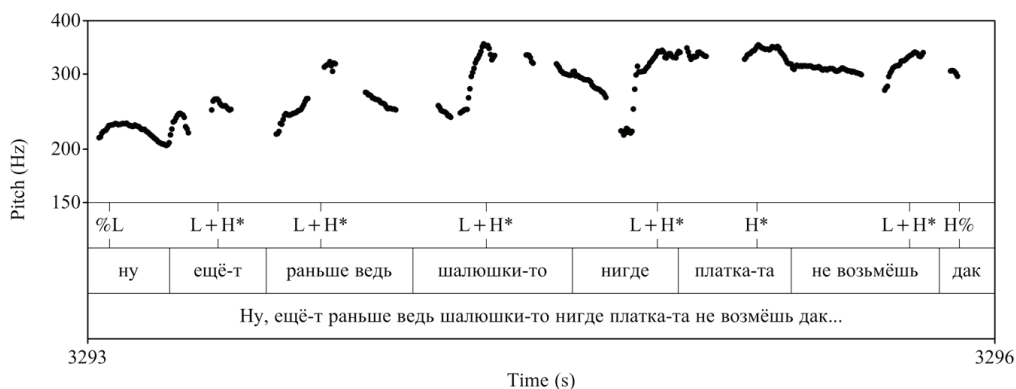


Рис. 29. Интонограмма фразы *Ну, ещё-т раньше ведь шалюшки-то нигде платка-та не возьмёшь дак...* (диктор — М. П. Е.)

2.3.1.2. Фразовый тон в общих вопросах.

Л. В. Щигель, исследовавшая, к сожалению, неназванные «говоры разных районов Вологодской и Архангельской областей» [Щигель 1985: 102] пришла к заключению, что в них «для восприятия вопроса без вопросительного слова признак направления движения основного тона в гласном центра не является релевантным» [Там же: 111]. Это утверждение вполне согласуется с тем фактом, что нейтральное утверждение в верхнепинежских говорах оформляется восходящим акцентом (L*+H).

Специфический мелодический контур общего вопроса описан в работах М. Пост на материале терских говоров²² [Post 2005; Пост 2007; Post 2008; Пост 2008] и назван ей «широкой шляпой» ('broad hat'): «Whereas in IK-3 the fall starts immediately after the stressed syllable of the accented word (...) it starts later in this movement, possibly only in the last syllable or syllables» [Post 2005: 49]. Этот контур имеет структуру, близкую к ИК-5 (для которой характерен восходящий тон на первом слове синтагмы + ровный + нисходящий на акцентированном слове), но существенно отличающуюся от нее: в северных говорах повышение тона происходит на акцентированном слове, а падение — в заакцентной части.

В терском говоре этот контур сосуществует со стандартным для русского (в том числе — литературного) общего вопроса контуром с резким подъемом ЧОТ на ударном гласном акцентированного слова и немедленным падением на первом заударном L+H* L- L% (ИК-3). М. Пост высказала предположение, что в исследованных ею говорах выбор того или иного способа тонального оформления общего вопроса «is related to the knowledge of the speaker regarding the information under current concern (...) The broad hat is typically used in utterances with a strong bias to a positive answer and a lesser degree of questionhood, such as in requests for confirmation of an inference going counter to an earlier presupposition of the speaker» [Post 2008]. В верхнепинежских говорах такой зависимости не наблюдается: в наших материалах вопрос без вопросительного слова встретился 27 раз; практически во всех случаях, где его тип можно надежно определить²³, он оформлен «широкой шляпой» (см. рис. 30–32), в том числе и в функции «запроса подтверждения». Лишь в одной реплике (которая не является запросом подтверждения) зафиксирован восходящий тон с немедленным падением (его начало приходится на границу между ударным и заударным слогами акцентированного слова, см. рис. 33). Этот вопрос является «цитатой» в рассказе информанта, копирующего речь одного из персонажей, а имитация чужой речи в русских диалектах может быть просодически оформлена особым образом, отличающимся от стандартного для данного говора [Пауфощима 1989: 55].

²² Д. Варзуга Терского р-на Мурманской обл.

²³ Если тональный акцент реализуется на конечном слове фразы, описанное различие нейтрализуется.

М. Пост предложила интерпретировать последнюю (нисходящую) часть этого контура как второстепенный акцент либо как тональное движение, которое является последней частью главного тонального акцента («trailing tone of the nuclear pitch accent with a late association» [Post 2008]). В рамках принятой в настоящем исследовании модели этот мелодический контур представляет собой структуру **L+H* H- L%**: восходящий тональный акцент + высокий фразовый тон + низкий пограничный тон.

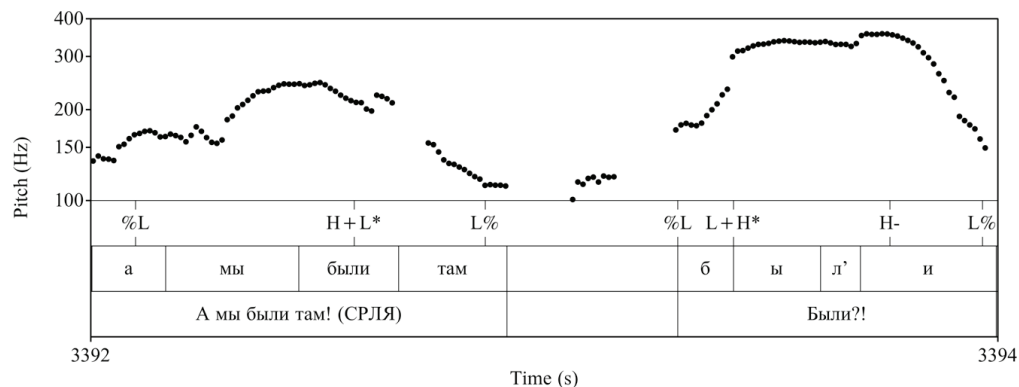


Рис. 30. Кривая ЧОТ фраз *А мы были там! (СРЛЯ) Были?! (диктор — Р. М. И.)*

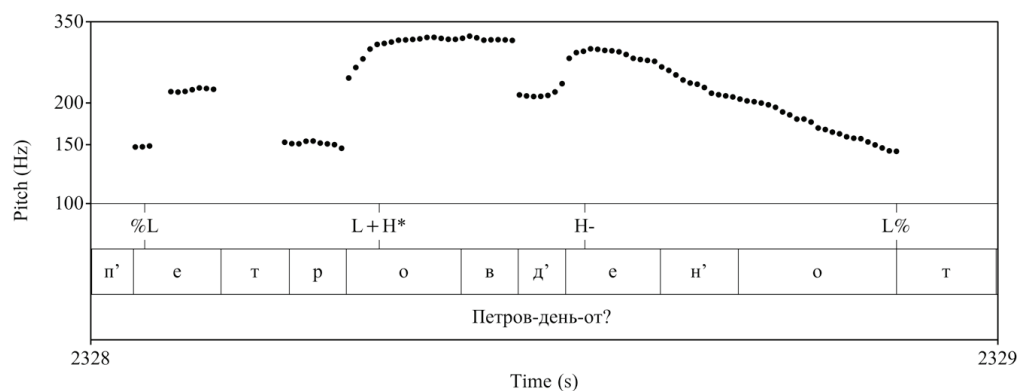


Рис. 31. Кривая ЧОТ фразы *Петров-день-от? (диктор — Р. М. И.)*

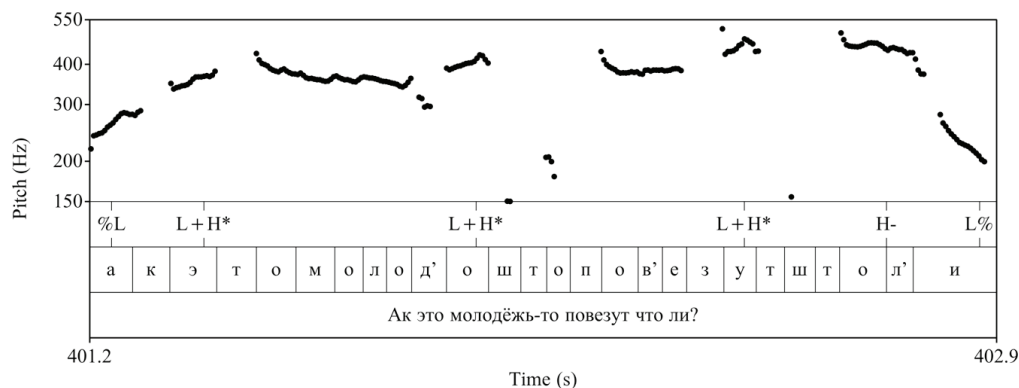


Рис. 32. Кривая ЧОТ фразы *Ак это молодёжь-то повезут что ли? (диктор — М. А. И.)*

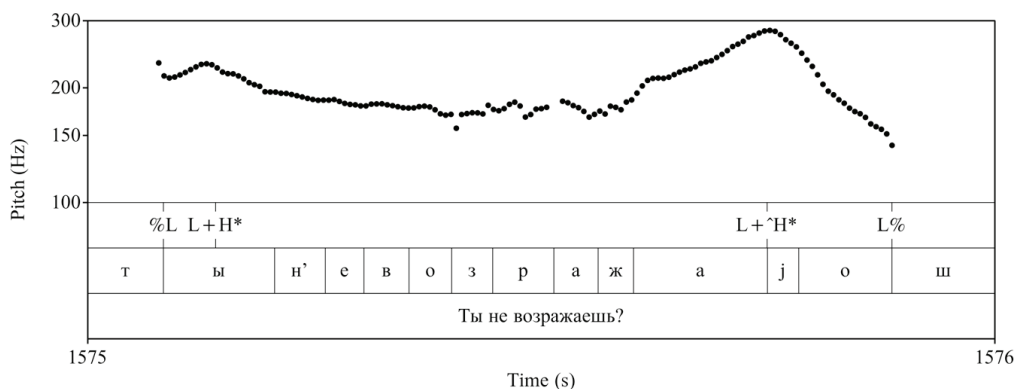


Рис. 33. Кривая ЧОТ фразы *Ты не возражаешь?* (диктор — М. П. Е.)

2.3.2. Пограничные тоны

Данный раздел посвящен только конечным пограничным тонам, поскольку исследованный материал не дает оснований для выделения разных начальных пограничных тонов в верхнепинежских говорах, мы предполагаем, что этот тон в них всегда низкий (%L).

В предыдущем разделе было показано, что нейтральное утверждение может оформляться в Вадюге восходящим тональным акцентом с последующим высоким фразовым и низким конечным пограничным тоном. Этот тип оформления сходен с ИК-3, основной сферой употребления которой в СРЛЯ является общий вопрос и незавершенность. В этой связи естественным образом возникает вопрос о том, какими фразовыми просодическими средствами передается в говоре коммуникативное значение незавершенности (об общем вопросе см. 2.3.1.2).

Выше на рис. 23 приведены интонограммы двух синтагм, завершающихся одним и тем же фонетическим словом *не знаю* в произношении одного и того же информанта — слева в неконечной позиции во фразе (со значением незавершенности), а справа — в конечной (со значением завершенности). Тональный акцент в обоих этих случаях одинаковый — L^*+H с поздним таймингом (повышением тона на конечном, первом заударном, слоге). Сравнение интонограмм показывает, что во втором случае (завершенность) после тонального акцента происходит понижение тона до низкого (120 Гц), а длительность заударного гласного для осуществления этого движения увеличивается (и в результате значительно превышает длительность ударного); в первом же случае (незавершенность) понижения ЧОТ после акцента нет, тон сохраняется на высоком уровне (240 Гц), отсутствует и увеличение длительности заударного гласного (он существенно короче ударного). Таким образом, можно предположить, что значение завершенности в говоре оформляется низким пограничным (или фразовым) тоном; а незавершенность — не низким.

Более тщательный анализ подтверждает эту гипотезу. Ниже на рис. 34–37 приведены интонограммы фраз, конечные отрезки которых (*газетку да* (34), *смелешь* (35), *хороший* (36), *свои да* (37)) оформлены контуром $[L+H^* H- L\%]$ (завершенность, см. выше)²⁴, а в неконечных (*по деревне-то* (34), *наложки да* (35), *верти да* (35), *только* (35)²⁵, *когда* (36), *в серёдке дак* (36), *караваи* (37), *такие* (37), *пекли* (37)) можно усмотреть значение незавершенности. В последних случаях фиксируется восходящий акцент без последующего падения до низкого — даже при наличии в высказывании заударной части (см. *по деревне-то* (34),

²⁴ Отметим еще раз, что очень часто конечным слогом в высказывании является постпозитивная частица.

²⁵ Четыре раза.

только (35), караван (37), такие (37)): [L+H* H%] или [L+H* !H%]. Конечное значение ЧОТ во всех этих случаях на 74–146 Гц (то есть, на пол-октавы или октаву при базовом тоне около 150 Гц) выше конечного значения ЧОТ в отрезках со значением завершенности.



Рис. 34. Интонограмма фразы *По деревне-то, по деревне-то надо... принести газетку да* (диктор — Р. М. И.)

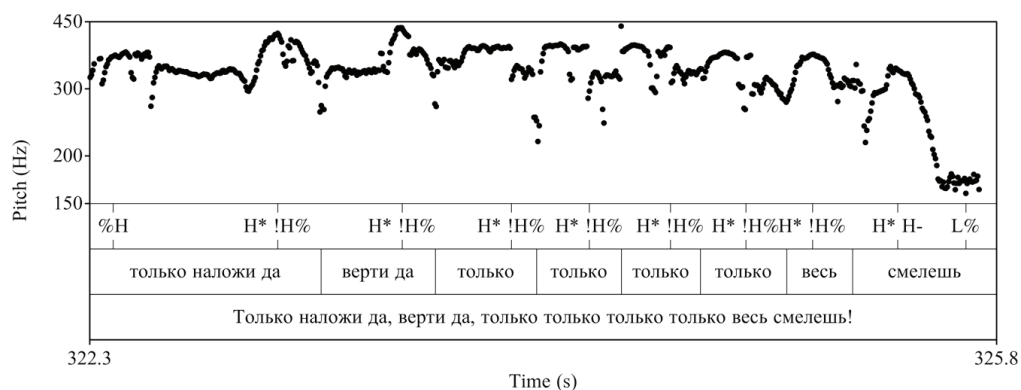


Рис. 35. Интонограмма фразы *Только наложи да, верти да, только только только только весь смелешь!* (диктор — Р. М. И.)

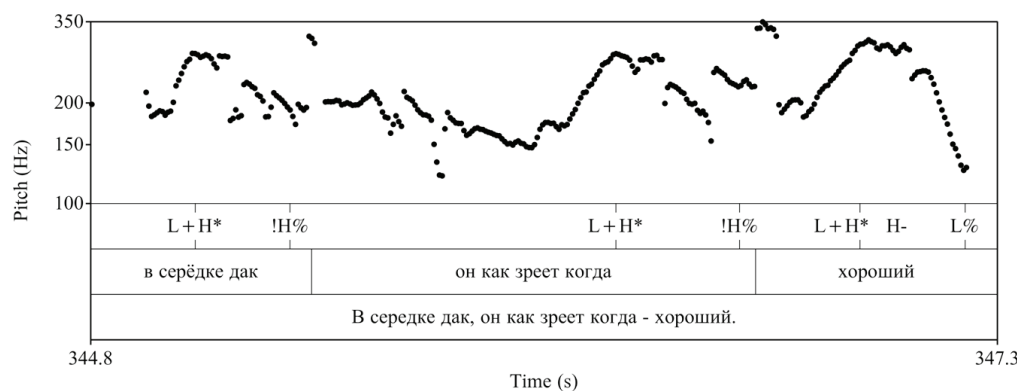


Рис. 36. Интонограмма фразы *В середине дак, он как зреет когда — хороший* (диктор — Р. М. И.)

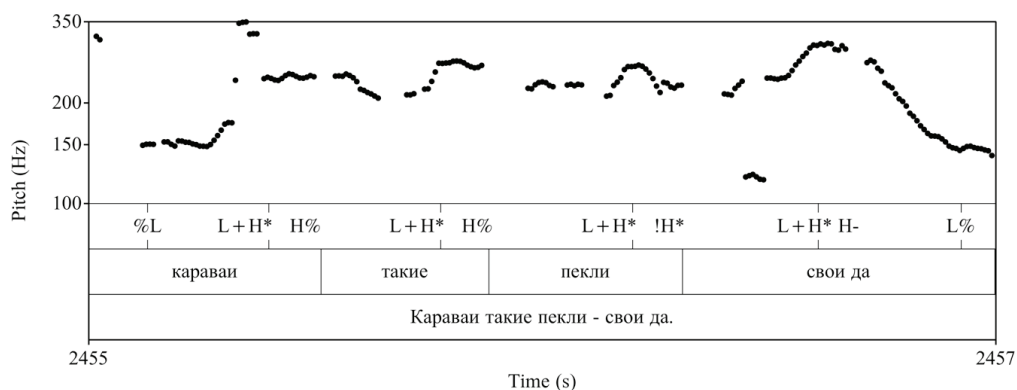


Рис. 37. Интонограмма фразы *Каравай такие пекли — свои да* (диктор — Р. М. И.)

Таким образом, можно предположить, что незавершенность маркируется в говоре восходящим тоном без последующего падения. В этом отношении особую ценность для анализа представляют, на наш взгляд, те весьма редкие случаи, когда отрезки текста с явным значением незавершенности находятся не внутри фразы (перед следующей просодической группой), а в ее конце — в этом случае акцент реализуется в чистом виде без влияния последующих тональных движений. Пример подобного рода приведен на рис. 38 (интонограмма фразы *Как он? Ведь зайдёшь, тут и...*). Конечное значение ЧОТ в этом случае составляет 189 Гц, что ниже высокого (253 Гц), но выше базового (147 Гц), тем более — низкого (115 Гц).

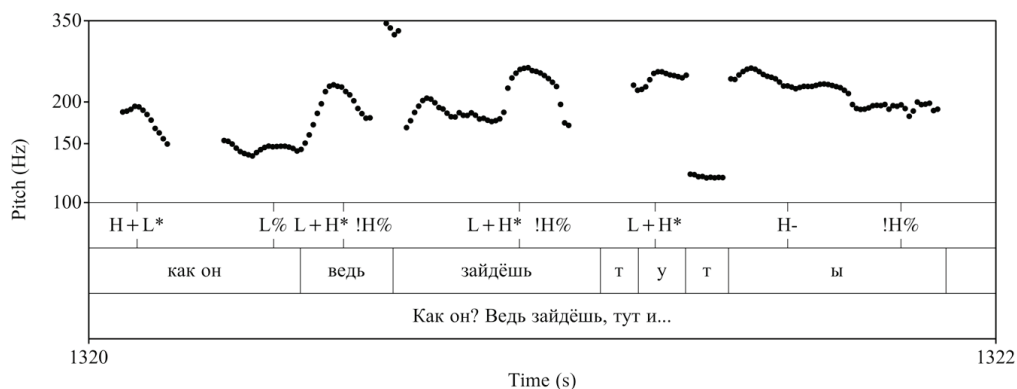


Рис. 38. Интонограмма фразы *Как он? Ведь зайдёшь, тут и...* (диктор — Р. М. И.)

Приведенная на рис. 39 синтагма *А у нас вот и не заговорило...* (он не заказал он, телевизор-от) показательна тем, что ее конечный заударный гласный [о] характеризуется сверхвысокой длительностью (397 мс), но значение ЧОТ в его конце все равно значительно выше, чем на конечном во фразе гласном [а] в слове *заказал*, на котором реализуется низкий пограничный тон, маркирующий завершенность: 225 Гц (с учетом деклинации) против 165 Гц (при том, что на [а] реализуется и восходящее движение). То же можно наблюдать и на рис. 40 в произношении другого информанта (384 мс, 196 и 135 Гц соответственно). Аналогичным образом устроены и высказывания, приведенные на рис. 41: незавершенность (*Ведь во, придешь, солнышко закатилось и-и-и*) — падение с 230 до 195 Гц, завершенность — с 240 до 130 (*Придешь домой-то*) и рис. 42:

незавершенность (*деревянными-то вёдрами...*) — падение с 280 до 210 Гц, завершённость — с 280 до 165 (*это носили воду-ту*).

Таким образом, можно утверждать, что при оформлении незавершенного высказывания в говоре используется тональный тип с восходящим тональным акцентом [L+H*] (как и при завершенности) и (в отличие от завершенности) не низким пограничным и/или фразовым тоном²⁶; фонологически это структура [L+H* (H-) H%], фонетически же чаще всего — [H* (H-) !H%] со средним, а не высоким пограничным тоном²⁷.

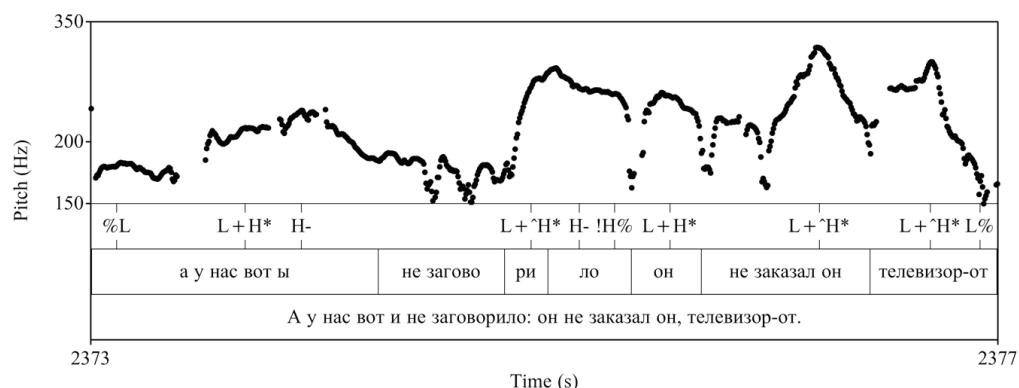


Рис. 39. Кривая ЧОТ фразы *А у нас вот и не заговорило: он не заказал он, телевизор-от* (диктор — М. П. Е.)

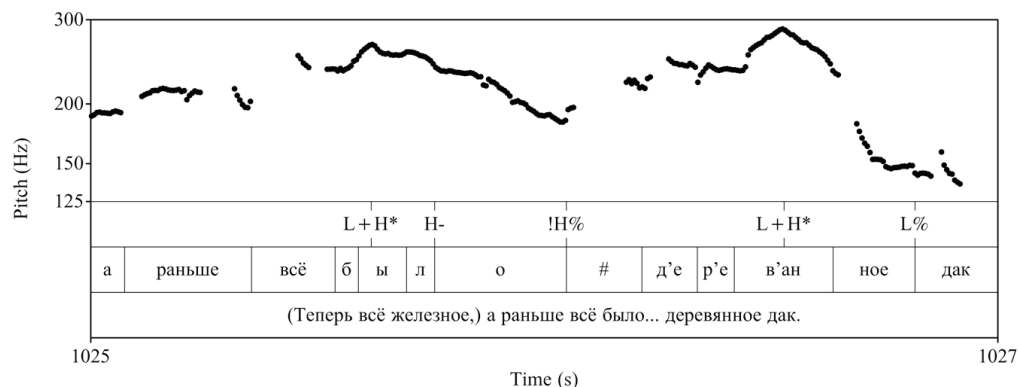


Рис. 40. Кривая ЧОТ фразы *(Теперь всё железное,) а раньше всё было... деревянное дак* (диктор — Н. А. П.)

²⁶ Пограничный тон имеет место только в конце синтагмы перед паузой, в других случаях тональные акценты связываются фразовым тоном.

²⁷ Аналогичным образом незавершенность маркируется и в севернорусском говоре с. Церковное Плесецкого р-на Архангельской обл. [Князев 2021а].

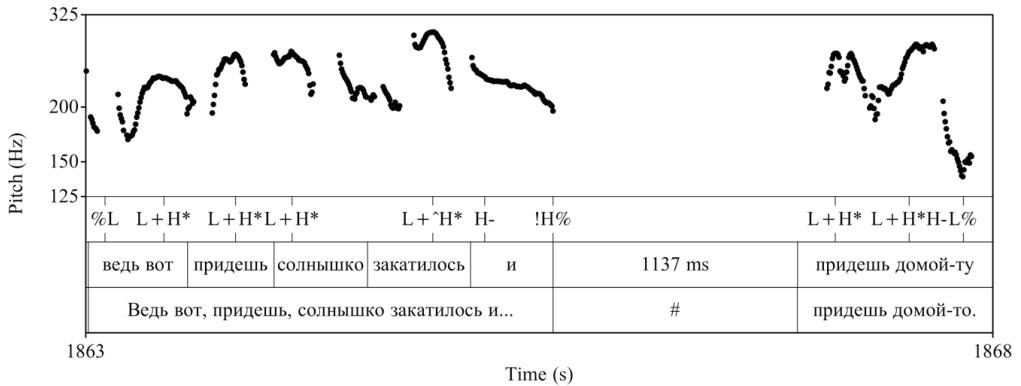


Рис. 41. Кривая ЧОТ фразы (Да, некогда было.) *Ведь вот, придешь, солнышко закатилось и-и-и... придешь домой-то* (диктор — Н. А. П.)

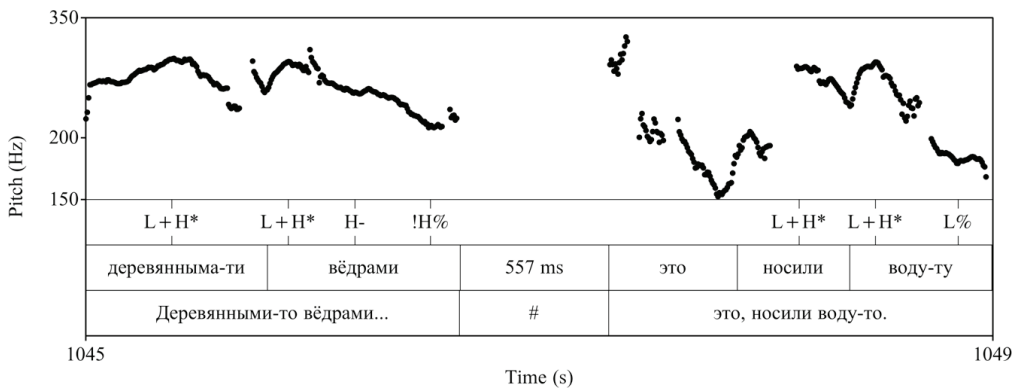


Рис. 42. Кривая ЧОТ фразы (Я вот в доярках сидела ак ещё) *деревянными-то вёдрами... это, носили воду-ту* (диктор — Н. А. П.)

Заключение: тональные просодические средства верхнепинежских говоров и русского литературного языка

Приведенный выше обзор фразовой интонации в говорах с «пословным»²⁸ тональным оформлением дает основание сделать вывод о том, что для оформления высказывания в этих говорах используется практически тот же набор просодических средств, что и в литературном языке:

- 1) направление движения тона,
- 2) интервал тонального изменения,

²⁸ Как было показано выше (раздел 2.1), этот термин не совсем точно отражает реальное положение дел: тональное движение в говоре ассоциировано не с лексическим или фонетическим словом, а с акцентной группой; мы, однако, продолжаем употреблять этот термин по уже сложившейся в описаниях таких говоров традиции.

- 3) уровень, на котором реализуется акцент,
- 4) синхронизация тонального движения с сегментной последовательностью (тайминг),
- 5) тип пограничного тона (в системе ИК для СРЛЯ он описывается как значение тона в постцентре),
- 6) характер фразового тона (для СРЛЯ его можно постулировать в случае ИК-5: [L+N* H- H+L*]).

Значительное сходство наблюдается и в наборе тональных акцентов: базовые тональные акценты СРЛЯ, характеризующие основные типы ИК (L+N* — ИК-3, ИК-5, ИК-6; H*+L — ИК-2, ИК-5; L* — ИК-1, ИК-4), зафиксированы и в исследованном говоре; из описанных выше для говора типов литературному языку не свойственны только акценты L*+H и H*. Тем не менее фонетическая реализация всех тональных акцентов в говоре и литературном языке различна:

- 1) акцент H+L* отличается от ИК-2 тем, что падение тона начинается не в начале ударного гласного акцентированного слова, а в его середине;
- 2) акцент L+N* в отличие от ИК-3, ИК-5 и ИК-6 характеризуется более ранним таймингом (максимум достигается не в конце ударного гласного акцентированного слова, а в его середине)²⁹;
- 3) акцент L*+H отличается от ИК-4 более ранним таймингом (и наличием низкого пограничного тона);
- 4) акцент L* в отличие от ИК-1 не содержит падения тона.

Наряду с этим верхнепинежские говоры и литературный язык различаются ассоциацией интонационных средств с коммуникативными значениями: просодические средства в диалекте могут быть использованы иначе, чем в СРЛЯ. Так, значение незавершенности маркируется в говоре высоким пограничным тоном в отличие от низкого в СРЛЯ (в сочетании с тем же восходящим акцентом), а значение завершенности — восходящим акцентом в отличие от нисходящего в СРЛЯ (в сочетании с тем же низким пограничным тоном).

Наиболее яркими различиями между описанными говорами и СРЛЯ являются:

- 1) тип минимальной интонационной единицы — **акцентная группа** в говоре, часто состоящая из одного фонетического слова, и **синтагма** в СРЛЯ, состоящая в большинстве случаев из нескольких фонетических слов;
- 2) дистрибуция тональных акцентов — за счет расширенного употребления в говоре восходящих тонов, которыми оформляются, наряду с общими вопросами и незавершенными высказываниями, предьядерные акценты и завершенные высказывания;
- 3) большая функциональная нагруженность в говоре заакцентной части высказывания — наличие фразовых тонов наряду с пограничными.

В целом верхнепинежские говоры, несмотря на «пословный» характер тонального оформления, гораздо ближе литературному русскому языку (тип 5)³⁰, чем, например, языкам со словесной просодией — сербохорватскому (тип 2) или японскому (тип 3), для которых характерно наличие гораздо меньшего числа тональных акцентов. Еще ближе интонационная система пинежских говоров фразовой просодии греческого языка (тип 4) — по набору тональных акцентов, по их фонетической реализации, по наличию предьядерных акцентов и по их тональному оформлению, а также по использованию фразовых и пограничных тонов. Отличаются они, по сути, только типом минимальной интонационной единицы: в греческом это фонетическое слово [Jun 2005: 434], а в севернорусских диалектах — акцентная группа.

²⁹ А соответствующий мелодический контур в целом — иной сочетаемостью с пограничными тонами.

³⁰ См. выше раздел 1.2.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

- Брызгунова 1963 — Брызгунова Е. А. *Практическая фонетика и интонация русского языка*. М.: Изд-во Московского ун-та, 1963. [Bryzgunova E. A. *Prakticheskaya fonetika i intonatsiya russkogo yazyka* [Practical phonetics and intonation of Russian]. Moscow: Moscow State Univ. Press, 1963.]
- Брызгунова 1969 — Брызгунова Е. А. *Звуки и интонация русской речи*. 1-е изд. М.: Изд-во Московского ун-та, 1969. [Bryzgunova E. A. *Zvuki i intonatsiya russkoi rechi* [Sounds and intonation of Russian speech]. 1st edn. Moscow: Moscow state Univ. Press, 1969.]
- Брызгунова 1977а — Брызгунова Е. А. Анализ русской диалектной интонации. *Экспериментально-фонетические исследования в области русской диалектологии*. Высотский С. С. (ред.). М.: Наука, 1977, 231–262. [Bryzgunova E. A. An analysis of Russian dialectal intonation. *Eksperimental'no-foneticheskie issledovaniya v oblasti russkoi dialektologii*. Vysotsky S. S. (ed.). Moscow: Nauka, 1977, 231–262.]
- Брызгунова 1977б — Брызгунова Е. А. *Звуки и интонация русской речи*. 3-е изд. М.: Русский язык, 1977. [Bryzgunova E. A. *Zvuki i intonatsiya russkoy rechi* [Sounds and intonation of Russian speech]. 3rd edn. Moscow: Russkii Yazyk, 1977.]
- Брызгунова 1980 — Брызгунова Е. А. Интонация. *Русская грамматика*. Т. 1: Фонетика, фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология. Шведова Н. Ю. (ред.). М.: Наука, 1980, 103–118. [Bryzgunova E. A. Intonation. *Russkaya grammatika*. Vol. 1: *Fonetika, fonologiya. Udarenie. Intonatsiya. Slovoobrazovanie. Morfologiya*. Shvedova N. Yu. (ed.). Moscow: Nauka, 1980, 103–118.]
- Высотский 1973 — Высотский С. С. О звуковой структуре слова в русских говорах. *Исследования по русской диалектологии*. Бромлей С. В. (отв. ред.). М.: Наука, 1973, 17–41. [Vysotsky S. S. On the sound structure of word in Russian dialects. *Issledovaniya po russkoi dialektologii*. Bromlei S. V. (ed.). Moscow: Nauka, 1973, 17–41.]
- Горячева и др. 2009 — Горячева Ю. В., Князев С. В., Пожарицкая С. К. Фонетическая реализация заударных гласных в различных просодических условиях: пограничные тоны (на материале говоров рязанской группы). *Исследования по славянской диалектологии*. Вып. XIV. М.: Наука, 2009, 15–53. [Goryacheva Yu. V., Knyazev S. V., Pozharitskaya S. K. Phonetic realization of poststress vowels in various prosodic positions: boundary tones (based on Ryazan dialects). *Issledovaniya po slavyanskoi dialektologii*. No. XIV. Moscow: Nauka, 2009, 15–53.]
- Дурагин 2021 — Дурагин П. В. Интонация частного вопроса в русском языке: экспериментальное исследование источников вариативности. *Русский язык в научном освещении*, 2021, 1(41): 137–177. [Duryagin P. V. Russian *wh*-question intonation: Experimental data on some sources of variation. *Russkij yazyk v nauchnom osveshchenii*, 2021, 1(41): 137–177.]
- Йокояма 2003 — Йокояма О. Нейтральная и ненейтральная интонация в русском языке: автосегментная интерпретация системы интонационных конструкций. *Вопросы языкознания*, 2003, 5: 99–122. [Yokoyama O. Neutral and non-neutral intonation in Russian: Autosegmental interpretation of the system of intonation constructions. *Voprosy Jazykoznanija*, 2003, 5: 99–122.]
- Касаткина 1991 — Касаткина Р. Ф. О фонетической природе словесного ударения в севернорусских говорах. *Современные русские говоры*. Азарх Ю. С. (ред.). М.: Наука, 1991, 42–49. [Kasatkina R. F. On the phonetic nature of word stress in Northern Russian dialects. *Sovremennye russkie govory*. Azarkh S. Yu. (ed.). Moscow: Nauka, 1991, 42–49.]
- Касаткина 2002 — Касаткина Р. Ф. Заметки о южнорусской интонации. *Материалы и исследования по русской диалектологии I (VII)*. Касаткин Л. Л. (ред.). М.: Наука, 2002, 134–151. [Kasatkina R. F. Notes on South-Russian intonation. *Materialy i issledovaniya po russkoi dialektologii I (VII)*. Kasatkin L. L. (ed.). Moscow: Nauka, 2002, 134–151.]
- Князев 2021а — Князев С. В. Пословный мелодический контур и один из способов оформления незавершенности в говоре с. Церковное Архангельской обл. *Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова*, 2021, 2(27): 39–65. [Knyazev S. V. Word-by-word melodic contour and one type of incompleteness marking in Tserkovnoe dialect, Arkhangelsk Oblast. *Trudy Instituta russkogo yazyka imeni V. V. Vinogradova*, 2021, 2(27): 39–65.]
- Князев 2021б — Князев С. В. *Корпус говоров бассейна Верхней Пинеги и Выи* [Электронный ресурс]. М.: НИУ ВШЭ, 2021. Дата обращения 12.12.2021. [Knyazev S. V. *Corpus of the Russian dialect spoken in the basins of Pinega and Vyya rivers* [Web resource]. Moscow: HSE Univ., 2021. Accessed on December 12, 2021.] <http://lingconlab.ru/vaduga/>.
- Князев 2022 (в печати) — Князев С. В. О структуре тонального акцента в русских говорах с пословным мелодическим оформлением. *Русский язык в научном освещении*, 2022, 1(43) (в печати). [Knyazev S. V. Pitch accent in Russian dialects with word-by-word melodic contour. To appear in *Russkij yazyk v nauchnom osveshchenii*, 2022, 1(43), forthcoming.]

- Князев, Пронина 2021 — Князев С. В., Пронина М. К. Интонация *да* и *нет* в архаическом говоре с пословным тональным оформлением. *Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. По материалам ежегодной международной конференции «Диалог»*, 2021, 20: 251–263. [Knyazev S. V., Pronina M. K. The intonation of *yes* and *no* in an archaic Russian dialect. *Computational linguistics and intellectual technologies. Papers from the Annual International Conf. "Dialogue"*, 2021, 20: 251–263.]
- Князев, Савельева 2021 — Князев С. В., Савельева К. А. Фонетическое и фонологическое описание в интонации (ИК-4 в русском языке: постцентр или пограничный тон?). *Русский язык в научном освещении*, 2021, 2(42): 41–64. [Knyazev S. V., Savelyeva K. A. Phonetical and phonological description in intonation (IC-4 in Russian: post-center or boundary tone?). *Russkij yazyk v nauchnom osveshchenii*, 2021, 2(42): 41–64.]
- Князев, Урбанович 2002 — Князев С. В., Урбанович Г. В. О ритмической модели слова в некоторых архангельских говорах. *Материалы и исследования по русской диалектологии. I (VII)*. Касаткин Л. Л. (ред.). М.: Наука, 2002, 76–93. [Knyazev S. V., Urbanovich G. V. On the rhythmic model of word in some Arkhangelsk dialects. *Materialy i issledovaniya po russkoy dialektologii. I (VII)*. Kasatkin L. L. (ed.). Moscow: Nauka, 2002, 76–93.]
- Князев и др. 1997. — Князев С. В., Левина А. Н., Пожарицкая С. К. О говорах Верхней Пинеги и Выи. *Русские диалекты: история и современность. Вопросы русского языкознания*. Вып. VII. Горшкова К. В., Ремнева М. Л. (ред.). М.: Диалог-МГУ, 1997, 198–220. [Knyazev S. V., Levina A. N., Pozharitskaya S. K. On Upper Pinega and Vyia dialects. *Russkie dialekty: istoriya i sovremennost'. Problemy russkogo yazykoznaniiya*. No. VII. Gorshkova K. V., Remneva M. L. (eds.). Moscow: Dialog-MGU, 1997, 198–220.]
- Кодзасов 2009 — Кодзасов С. В. *Исследования в области русской просодии*. М.: Языки славянских культур, 2009. [Kodzasov S. V. *Issledovaniya v oblasti russkoi prosodii* [Studies in Russian prosody]. Moscow: Yazyki Slavyanskikh Kul'tur, 2009.]
- Кузнецов 1949 — Кузнецов П. С. О говорах Верхней Пинеги и Верхней Тоймы. *Материалы и исследования по русской диалектологии*. Т. 1. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949, 5–44. [Kuznetsov P. S. On Upper Pinega and Upper Toima dialects. *Materialy i issledovaniya po russkoi dialektologii*. Vol. 1. Moscow; Leningrad: Academy of Sciences of the USSR Press, 1949, 5–44.]
- Николаева 1977 — Николаева Т. М. *Фразовая интонация славянских языков*. М.: Наука, 1977. [Nikolaeva T. M. *Frazovaya intonatsiya slavyanskikh yazykov* [Phrase intonation in Slavic languages]. Moscow: Nauka, 1977.]
- Пауфوشима 1983 — Пауфوشима Р. Ф. *Фонетика слова и фразы в севернорусских говорах*. М.: Наука, 1983. [Paufoshima R. F. *Fonetika slova i frazy v severnoruskikh govorakh* [Phonetics of word and phrase in Northern Russian dialects]. Moscow: Nauka, 1983.]
- Пауфوشима 1989 — Пауфوشима Р. Ф. Об использовании регистровых различий в русской фразовой интонации (на материале русского литературного языка и севернорусских говоров). *Славянское и балканское языкознание. Просодия*. Бернштейн С. Б. (ред.). М.: Наука, 1989, 53–63. [Paufoshima R. F. On the use of tone level differences in phrase intonation in Standard Russian and Northern Russian dialects. *Slavyanskoe i balkanskoe yazykoznanie. Prosodiya*. Bernshtein S. B. (ed.). Moscow: Nauka, 1989, 53–63.]
- Пост 2007 — Пост М. К проблеме описания интонации общего вопроса в одном севернорусском говоре. *Материалы докладов и сообщений V Международной конференции «Фонетика сегодня» (8–10 октября 2007 г.)*. Касаткина Р. Ф. (ред.). М.: ИРЯ РАН, 2007, 156–157. [Post M. Describing the intonation of the polar question in a Northern Russian dialect. *Fonetika segodnya. Papers from the International Conf.* Kasatkina R. F. (ed.). Moscow: Vinogradov Russian Language Institute, 2007, 156–157.]
- Пост 2008 — Пост М. Говор деревни Варзуга в лингвогеографическом контексте. *Материалы и исследования по русской диалектологии III (IX)*. М.: Наука, 2008, 169–181. [Post M. The Varzuga dialect in the linguogeographic context. *Materialy i issledovaniya po russkoi dialektologii III (IX)*. Moscow: Nauka, 2008, 169–181.]
- Щигель 1985 — Щигель Е. В. Особенности интонационной организации фразы в некоторых севернорусских говорах. *Диалектография русского языка*. Аванесов Р. И., Горшков А. И. (ред.). М.: Наука, 1985, 102–111. [Shchigel' E. V. Peculiar properties of intonational structure in some Northern Russian dialects. *Dialektografiya russkogo yazyka*. Avanesov R. I., Gorshkov A. I. (eds.). Moscow: Nauka, 1985, 102–111.]
- Янко 2008 — Янко Т. Е. *Интонационные стратегии русской речи в сопоставительном аспекте*. М.: Языки славянских культур, 2008. [Yanko T. E. *Intonatsionnye strategii russkoi rechi v sopostavitel'nom aspekte* [Intonation strategies in Russian in the comparative aspect]. Moscow: Yazyki Slavyanskikh Kul'tur, 2008.]
- Arvaniti, Baltazani 2005 — Arvaniti A., Baltazani M. Intonational analysis and prosodic annotation of Greek spoken corpora. *Prosodic typology. The phonology of intonation and phrasing*. Jun S.-A. (ed.). Oxford: Oxford Univ. Press, 2005, 84–117.
- Baumann et al. 2007 — Baumann S., Becker J., Grice M., Mücke D. Tonal and articulatory marking of focus in German. *16th International Congress of Phonetic Sciences*. Trouvain J., Barry W. J. (eds.). Saarbrücken: Univ. des Saarlandes, 2007, 1029–1032.

- Beckman, Pierrehumbert 1986 — Beckman M. E., Pierrehumbert J. Intonational structure in Japanese and English. *Phonology yearbook*, 1986 (3): 15–70.
- Beckman, Hirschberg 1994 — Beckman M. E., Hirschberg J. *ToBI annotation conventions*. Ms. Ohio: Ohio State Univ., 1994.
- Beckman et al. 2005 — Beckman M. E., Hirschberg J., Shattuck-Hufnagel S. The Original ToBI system and the evolution of the ToBI framework. Prosodic typology. *The phonology of intonation and phrasing*. Jun S.-A. (ed.). Oxford: Oxford Univ. Press, 2005, 9–54.
- Beckman, Elam 1997 — Beckman M. E., Elam G. A. *Guidelines for ToBI labelling, version 3*. Ohio: Ohio State Univ., 1997.
- Braun, Biezma 2019 — Braun B., Biezma M. Prenuclear L*+H activates alternatives for the accented word. *Frontiers in Psychology*, 2019, 10: 1993.
- Büring 2007 — Büring D. Semantics, intonation, and information structure. *The Oxford handbook of linguistic interfaces*. Ramchand G., Reiss C. (eds.). Oxford: Oxford Univ. Press, 2007, 445–474.
- Calhoun 2010 — Calhoun S. The centrality of metrical structure in signaling information structure: A probabilistic perspective. *Language*, 2010, 86: 1–42.
- Chodroff, Cole 2018 — Chodroff E., Cole J. Information structure, affect, and prenuclear prominence in American English. *Proc. of Interspeech 2018*. Yegnanarayana B. (ed.). E-publication, 2018, 1848–1852. <https://doi.org/10.21437/Interspeech.2018-1529>.
- Estebas-Vilaplana et al. 2015 — Estebas-Vilaplana E., Gutierrez Y. M., Vizcaino F., Cabrera M. Boundary tones in Spanish declaratives: Modelling sustained pitch. *Proc. of the 18th International Congress of Phonetic Sciences*. Glasgow: The Univ. of Glasgow, 2015, 196.
- Féry, Kügler 2008 — Féry C., Kügler F. Pitch accent scaling on given, new and focused constituents in German. *Journal of Phonetics*, 2008, 36: 680–703.
- Hualde, Prieto 2016 — Hualde J. I., Prieto P. Towards an International Prosodic Alphabet (IPRA). *Laboratory Phonology: Journal of the Association for Laboratory Phonology*, 2016, 7(1), 5: 1–25.
- Jun 2005 — Jun S.-A. Prosodic typology. *Prosodic typology: The phonology of intonation and phrasing*. Jun S.-A. (ed.). Oxford: Oxford Univ. Press, 2005, 430–458.
- Jun 2014 — Jun S.-A. (ed.). *Prosodic typology II: The phonology of intonation and phrasing*. Oxford: Oxford Univ. Press, 2014.
- Knyazev, Pronina 2017 — Knyazev S. V., Pronina M. K. The use of boundary tones in formal description of Russian intonation (the IK-4 case) with reference to Spanish. *CRiPaP 2017. 4th Conf. “Contemporary research in phonetics and phonology: Methods, aspects and problems”*. Abstracts. Riga: Latvian Language Institute, 2017, 16–18.
- Odé 1989 — Odé C. *Russian intonation: A perceptual description*. Amsterdam: Rodopi, 1989.
- Odé 2003 — Odé C. Description and transcription of Russian intonation (ToRI). *Dutch contributions to the 13th International Congress of Slavists, Ljubljana: Linguistics*. Schaecken J. et al. (eds.). Amsterdam: Rodopi, 2003, 279–288.
- Odé 2008 — Odé C. Transcription of Russian Intonation, ToRI, an interactive research tool and learning module on the Internet. *Dutch contributions to the 14th International Congress of Slavists, Ohrid*. Amsterdam: Rodopi, 2008, 431–449.
- Paschen 2015 — Paschen L. Boundary tones indicate turn allocation in Russian. *Proc. of ConSOLE XXII*. Leiden, 2015, 493–508.
- Pierrehumbert 1980 — Pierrehumbert J. B. *The phonology and phonetics of English intonation*. Ph.D. diss., Massachusetts Institute of Technology, 1980.
- Post 2005 — Post M. *The Northern Russian pragmatic particle dak in the dialect of Varzuga (Kola Peninsula). An information structuring device in informal spontaneous speech*. Doctoral diss., Universitetet i Tromsø, 2005.
- Post 2008 — Post M. Post-nuclear prominence patterns in Northern Russian question intonation. *Proc. of the 4th International Conf. on Speech Prosody*. Campinas, 2008, 233–236.
- Rodero 2011 — Rodero E. Intonation and emotion: Influence of pitch levels and contour type on creating emotions. *Journal of Voice*, 2011, 25(1): 25–34.
- Vanrell et al. 2018 — Vanrell M., Feldhausen I., Astruc L. The Discourse Completion Task in Romance prosody research: Status quo and outlook. *Methods in prosody: A Romanic language perspective*. Feldhausen I., Fliessbach J., Vanrell M. (eds.). Berlin: Language Science Press, 2018, 191–227.
- Venditti 2005 — Venditti J. The J_ToBI Model of Japanese Intonation. *Prosodic typology: The phonology of intonation and phrasing*. Jun S.-A. (ed.). Oxford: Oxford Univ. Press, 2005, 172–200.
- Yokoyama 2001 — Yokoyama O. T. Neutral and non-neutral intonation in Russian: A reinterpretation of the IK system. *Die Welt der Slaven*, 2001, 1: 1–26.

On the accent of Croatian *kako* ‘how’ and related words

© 2022

Mate Kapović

University of Zagreb, Zagreb, Croatia; mkapovic@ffzg.hr

Abstract: The paper discusses the accent of *kako* ‘how’, *tako* ‘thus’, *ovako* ‘this way’, *onako* ‘that way’ and some other related words (like *nikako* ‘no way’, *nekako* ‘somehow’) primarily in Štokavian and Čakavian from a dialectological (including standard-dialect sources) and historical perspective (going back to Common Slavic). The alternation *kāko* ‘how’ — *kāko_je* < *kakō_je* ‘how is’ is discussed in some detail.

Keywords: accent, Croatian, dialectology, pronouns, Proto-Slavic, South Slavic

Acknowledgements: I would like to thank Mislav Benić, David Mandić and Mikhail Oslon for their comments on the first draft of this paper. I also owe immense gratitude to all the field researchers and linguist native speakers (all of them named in appropriate places) who have shared with me their data and knowledge of certain Štokavian and Čakavian local dialects, as well as to my informants for some dialects.

For citation: Kapović M. On the accent of Croatian *kako* ‘how’ and related words. *Voprosy Jazykoznanija*, 2022, 1: 40–58.

DOI: 10.31857/0373-658X.2022.1.40-58

Об акцентуации хорватского местоимения *kako* и родственных слов

Мате Капович

Загребский университет, Загреб, Хорватия, mkapovic@ffzg.hr

Аннотация: В статье обсуждается акцентуация местоимений *kako* ‘как’, *tako*, *ovako*, *onako* ‘так’ и некоторых других родственных слов (таких как *nikako* ‘никак’, *nekako* ‘как-то’) преимущественно в штокавских и чакавских говорах (включая стандартные разновидности) с синхронной и исторической точки зрения (вплоть до праславянского периода). Рассматривается в том числе чередование типа *kāko* — *kāko_je* < *kakō_je*.

Ключевые слова: акцентуация, диалектология, местоимения, праславянский язык, хорватский язык, южнославянские языки

Для цитирования: Kapović M. On the accent of Croatian *kako* ‘how’ and related words. *Voprosy Jazykoznanija*, 2022, 1: 40–58.

DOI: 10.31857/0373-658X.2022.1.40-58

The aim of this paper is to try to explain the accent of the interrogative / relative pronominal adverb *kako* ‘how’ and some of the words related to it in Štokavian and Čakavian dialects.¹ The accent of the form is curious synchronically — cf. in modern Standard (Neo-Štokavian) Croatian (and many western Neo-Štokavian local dialects) *kāko* but *nīkāko* ‘no way, by no means’

¹ While the paper, naturally, uses data from all Štokavian dialects and standard varieties (in Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia), the majority of data and the main points of analysis focus on more western Štokavian varieties and Čakavian, which is why the title of the article has *Croatian* in it.

and *tākō* ‘thus, in that way’² (the first opposed e.g. to *kāko* in other dialects, and the third to *tāko* in the modern dialect of Split³). Thus, it would be interesting to explain this variation historically. In the article, we shall list accentuation from some (predominantly, but not exclusively, more western) Neo-Štokavian and Čakavian dialectal sources, including most literary language sources, but the list does not aspire to present the full scope of dialectal variation. The exhaustive Štokavian-Čakavian dialectal geography and representation of the variation of *kako* and connected forms should be a topic of a different paper.

We shall start from Dybo’s [1981: 36] Common Slavic reconstruction: **kākъ* — **kāko* ‘which’ (also **jākъ* — **jāko* ‘which [relative]’, **tākъ* — **tāko* ‘such’). The pronominal adverb **kāko* ‘how’ is, as can be seen, originally the interrogative neuter form (these are usually different in modern Slavic languages, e.g. *kāko* ‘how’ and *kākvo* ‘what kind’ in modern standard Štokavian). These forms belong to accentual paradigm *c*, which means that the feminine form is **kakā*. The long/determinate adjectival form would be **kakъjъ* — **kakāja* — **kakojě*. The proposed reconstruction is in clear agreement with the following reflexes: Russian *какóу* ‘which’ (*как* ‘how’ is not informative), Czech *jak* ‘how’ (Old Czech *jako*)⁴ and *jaký* ‘which’⁵, Slovak *ako* ‘how’⁶ and *aký* ‘which’, Slovene *kakô*⁷ and *kāk* ‘how’ [Pleteršnik] (cf. also *takô* ‘thus’⁸ and the adjectivized *jāk* ‘strong’⁹). The a. p. *c* is also affirmed by the Old Russian a. p. *C* in *какъ*, *якъ*, *такъ* [Zaliznyak 2010: 139]. Štokavian, now dialectal (but very widely attested¹⁰), *kākī* ‘which’ (the standard *kākāv*¹¹ is not as interesting historically) agrees directly with Russian *какóу* and Czech

² These accents are usual in modern Croatian Neo-Štokavian (for instance, in the idiolect / dialect of the author of this paper) and are attested e.g. in [ERj] or [ŠRHJ].

³ As this is a frequent word, this *tāko* is often perceived as a typically Split accent by other Neo-Štokavians. The same accent occurs e.g. in modern Šibenik as well. The Old Split dialect, spoken by the majority of the Split inhabitants approximately until the middle of the 20th century and still retained by very old conservative speakers, was Čakavian, while the modern Split dialect, spoken by the present-day majority of the inhabitants of Split, is very Štokavized and structurally predominantly Neo-Štokavian. Thus, Split should synchronically be treated as Neo-Štokavian but historically as Čakavian.

⁴ Slavic ***jāko* (a. p. *a*) and ***jākō* (a. p. *b*) would yield Czech length via regular phonetic development.

⁵ Czech *jaký* can be a phonetic reflex of both **jakъjъ* (derived from **jākъ*) or a theoretical ***jākъjъ* (a. p. *a*).

⁶ Slovak *ako* can be a phonetic reflex of both **jāko* or a theoretical ***jāko*.

⁷ The variant *kakô* [Pleteršnik; SSKJ] is younger and due to interrogative sentence intonation, cf. [Rakovš 1921: 236–237; Greenberg 2000: 99, fn. 17; Oslon 2021: 209].

⁸ Slovene *kakô*, *takô* derives from the old **kāko*, **tāko* via the progressive shift of the circumflex, the other possible origin being the old long / definite **takojě* → **takôje* (with the analogical stress position due to **takāja*), cf. Štokavian *tākō* < **takō*.

⁹ Slovene *tāk* ‘such’ must be secondary, perhaps by analogy to the feminine *tāka* < **tākā*.

¹⁰ Cf. e.g. [Klaić 2013: 229]. Brabec et al. [1961: 104] still adduce *kākī* as a variant in the standard grammar and so does Benešić [1949] for *kākī* and *onākī* ([HJS] attests *kākī* and *ovākī*). Dialectally, cf. e.g. *kākī*, *tākī*, *ovākī*, *onākī* in Sarajevo [Šurmin 1895: 202], Imotski & Bekija [Šimundić 1971: 122], Bitelić [Čurković 2014: 194, 198, 201], *tākī* in Split [Petrić 2008], Zmijavci [Matković 2021], Sv. Rok [Japunčić 1996] and Uskoci in Montenegro [Stanić 1990–1991], *tākī* in Lika [Čuljat 2004], and *kākī*, *onākī* in west Herzegovina [Kraljević 2013]. For the Old Štokavian accent cf. Šapčinovac [Ivšić 1907: 139] *takī*, *ovakī*, *onakī* (but a strange *kākī* < *kakī*, perhaps analogical to **kakō*) and Posavina [Ivšić 1913, II: 38–39] *kakī* (but also the strange *kākī* as in Šapčinovac and innovative *kākī*), Donja Bebrina in Posavina [Kapović 2008: 133] *kakā*, etc. For Čakavian, cf. *tākī* — *tākā* — *tākō* in Štokavized Korčula [Kalogjera et al. 2008] and *kakī* — *kakā* — *kakō*, *takī* in Blato on Korčula [Milat Panža 2015]. Brač & Hvar Čakavian [Vuković 2001; Šimunović 2009; Barbić 2011] *tākī*, (*o*)*vākī*, (*o*)*nākī* is due to analogy to *tāko* < **tāko* (and *ovāko*, *onāko*, which have the accent by analogy to *tāko*).

¹¹ Also *kākav* (cf. e.g. [Klaić 2013: 229–230]). There is also archaic and dialectal *kākov* (e.g. in Popovići near Benkovac [Tokić, Magaš 2018]).

jaky.¹² Slavic **kākŭ* (a. p. c) would correspond to Lithuanian [LKŽ] variant *kóks* (the mobile a. p. 3) ‘which’, but not to the variant *kóks* (the immobile a. p. 1).¹³ Now let us turn to Štokavian and Čakavian.

The original Common Slavic accent **kāko* seems to be preserved in the south-east Buzet Čakavian dialects (the dialects of Ročština — Čiritež, Nugla, Roč, Ročko Polje — and Humština — Hum, Kras, Škrinjari) and the south-west Buzet dialects (the dialects of Vrhuvština: Vrh, Paladini, Klarići, Barušići, Marčenegla), which have *kuāku* ‘how’ < **kāko* (also *tuāku*), in the central Buzet dialects below the river Mirna (Marinci, Škrbina, Prodani), which have *kōko* < **kāko* (also *tōko*), in the central Buzet dialects above the river Mirna (Sv. Ivan, Sv. Martin, Krbavčiči, Franečiči) and north-western Buzet dialects (Štrped, Kajini, Salež, Škuljari, Baredine), which have *kōko* < **kāko* (also *tōko*) (in the north-western Črnica *kōko* and *tōko*)¹⁴ — all the Buzet data is from Alvižana Klarić (p. c.). These *kuāku*, *tuāku* and the like are probably the reflexes of the original **kāko*, **tāko* — alternatively, that length could be due to the influence of *unūāku*, *uvūāku* and the like, which could in turn stem from **onāko*, **ovāko* (see below), but that is less convincing.¹⁵

The oldest accent attested in Štokavian seems to be *kāko* (e.g. [Vuk; Arj; HFR; HSTR¹⁶; Moskovljević 2000; RBJ; Jahić 2012; BSR]; also e.g. Dubrovnik¹⁷, Mostar [Milas 1903: 92–93], Osijek [Mislav Benić, p. c.], Bačka [Sekulić 2005] and elsewhere¹⁸, including some Čakavian dialects¹⁹). The shortening in Štokavian (and Čakavian) must have occurred due to its very

¹² Štokavian adjectivized *jākī* < *jākī* ‘strong’ (a. p. B) is younger (see below).

¹³ Lithuanian possible variant *kōks* is secondary, cf. [Bolotov, Osłon 2019: 71].

¹⁴ The data from the northern Buzet dialects (Slum and Brest) is not as informative — they have *kāko* (and *tāko*), which does not show us if the *a* was short or long.

¹⁵ Ribarić’s attestations from Klenovšćak [Šimunović 2011: 273] potentially belong here as well: *kāko* and *kāko* (but also *krāve* ‘cows’ and lengthened *māti* ‘mother’), *tāko* (cf. *kārat* ‘to scold’ for retraction), *jāko* (2×) ‘very’. The original **kāko* is possibly also found, if the attestation is correct (which is rather doubtful, since the accentuation in the dictionary is hardly flawless) and the accent archaic, in the migrational South-West Istrian dialects of Roverija [Kalčić et al. 2014], where one supposedly finds *kāko* (4×) (however, *kākor* and *kāko* (4×) [Ibid.: 290] are also attested there), as well as *tāko*. One could be tempted to interpret the attested *kāko* in the Čakavian dialect of Zlarin [Bjažić, Dean 2002] as an archaism, but this is unlikely — the amateur dictionary in question attests *kāko bōg zapovida* ‘it has to be’ (literally: ‘as god commands’) but also *kāko gōd* ‘in whatever way’, where *kāko* would seem to derive phonetically from *kakō* (cf. [Šimunović 2011: 152]). Also, elsewhere we find only *kakō* plus an enclitic, like *kakō su* ‘how are they’ [Šimunović 2011: 153, 156–157, 160].

¹⁶ It is perhaps relevant that one of the authors, Mirko Deanović (1890–1984), was from Dubrovnik (cf. here the note in [Kapović 2015: 7, fn. 8]).

¹⁷ [Rešetar 1900: 142] (also Ozrinići and Prčanj in Montenegro). Bojanić & Trivunac [2002] attest *kāko* as ‘like, as’ (literary *kāo* ‘like, as’ derives from *kāko* with an allegro loss of *-k-*) for Dubrovnik, though they provide it only accentless in the example sentences, and *kākogodi* ‘somehow’. I can also attest *kāko* for modern Dubrovnik dialect from my data. The accent *kāko* is also found in the neighboring Konavle [Kašić 1995: 133, 136–137], see also below.

¹⁸ The accent *kāko* (apparently with no change in *kāko si* etc.) is also attested e.g. in Čapljina (also Hutovo, Brštanik, Višići — all Domagoj Vidović, p. c.) and Stolac (Jasmin Hodžić, p. c.) in Herzegovina. I have an attestation of *kāko* also for Skender Vakuf in Bosnia, and this seems to be the accent typical for the whole (or most) of Bosnia and Herzegovina. Cf. also *kāko* and *kāko si* in Gornji Milanovac in Serbia (Dušica Božović, p. c.) and *kāko* — *kāko je* — *kāko smo* in Nikšić in Montenegro (Novica Vujović, p. c.). In Podgorica (Montenegro) one finds *kāko ti se* [Čirgić 2017: 340], *kāko su* [Ibid.: 348], *kāko je* [Ibid.: 356], *kāko si*, *kāko e* [Ibid.: 358], also *kāko sam*, *kāko si*, *kāko je*, *kāko smo*, *kāko ste* (Adnan Čirgić, p. c.).

¹⁹ *Kāko* in Čakavian appears, it seems, around the central island of Ugljan (see below for Kukljica) and in some more northern dialects. Cf. e.g. Iž [Martinović 2005] *kāko kōli* ‘how ever’, *kākokōder(ce)* ‘how ever’, *kākotāko* ‘in what ever way’, Ošljak near Ugljan [Valčić 2012] *kāko*; Sv. Vid (Dobrinj) on Krk [Šimunović 2011: 200] *kāko je* (but *takō*!) and Baška on Krk [Šimunović 2011: 201] *kāko*; Crikvenica

frequent pretonic unstressed position in collocations like *kako* *vidiš* ‘as you see’, *kako* *hoćeš* ‘as you want’, *kako* *göd* ‘whatever’, *kako* *bilo/bilo* ‘whatever it is’, *kako* *smo* *rekli* ‘as we have said’, *kako* *ptica* *lèti* ‘as the bird flies’, *kako* *ón* *káže* ‘as he says’, etc. When interrogative, *kako* is stressed, e.g. *kàko* *vidiš?* ‘how do you see?’, *kàko* *je* *bilo?* ‘how was it?’, etc. In most unstressed pretonic positions, the original length of *kako* has been regularly phonetically eliminated²⁰ (Neo-Štokavian cannot have words like ***kâko* *göd* even today prosodotactically — these are, however, possible in some Old Štokavian and Čakavian systems, but that is historically speaking an innovation) and this shortened unstressed *kako* has then yielded a secondary stressed *kàko* instead of the original **kâko*, which is still seen in the modern intensifying adverb *jâko* ‘very, much’ (derived from the old relative pronominal adverb²¹). This short *kàko* is what is attested for “classical Neo-Štokavian” [Vuk; ARj] and some dialects like Dubrovnik (in general, *kàko* is typical for Štokavian southern and eastern dialects). The same kind of shortening is probably seen in the particle *sâmo* ‘only’ when compared to the original adjectival *sâmo* ‘alone’ [neuter]²² — this may also have originated from the unstressed usage, such as *samo* *jâ* ‘only me’, though *samo* is nowadays usually stressed (e.g. *sâmo* *jâ*). The Old Čakavian Split dialect [Šimunović 2011: 145, 147] has the otherwise unusual *káko* (2×) (like *táko*), which is the accentual type B version of the old **kâko* — *káko* is probably the original neuter form with the accent by analogy to the expected feminine form **káka*. However, the same Split texts have also the usual *kàko* and *kakò* *je* (3×). The Lovran accent *kàko* (3×) [Ibid.: 259] must be due to immediate analogy to *tàko* (2×) and, ultimately, stems from **ovâko*, **onâko* (see below).

It is important to note that the accent in *kàko*, the oldest Štokavian accentual variant, can change in combinations like *kàko* *je* (with the Neo-Štokavian retraction) < *kakò* *je* (without the retraction) ‘how is’ instead of the unchanged *kàko* *je*. Presumably, this was the case originally in all (or most) Štokavian (and Čakavian) dialects. This kind of alternation occurs with clitics like *je* ‘is’, *će* ‘will’ (verbal clitics), *li* (interrogative particle), *mi* ‘to me’ (pronominal dative clitic), etc. Mislav Benić (p. c.) attests *kàko* but both *kàko* *je* and *kakò* *je* for the modern Neo-Štokavian urban dialect of Osijek. This is hardly the only local dialect to have this. In Old Štokavian, we find this in Posavina in Mačkovac [Ivšić 1913, I: 161, II: 39] *kàko* *znâ* ‘how does he know’ but *kakò* *ću* ‘how will I’. The same alternation attested in Oprisavci in Posavina (my data): *kàko* but *kakò* *sam* ‘how did I’, *kàko* *je* ‘how it is’. There are also a few Čakavian dialects that exhibit this kind of alternation. The Čakavian dialect of Kukljica on the central Čakavian island of Ugljan has *kàko* but *kakò* *si* ‘how are you’, *kakò* *ste* ‘how are y’all’ (Mislav Benić [2014: 15, 42, 76] and p. c.). The alternation is attested also in Grižane (in the hinterland of Crikvenica) up north (Martina Bašić, p. c.): *Grđo* *je* *čūt* *kàko* *nīkī* *beštīmājū* ‘It is unpleasant to hear how some curse’ but *Kakò* *mu* *se* *lipo* *dělo* *baštā!* ‘How well work suits him!’, *Kakò* *je* *veľika* *narāslā* *cīma!* ‘How big the potato stem has grown!’, *Čūdo* *kakò* *je* *lipo* *urodīlo* *grozdōvī* ‘It’s a wonder how nicely the grape clusters have born fruit’. On the Čakavian island of Vrgada [Jurišić 1973], this kind of alternation is not found in *kako* (only *kakò* is attested), but *tàko* ‘so, thus, this way’ alternates with *takò* ‘before the enclitic dative singular personal pronoun’ (as Jurišić puts it in the dictionary): *tākō* *ti!*, *takò* *mi* *bōga!* ‘by god!’ (the first example even has pretonic length, cf. the already cited Dalmatian *táko* and occasional *tākò* elsewhere in Čakavian). In Dračevica Čakavian on Brač [Šimunović 2009], Milna on Brač (Filip Galović, p. c.), Pučišća on Brač (Domagoj Vidović, p. c.) and Pitve & Zavala on Hvar [Barbić 2011], we find the alternation, again, not in *kako* but in *tàko* < **tāko* ‘thus’, which has a different accent in the interjection *takò* *ti* *bōga!*

[Ivančić Dusper, Bašić 2013] *kàko*; Kastav [Miletić 2019] *kàko*, *kàko*-*tàko* (also *tàko* and generalized *ovâko*, *onâko*); Brešca [Šimunović 2011: 247] *kakò* *j* ‘how is’.

²⁰ Cf. [Kapović 2015: 416–501] for the shortening of pretonic length in Slavic.

²¹ However, cf. *jâko* ‘only’ in Mostar [Milas 1903: 69] with the same development as *kàko*.

²² Cf. *sâmo* (3×) ‘only’ in Split — also *sâmo* (?) — [Šimunović 2011: 143, 146] and *sômo* ‘only’ in Komiža on Vis [Ibid.: 115] but shortened *sâmo* in Klana [Ibid.: 249].

‘by god!’). It is obvious that in the Čakavian south, the old alternation is sometimes preserved in certain fixed phrases (*tako mi / ti boga!*), where the pronominal adverb is followed by a clitic. Very interesting are the Dubrovnik interjections *takò mi*, *takò ti* ‘by god’ [Rešetar 1900: 202],²³ which exhibit the surely old final accent (**tako mǐ*, **tako tǐ* — literally ‘thus to me/you’), unlike the more usual type *kàko si* < *kakò si* and the mentioned Čakavian phrasal *takò mi!*, *takò ti!*, which must be younger.

In some northern Čakavian (ekavian) dialects, the old alternation *kàko* — *kakò si* (still preserved in some local dialects, as we have seen) can be observed indirectly in the opposition of *kakò* ‘how’ and *kàko* ‘like’ (the former also sometimes for ‘as, while’). Čakavian often uses the same *kako* (usually with the same accent, but not always) for both ‘how (in what way)’ (e.g. *kako si?* ‘how are you?’) and ‘like, as, such as’ (e.g. *kako on* ‘like him’), while Štokavian mostly uses *kako* for the adverb ‘how’ (and for the conjunction ‘as, while’) but *kao* (< *kako*) for the conjunction ‘like’. Thus, the tendency in Štokavian was to differentiate the meaning via the allegro loss of intervocalic *-k-* in ‘like’, while in some Čakavian dialects the semantic differentiation was made through generalization of different original alternating accentual variants. In Orlec on the island of Cres [Houtzagers 1985], *kakò* ‘how’ and the conjunction *kakò / kàko* ‘such as, like’ are distinguished. In Bejska Tramuntana on Cres [Velčić 2003], the adverb *kakò* ‘how’ (*Ma kakò ti to misliš?* ‘But how do you mean that?’), translated as the standard ‘kako’, is opposed to the conjunction *kàko* ‘as, like’ (*On misli kàko i ja* ‘He thinks like me’), translated as the standard ‘kao’. In Pazin in Istria [Gagić 2017], the adverb / conjunction *kakò* ‘how’ (*Ma kakò liêpo sopè ta otròk?* ‘Oh how beautifully that boy is playing [a musical instrument]!’), translated as the standard ‘kako’, is distinguished from the conjunction *kàko* ‘as’ (*kàko zìeč* ‘as / like a rabbit’), translated as the standard ‘kao’.²⁴ The same as in Pazin (*kakò* ‘how’²⁵ ~ *kàko* ‘like’) is attested in nearby Gračišće (Alvijana Klarić, p. c.). In Orbanići in Istria [Kalsbeek 1998], the adverb *kakò* ‘how’ (*Kakò mislite?* ‘How do you mean?’)²⁶ is distinguished from the variantly accented conjunction *kakò / kàko* ‘(such) as, like’, which covers both the standard (Štokavian) conjunction ‘kako’ (*I kakò on rìva tò sè* ‘and as he pushes all that’, *kàko škriplje* ‘as it squeaks’) and the standard conjunction ‘kao’ (*kàko i mi* ‘like us’, *Žeřeř kakò blàgo* ‘You gorge like cattle’²⁷). The southern group of the Buzet Čakavian dialect (Pagubice, Grimalda, Dragučska Vala, Draguč, Kosoriga, Oslíci, Kruřvari, Račice and Račički Brijeg — Alvijana Klarić, p. c.) also distinguishes *kakò* ‘how’ and *kàku / kàu* ‘as, like’²⁸, and so do the eastern Buzet dialects (Lanišće, Podgaće — Alvijana Klarić, p. c.): *kakò* ‘how’ but *kàko* ‘as, like’.

The historical reason for distinguishing *kakò* ‘how’ and *kàko* ‘like’ (also ‘as, while’) is obvious. ‘How’ originally often appears before cliticized verbs like *je*, *će*, *bi*, etc. and particles like *li* (e.g. *kako je* ‘how is’, *kako bi* ‘how would’, *kako će* ‘how will’), where the original *kakò je* etc. is to be expected (as attested in dialects with the *kàko* — *kakò je* alternation). In contrast, ‘like’ appears before accented non-clitic words, e.g. *kàko jà* ‘like me’, where the original *kàko*

²³ This accent seems to have been lost in Dubrovnik. I got only *tàkò mi* from my Dubrovnik informant.

²⁴ Cf. also *kàko sàbļo* ‘as a sabre’ in Beram [Šimunović 2011: 267], right next to Pazin.

²⁵ This *kakò* seems to be always accented, even in positions in which it would not be in Štokavian — cf. e.g. Gračišće (Alvijana Klarić, p. c.) *Dèlan kakò znūān* (Štokavian *Rādīm kako znām*) ‘I work as I know how’, *Pomōga san ti kakò san mōga* (Štokavian *Pòmogao sam ti kako sam mōgao*) ‘I helped you as much as I could’, etc. In the Ikavian-Ekavian dialect of Mrkoči, just north-west of Pazin, these sentences are the same (except for Mrkoči *znām* instead of Gračišće *znūām*) — again, data by Alvijana Klarić (p. c.).

²⁶ Cf. also *kakò* in the nearby Žminj [Šimunović 2011: 266] and Karlovići [Ibid.: 333].

²⁷ Cf. also *kakò da grìe na pìr* ‘as if / like he is going to a wedding’ in the nearby Karlovići [Šimunović 2011: 334].

²⁸ Cf. in Dragučska Vala *kàku utruki praščića* ‘as piglets’ but *kakò se klìcala* ‘how (it) was called’ (Alvijana Klarić, p. c.).

is expected (as attested in dialects with the *käko* — *kakö* *je* alternation). These dialects (unlike some others we have seen) did not preserve the original alternation, but have generalized one of the variants according to different use / meaning and their usual context, thus still preserving a trace of the older distribution.

A similar type of synchronic alternation is very frequent²⁹ in many Neo-Štokavian varieties with interrogative *štä* ‘what’ (the younger form of *štö* ‘what’³⁰) — cf. e.g. *štä?* ‘what?’ but very frequent *štä je?* ‘what is it?’³¹ Combinations like *(t)kò je* ‘who is’, *dà je* ‘that (it) is’³² etc. also occur. Thus, the accent changes, as with *käko*, when clitics like *je* ‘is’ are added (of course, one can hear the variant *štä je?* without this change as well). This also occurs with other unaccented copula wordforms (*štä sam*, *štä si*, *štä smo*, *štä ste*, *štä su* as in *štä sam vīdio* ‘what did I see’, etc.) and with other now clitic (but originally accented) verbal wordforms like *štä ćeš* ‘what do you want’³³, *štä bi* ‘what would you’, *što (j)ě* — *da (j)ě* ‘whatever it is’, *ko (j)ě* — *da (j)ě* ‘whoever it is’.³⁴ Cf. the old accent in Old Štokavian Prčanj in Montenegro [Rešetar 1900: 202] *što smō* ‘what we were’, *što ćeš* ‘what you will’, etc.; in Posavina [Ivšić 1913, I: 160–162] *da će ga* ‘that he will (...) him’, *da bi se* ‘that he would’, *pa sam mu* ‘then I (...) to him’, *ko će* ‘who will’, *šta sam* ‘what did I’, etc.; in Donja Bebrina in Posavina [Kapović 2008: 133] *šta ćemo* ‘what will we’; near Vinkovci in Posavina [Finka, Šojat 1973: 17] *šta ćete* ‘what will you’, *što su mi* ‘how they have (...) to me’, *ja ću ti* ‘I will (...) to you’.³⁵

The old accent on what is otherwise a clitic also occurs with the interrogative clitic particle *li* and pronominal clitics *mi* ‘to me’, *ti* ‘to you’, *si* ‘to yourself’, *ga* ‘him’, e.g. in *štä li* (as in *štä li je tō?* ‘what is it?’), *(t)kò li* ‘who is it?’, *jě li* ‘is it’, *dà li* ‘is it’, *štä mi* ‘what (...) to me’, etc. Cf. with Old Štokavian accent in Posavina [Ivšić 1913, I: 160–162] *da mī ti je* ‘if I were to (...) to you’, *šta ga je* ‘what is (...) of him’, *što li ću* ‘what will I’, etc.; in Donja Bebrina in Posavina [Kapović 2008: 133] *šta mī je* ‘what is to me’; in Šiškovci in Posavina [Finka, Šojat 1973: 16] *jel ti se* ‘did (...) to you’, etc.

Even more curious is the phenomenon in the non-clitic present tense of *htjeti* ‘to want’, e.g. *hōće* ‘he wants / will’ but *hōće li?* ‘will he?’ or *hōćemo* ‘we want / will’ but *hōćemo li?* ‘shall we?’³⁶ (*hōće?* and *hōćemo?* can be used as interrogative with the changed accent even without *li*³⁷). The accent *bit će* [biće] ‘it must be, it probably is’ (as opposed to the regular future

²⁹ Described already by Rešetar [1900: 202].

³⁰ In many Štokavian varieties today (including standard Bosnian and Serbian, but not standard Croatian and Montenegrin), *štä* is usually used when accented and *što* in unstressed (usually relative) positions, but the details are complicated (cf. [JJS: 54, fn. 40; 116, fn. 77]).

³¹ Usually, *štä je* occurs together with *štä je*, but with certain differences in usage — *štä je* has more sentence stress on *šta* than *štä je*, e.g. *štä je bilo?* ‘WHAT happened?’ but *štä je bilo?* ‘what happened?’.

³² Cf. [Rešetar 1900: 202]. Cf. also *dī si?* ‘where are you?’ in Prapatnice (Vrgorska krajina, my data). Note that the pronominal words *(t)kò* ‘who’, *štö / štä* ‘what’, *gdjě / dī* ‘where’ are otherwise accented, while the conjunction *da* ‘that’ is in other cases unaccented.

³³ Cf. also [Klaić 2013: 220].

³⁴ However, cf. Podgorica in Montenegro (Adnan Ćirgić, p. c.) *štö sam* ‘what did I’, *štö si* ‘what did you’, *štö ćeš* ‘what will you’, *štö ćemo* ‘what will we’, *štö ćete* ‘what will y’all’, *štö su mi* ‘what did they... to me’, *štö li je* ‘what it was; what is it’, *štö li ću* ‘what will I’, *štö ga je* ‘what did... him’, *kö će* ‘who will’, *kö je* ‘who is’ with no change (in all these cases, Neo-Štokavian dialects can have the short accent of retractional origin (˘), often together with the variant with the short circumflex (˘˘)). However, Podgorica does have *što mī je* ‘what/which... to me’ (together with *štö mī je*) and *što ti je* ‘what/which... to you’ (together with *štö ti je*), while younger speakers also have *je li* ‘if it did’.

³⁵ This would be, however, *ja ću ti* in usual Neo-Štokavian.

³⁶ Cf. e.g. *ōće li mo* (from *ōćemo li*) in Cista Velika [Šimundić 1971: 212].

³⁷ This must be, at least partly, the explanation for Daničić’s historically aberrant *hōćemo*, *hōćete* forms (cf. [Kapović 2015: 116–117, fn. 370] but also [Kapović 2018: 276–277]). One could also theoretically

tense *bīt_će* [bīće] ‘it will be’) is surely secondary (*bīti* ‘to be’ has the reflex of the old acute) but must belong in this group as well. Extremely unusual are Prčanj [Rešetar 1900: 202] word-forms *spīš_li?* ‘are you sleeping?’, *imāš_li?* ‘do you have?’, *znā_li?* ‘does (s)he know?’, *znāte_li?* ‘do y’all know’,³⁸ *oī?* < **hoćeš_li* ‘do you want to’,³⁹ where verbs other than the present tense of *htjeti* lose the accent to the interrogative clitic *li* (cf. also the difference between *hōće_li* < **hoče_li* with a monosyllabic alternation and *imāš_li* with the final accent!).

Now, how to explain all the phenomena we have briefly described above? As we have seen, some words in Štokavian and Čakavian (more in the former than in the latter) lose or change their accent when a clitic follows them, e.g. (without the Neo-Štokavian retraction) *kāko* — *kakō_je* ‘how is’, *štā* — *štā_jě* ‘what is’. The cases that exhibit this alternation in both Štokavian and Čakavian (originally presumably everywhere, but nowadays only in some local dialects) are our main point of interest in this paper: the pronominal adverbs *kako* and, less frequently, *tako*. In Štokavian, the phenomenon is wider and is exhibited also with the interrogative / relative pronouns (*(t)kō* ‘who’ and *štō* ‘what’ (e.g. *ko_jě* ‘who is’), with certain conjunctions like *da* ‘that’ (itself unaccented), and with certain verbal forms — usually the stem-stressed present tense forms of *htjeti* ‘to want’ (e.g. *hōćete* ‘you want’ but **hoćete_li* ‘do you want’) but more rarely, as in Prčanj in Montenegro, in other verb forms as well (e.g. *spīš_li?* ‘are you sleeping?’ — see above). This alternation occurs before:

- a) cliticized verbal forms (like *je* ‘is’, *će* ‘will’, *bi* ‘would’, etc.);
- b) cliticized pronominal forms (like *ga* ‘him, it’, *mu* ‘to him’, *ih* ‘them’, etc.);
- c) some particles (like the interrogative *li*);
- d) clitics like pronominal *mi* ‘to me’, *ti* ‘to you’, *si* ‘to yourself’.

Historically speaking, the first two categories are secondary clitics, while the other two are old clitics. In disyllabic words in Štokavian and Čakavian, the accent usually jumps to the following syllable (*kāko* — *kakō_si*), while monosyllabic words in Štokavian lose the accent (*štā* — *štā_li*). The exception is the already cited Dubrovnik interjections *takō_mi*, *takō_ti* ‘by god’ [Rešetar 1900: 202], which has to be old. The Prčanj form *imāš_li?* [Ibid.], with the accented *li*, also has to derive from the time when the clitics were accented even after polysyllabic words like *kako*.

Diachronically, the conditions that induce this kind of alternation seem to be:

- a) a process of cliticization of verbal (*je*, *će*, *bi*) and pronominal forms (*ga*, *mu*, *jōj*, etc.), as in *štā_je* ‘what is’, *(t)kō_će* ‘who will’, *štā_bi* ‘what would’; *štā_ga* ‘what (...) him’, *štā_mu* ‘what (...) to him’, *štā_jōj* ‘what (...) to her’, etc., where the phenomenon is the remnant of the old accentedness (**jěst* > **jě*, **jěmū* > **mū*, **jěgō* > **gā*, etc.⁴⁰), when combined with words (like **kāko*) that were originally a. p. c enclinema words;

claim that *hōćemo (li)?* has nothing to do with *li*, but results from a later influence of the rising sentence intonations in questions (cf. Neo-Štokavian *mōlīm* ‘I pray’ but *mōlim?* ‘excuse me?’). That is, however, not very convincing, because the change to *hōćemo_li* operates automatically even when there is no pronounced rising sentence intonation. Even more importantly, Old Štokavian forms solve this problem — Adnan Čirgić (p. c.) attests the accent alternation of *ōćemo* — *ōćemo_li* as usual in the Old Štokavian dialects of Montenegro.

³⁸ Cf. here the Prčanj [Rešetar 1900: 184, 188–189] base forms *znāmo* ‘we know’ — *znāte* ‘y’all know’, *spīmo* ‘we sleep’ — *spīte* ‘y’all sleep’, *īmāmo* ‘we have’ — *īmāte* ‘y’all have’.

³⁹ The Prčanj *oī* reminds one of the usual colloquial Neo-Štokavian *ōš_li?* < *hōćeš_li?* ‘do you want to’ (by the way, *hoćeš li* is as a whole unaccented when a part of the future tense, as in *hoćeš (li) dōći?* or, more colloquially, *oćeš dōć?* ‘will you come’).

⁴⁰ In **xōtjěst* > **čě*, the reduced remnant of the old accented verbal form must have remained accented, though the original first accented syllable was lost. The development of clitic / auxiliary *ću*, *ćeš*, *će*, *ćemo*, *ćete*, *će* ‘will’ (which exist together with the old accented *hōću*, *hōćeš*, *hōće*, *hōćemo*, *hōćete*, *hōćē* ‘want’) must have originally been triggered by the development of the clitic / auxiliary *sam* ‘am’, *si* ‘are’, *je* ‘is’, *smo*, *ste*, *su* ‘are’ (which exist together with the old accented *jěsam*, *jěsi*, *jěst*, *jěsmo*, *jěste*,

- b) an analogical spread of the alternation from the originally accentual paradigm *c* enclitic words like *kako*, *tako*, *tko* and *što*,⁴¹ where the accent shifts due to Vasiliev–Dolobko’s law (cf. e.g. [Dybo 1981: 48–54]) when coupled with clitics like *li*, *mi*, *ti* [Kapović 2018: 277, fn. 645], to non-*c* words later (e.g. to verbal forms like *hoćeš*).

The problem with this interpretation is that in both cases, both with the cliticized verbal forms and with Vasiliev–Dolobko’s law, what one would expect is the accent on the clitic. We do find this with Štokavian monosyllabic words like *šta_bī* and the exceptional Dubrovnik interjections *takò_mi*, *takò_ti* and Prčanj exceptional and surely innovative *imāš_lī?*, but the former do not seem to be attested in Čakavian⁴² and it is not easy to derive *kakò_si*, *kakò_li* from an older **kako_si* (from **kako_jesi* with the originally accented verbal form) and **kako_li* (from **kako_li* by Vasiliev–Dolobko). In Neo-Štokavian, combinations like *kàko_si* could theoretically have emerged by analogy to the ones like *štò_si* (via generalization of the short rising accent (‘) on the first/only syllable before a clitic), but this could only have happened later than the retraction and cannot explain Old Štokavian *kakò_si*, which cannot be analogical to *štò_si*. For (Štokavian /) Čakavian combinations like *kakò_si*, one could surmise that *kakò_si* instead of the older **kako_si* (cf. Dubrovnik *takò_mi*!) is due to the generalization of the otherwise always unaccented *si* (and other clitics), but that does not explain why these clitics can be accented in Štokavian *štò_si* and the like. The problem remains murky, though Dubrovnik *takò_mi* and Prčanj *imāš_lī* would indeed point to the original **kako_lī*, etc.

Whatever the exact historical explanation for *kàko* — *kàko_je*, the accent of the original *kàko_je*, *kàko_sam*, etc. was later generalized in some dialects (generally speaking, in north-western Štokavian and most of Čakavian). Thus, we get the younger accent *kàko*, as attested for Modern Standard Croatian by e.g. [Anić; HJS; Erj; RHJ; NHKJ: 197, 202; ŠRHJ; VRHSJ] (Benešić [1949] attests both *kàko* and *kàko*⁴³ and so do [RSHKJ/AdoK], [RSANU] and [RSJ] for Modern Standard Serbian) and the same accent is attested in many local Štokavian dialects.⁴⁴ The

jěsu ‘idem’), where the pivot form was the original “short” 3PL **sŏtŭ* (< Proto-Indo-European **h₁sonti* ‘they are’). Thus, while Old Church Slavic has *xoštŭ* ‘I want’ — *xoŕetŭ* ‘they want’ and *jesmŭ* ‘I am’ — *sŏtŭ* ‘they are’, Modern Štokavian has *hòću / ću* — *hòće / će* and *jěsam / sam* — *jěsu / su* (the analogical *jěsu* with *je-* from other forms triggered the development of the innovative short *sam* without *je-* and later the innovative *ću* without *ho-*, etc.). The form *bi* in *štà_bī* is analogical to *je* and *će* in *štà_je* and *štà_će* etc. Originally, the 2/3SG **bŷ* (cf. the Štokavian aorist *bī*) was “phonologically unaccented”.

⁴¹ In [Kapović 2015: 235, fn. 852], I reconstruct the original **kŕto* ‘who’ (a. p. c) but **čŕto* (a. p. b), with the subsequent generalization of brevity (*tkò*, *štò*) from the latter and accent mobility (*itko* ‘anybody’, *nà_što* ‘onto what’ — also both *tkò_je* ‘who is’ and *štò_je* ‘what is’) from the former.

⁴² For starters, Čakavian usually has *kī* < **kŕjŭ* ‘who’ instead of Štokavian *tkò* and *čā* < **čŕb* ‘what’ instead of Štokavian *štò*.

⁴³ However, Benešić [1949] has only *kàko_si*, *kàko_ste* and *kàko* (...) *tàko*.

⁴⁴ Cf. *kàko* in Podgorač near Našice ([Sekereš 1966: 296], *kàko_ide* ‘how it goes’, *kàko_bī_se* ‘so it would be’), in the modern urban dialect of Slavonski Brod (Martina Peraić, p. c.), Imotski and Bekija (6×) [Šimundić 1971: 208, 210 etc.], Bitelić [Čurković 2014: 21 (fn. 32), 55, 199, 276], Klis (Ivana Kurtović, p. c.), Popovići [Tokić, Magaš 2018: 61, 63, 66, 74, 84, etc.], Kučište on Pelješac (2×) [Tomelić Čurlin 2019: 215], etc. Molise [Piccoli, Sammartino 2000] *kàko* (with *kanovački* length) corresponds to this as well. The form *kàko* is also attested in Metković in Dalmatia, while nearby Zažablje and Slivno have both *kàko* and, less frequently, *kàko* (all Domagoj Vidović, p. c.). The accent *kakò* is generalized in some Posavina Old Štokavian dialects as well, e.g. in Orubica *kakò_vī* ‘how do you’, Trnava *kakò_bude* ‘how it is going to be’ [Ivšić 1913, I: 161], Donja Bebrina (my data) *kàko*, *kakò_se*, *kakò_je* and Gundinci (Josip Užarević, p. c.) *kakò*, *kakò_si*, *kakò_je*, *kakò_ćeš*, *kakò_idē* ‘how is it going’, *kakò_bilo_dā_bilo* ‘how ever it is’, though sometimes one cannot tell what the base form is from the attested data (cf. Donja Bebrina *kakò_ću*, Sapci *kakò_je* [Kapović 2008: 133, 142]). Cf. also *kàko?* in [Jakšić 2015] (a kind of non-localized Šokački dictionary). Old Štokavian Bizovac dialect [Klaić 2007: 175–176, 179] has *kakò_je* ‘how did he’, *kakò_mu_je* ‘as he (...) him’, *kakò_su* ‘how did they’, *kakò_se* ‘how did it’.

generalized *kakò* is very frequent in Čakavian as well.⁴⁵ Perhaps, the same change occurred with *sàmo* ‘only’ (thus e.g. [Vuk; ARj; Anić; ERj; ŠRHJ]) and its younger variant *sàmo* (e.g. [NHKJ: 202]), as well as with the variants *nèka* / *nèka* ‘ought to’, *àko* / *àko* ‘if’ [Ivšić 1913, I: 161] and *nègo* / *nègo* ‘than, but’ (though the accents of these words need not be the same in one dialect — e.g., a dialect can have *sàmo*, *nèka*, *nègo* but *àko*),⁴⁶ which we cannot discuss at length here.

In some dialects, only *kàko* exists, with no alternation. Cf. e.g. Konavle [Kašić 1995: 133, 136–137] isolate *kàko* but also *kàko_tě* [Ibid.: 132] ‘how do you’, *kàko_ćeš* ‘how will you’ [Ibid.: 134], *kàko_mi_je* ‘how is it to me’ [Ibid.: 137], *kàko_je* ‘how is’ [Ibid.: 146], etc.;⁴⁷ Dubrovnik (my data) *kàko* and *kàko_je*; Mostar [Milas 1903: 92–93] *kàko* but also *kàko_su*, *kàko_će*; Cerovo in Herzegovina [Halilović 1996: 235] *kàko_j*; Uskoci in Montenegro [Stanić 1990–1991] *kàko_še* ‘about to go’; Buđanovci in Srijem [Nikolić 1964: 400] *kàko_šemo*; Mačva in Serbia [Nikolić 1966: 279, 281, 285] *kàko*, *kàko_je*, *kàko_će*; Valjevska Podgorina in Serbia [Radovanović 2014: 31, 47, 53, 55 ff.] *kàko*, *kàko_čy*, *kàko_je*, etc. For Old Štokavian, cf. e.g. *kàko* and *kàko_bu(ce)* in Piperi in Montenegro [Stevanović 1940: 114–116]. The generalization of *kàko* seems to be typical for east and south Štokavian, while *kàko* is typical, as already mentioned, for the (north-) west of Štokavian (and thus modern standard Croatian norm). For Čakavian, cf. e.g. Kmpolje in Lika [Kranjčević 2003] *kàko*, *kàko_je*, *kàko_smo*. All of these generalized *kàko* forms may be due to the elimination of the old **kàko_je* < **kakò_je* etc. or, theoretically, due to **kàko* < **kakò* alternation never arising in the first place.⁴⁸ On the other hand, some dialects attest both variants in different uses or facultatively, cf. the Čakavian Dračevica on Brač [Šimunović 2009] *kakò* but *kàko_tàko* < **kàko_tàko* ‘so so’⁴⁹ (the accent of the second is surely influence by the accent of the following *tàko*), Grobnik Čakavian [Lukežić, Zubčić 2007] and Ika in Istria [Lisac 2009: 88] variant *kakò* / *kàko* and Silba Čakavian [Šimunović 2011: 181] *kàko_će* and *kakò_ćeš*.⁵⁰ In Štokavian, the synchronic alternation of *kàko* — *kàko_je* is much less frequent than *štà* — *štà_je*. With *kako* (and *tako*), the alternation is preserved only in a minority of local dialects, as it seems,

⁴⁵ Cf. <*kakò*> [Kašić 1990]; *kàko* in Korčula [Kalogjera et al. 2008]; *kakò* in Blato [Milat Panža 2015] and Vela Luka [Šimunović 2011: 128]; *kakò* on Hvar and Vis [Matković 2004; Barbić 2011; Božanić 2011: 66, 154–155, etc.] opposed to *tàko* < **tàko* (Dračevica on Brač has *kakò* but *kàko_tàko* ‘so-so’ [Šimunović 2009]); *kàko* / *kàko* < **kakò*, *kàko* on Šolta [Galović 2019: 254, cf. also 302, 306, 408, etc.]; *kàko* < **kakò* in Okruk on Čiovo (Ante Jurić, p. c., but cf. also the older phonetic version of it in *kakò_zaklan* ‘as dead’ [Jurić 2020: 173]) and in Filipjakov (Nikola Vuletić, p. c.), with the same retractional accent in *tàko*, *nàko*, *vàko*; *kakò_su* etc. in Zlarin [Šimunović 2011: 153, 156–157, 160]; *kakò_da*, *kakò_je* and *kàko* < **kakò* on Žirje [Ibid.: 165–166]; *kakò* on Vrgada [Jurišić 1973] and in Bibinje [Šimunović 2013]; *kakò* in Sali on Dugi Otok [Piasevoli 1999: 158, 198–199, etc.; Šimunović 2011: 176]; Kali on Ugljan (Mislav Benić, p. c.) *kakò* < **kakò*, though it is most often unaccented (but *tàko* < **tàko* with a younger lengthening in a stressed syllable); *kakò* (and also generalized *takò*, (*o*)*nakò*, (*o*)*vakò*) on Rivanj [Radulić 2002], Rava [Božin 2017], Novalja [Vranić, Oštarić 2016], Ist [Smoljan 2013], Susak [HHG: 144, 146] (for Susak, I can adduce from my field data *kakò_to_intjēndis?* ‘how do you mean?’, *kakò_bimo_to_riēkli* ‘how would we say that’, *Rika kakò_j_vēla* ‘how big is Rijeka’, *kakò_ćeš_klōst* ‘how would you put it’); *kakò* in Senj [Moguš 2002], Novi Vinodolski [Šimunović 2011: 193], Rukavac [Mohorovičić-Maričić 2001], Klana [Šimunović 2011: 248, 251–252] and Opatija [Ibid.: 328]; in Istria Labin area dialects *kukò* [Nežić 2013: 123], *kopò* [Ibid.: 126], Labin etc. *kukò* [Ibid.: 140, 254] etc.; Medulin [Peruško 2010] *kàko* < **kakò* (for this *kàko* in South-West Istrian cf. also [Mandić 2009: 94, 95–97, 103]).

⁴⁶ Like *kako*, *što*, *hoćeš*, etc., these are also often unaccented, cf. e.g. Neo-Štokavian *neka_dōdē* ‘let him / her come’, *nego_tō* ‘but that’, *ako_dōdē* ‘if (s)he comes’.

⁴⁷ The same is the case in Dubrovnik, for which Rešetar [1900: 202] mentions the forms *štò_je* [štò_je], *kò_je* [kò_je], *dà_je* [dà_je] but does not mention *kàko* in that regard.

⁴⁸ Since Dubrovnik has *štò_je* but **kàko_je* (see the previous footnote), that would point to the forms like *kàko_je* being secondary after all.

⁴⁹ The same in Milna on Brač (Filip Galović, p. c.).

⁵⁰ Also Mali Lošinj [Šimunović 2011: 211] *kàko_jē_bīl* ‘as he was’ (the accentuation here looks suspicious) and *kakò_drūgi* ‘as others’, if the attestations are correct.

while with *šta* (and other such monosyllabic words) the synchronic alternation seems almost ubiquitous (the distribution width of *hòcemo_li* etc. is not clear and demands a separate study).

The regular reflex of the old Common Slavic **tāko* is probably preserved in the majority of the Buzet dialects (see above) in various forms such as *tuàku*, *tòko*, *tòko*, *tòko* (Alvijana Klarić, p. c.) < **tāko*, though, theoretically, the length can originate in the old **tāko*, resulting from an analogy to the expected **ovāko*, **onāko* (see below).⁵¹ While the originally interrogative *kāko* ← *kāko* ← **kāko* preserves, albeit indirectly and with a lot of subsequent changes, the old short / indefinite form, it is generally not so with **tāko* in Štokavian. It often has the reflex of the old long / definite form in Neo-Štokavian, cf. the usual form *tākō* ‘thus’ [Vuk; ARj; HSTR⁵²; Anić; ERj; RHJ; Moskovljević 2000; RBJ; BSR; Čirgić, Šušanj 2013: 24].⁵³ Unlike Štokavian, where *tākō* is very frequent, its counterpart *takō* (attested as such e.g. in Old Štokavian Piperi in Montenegro [Stevanović 1940: 180]) is rather rare in Čakavian — cf. Premuda [Šimunović 2011: 178] *takō* (but without the usual diphthong *uo* as in most but not all cases of old **ō*), Novigrad [Ibid.: 186] *takō* and migrational Čakavian-Štokavian South-West Istrian local dialect of Valdebek [Mandić 2009: 103] *takō* < **tākō* with regular final shortening⁵⁴ (cf. also the Vis *kakō* (7×) [Rōki Fortunato 1997], which may be of the same kind of origin if the attestation is correct⁵⁵).

The Štokavian adverbial *tākō* with long *-ō* is in accord with the dialectal pronominal adjectival form *tākī* ‘such’ — *tākā* — *tākō*.⁵⁶ The reason for the difference of *kāko* and *tākō* is simple — the interrogative *kāko* ‘how’ is where one expects the indefinite form (the indefinite form of adjectives is still often described in Štokavian as responding to the question *kākav* ‘what kind of’), while in demonstrative *tākō* ‘in this way’ one would expect a frequent definite form (the definite form of adjectives is still often described in Štokavian as responding to the question *kōjī* ‘which one’).

However, the form *tākō* does not appear everywhere in Štokavian, though that is the accent of many dialects and of “classical standard Neo-Štokavian”. Already Benešić [1949] has only *tako* with short *-o* (5×) (also *ovāko*, *onāko*),⁵⁷ and the same goes for [HJS] fifty years later (also *ovāko*).⁵⁸ [VRHSJ] and Serbian [RSHKJ] and [RSJ] have *tako* together with *tākō*,⁵⁹ while

⁵¹ As already mentioned, the old accent of **tāko* could be potentially preserved, if the attestation is correct (which is not very likely), in the migrational South-West Istrian dialects of Roverija [Kalčić et al. 2014]: *tako* (see above for the possible *kāko* in the same dialects).

⁵² The accent *tākō* in [HFR] is probably a typo for *tākō*, especially considering Deanović was from Dubrovnik (see the next footnote) and cf. [HFR: v–vi] for the accentuation in the dictionary.

⁵³ Cf. *tākō* e.g. in Dubrovnik [Rešetar 1900: 142] (I can also attest *tākō* for modern Dubrovnik), Nikšić in Montenegro (Novica Vujović, p. c.), Konavle [Kašić 1995: 86, 132, 148], Cerovo and Orah in Herzegovina [Halilović 1996: 235, 237], Metković (Domagoj Vidović, p. c.), Bitelić [Čurković 2014: 198], Mihalj and Podgradine in Slivno [Vukša Nahod 2017: 280, 284], Zmijavci [Matković 2021: 61, 175], Osijek (Mislav Benić, p. c.), Vrdnik in Srijem [Nikolić 1964: 400], Valjevska Podgorina in Serbia [Radovanović 2014: 53], Gornji Milanovac in Serbia (Dušica Božović, p. c.), Uskoci in Montenegro [Stanić 1990–1991] (3×), etc.

⁵⁴ Cf. also Valdebek *prvā* < **prvā* ‘first’ for the shortening but *kāko* < **kakō* with retraction. This *takō* < **tākō* is typical for the Premantura type dialect subgroup — the rest of the South-West Istrian Čakavian seems to have reflexes of **takō*, mostly *tako* with the retractional neo-acute (David Mandić, p. c.).

⁵⁵ Cf. multiple attestations of *kakō* in Komiža on Vis [Šimunović 2011: 115].

⁵⁶ Cf. both adverbial *tākō* i *tākō* ‘in any case’ and adjectival *tākī* ‘like this’ e.g. in Dubrovnik [Bojanić, Trivunac 2002] (also [Budmani 1883: 173] for Dubrovnik *ovākī*, *tākī*, *onākī* and [Kašić 1995: 86] for neighboring Konavle).

⁵⁷ Cf. the same (*tako* and *ovāko*, *onāko*) in the modern urban dialect of Slavonski Brod (Martina Peraić, p. c.), in Vidonje near Metković (Domagoj Vidović, p. c.) and in Klis (Ivana Kurtović, p. c.).

⁵⁸ Cf. also Molise [Piccoli, Sammartino 2000] *tako* (also *kako*), which is probably from the older **tāko* (though **tāko* is also a possible option). The same goes for *ovāko*.

⁵⁹ Cf. *tako* (2×) in Mostar [Milas 1903: 92] but also *tākō* [Ibid.: 93], though the description is not completely consistent with accentual marks.

[NHKJ] has *tākō* but *tāko_{da}*. The accent *tāko* must be due to analogy to *kāko* (if this *tāko* is to be derived from older *tākō*) or from older *tāko* by the same development as in *kāko* → *kāko*. Many Čakavian dialects also have *takō*⁶⁰ of the same origin as *kakō* (for Čakavian, it does not make much sense to posit an older **takō*, which is very rarely attested, unlike for Štokavian, where that is a plausible option due to frequent *tākō*). The already mentioned Split dialectal form *tāko*⁶¹ has the original indefinite accent but with the C → B change (i.e. *tāko* by analogy to old **tāka*).⁶² The Lovran [Šimunović 2011: 259–260] *tāko* (2×) must be analogical to the original **ovāko*, **onāko* (see below).

In Štokavian, there is also a much less frequent variant *tāko*, that must have developed in the same way *kāko* developed. Vuk's dictionary (its accentuation followed in [ARJ]) attests the variant *tāko* (besides the regular *tākō*) in collocations like *tako mi boga* 'by god!'⁶³ — cf. also Stundenci [Babić 2008] *tākoti* (together with *tākoti*) in the exclamation *Tākoti ĩruda!* 'By Herod!'. However, the accent *tāko* seems to be regular in Old Štokavian Slavonian dialect — from my field data, I have Gornja Bebrina *tāko* (3×), Donja Bebrina *tāko* (6×), Orubica *tāko*, Sikerevci *tāko* and Oprisavci *tāko* (6×), *tāko_{se}* attested. Josip Užarević (p. c.) attests *tāko* for Gundinci in Posavina. Cf. also *tāko_{je}* (2×) in Klokočevci near Našice [Sekereš 1966: 290]⁶⁴ and elsewhere in Old Štokavian Slavonia — cf. *tāko-tāko* 'so-so', *tākoc* and *kāko-tāko* 'anyhow' (also parallel

⁶⁰ Cf. e.g. Sali [Piasevoli 1999: 158, etc.] (see also [Šimunović 2011: 321] for Savar on Dugi Otok), Rivanj [Radulić 2002], Rava [Božin 2017], Novalja [Vranić, Oštarić 2016], Ist [Smoljan 2013], Susak [HHG: 144, 146], Sv. Jakov on Lošinj [HHG: 213], Mali Lošinj [Šimunović 2011: 211] *takō*; Senj [Moguš 2002] *takō* (but also *tākō(c)*); Crikvenica (Martina Bašić, p. c.) *takō* (but also *kāko*... *tāko*...); Novi Vinodolski [Belić 2000: 180; Šimunović 2011: 193] *takō*; Orlec [Houtzagers 1985] and Bejska Tramuntana [Velčić 2003] on Cres (*o*)*takō*; Labin [Nežić 2013: 287, 403–404, etc.], Žminj [Šimunović 2011: 263], Orbanici [Kalsbeek 1998] and Sv. Petar u Šumi [Mandić 2009: 91] *takō*; Pazin [Gagić 2017] *takō* (also *kakō takō*) and Gračišće (Alvijana Klarić, p. c.) *takō*; Medulin [Peruško 2010] *tāko* < **takō* (for this *tāko* in South-West Istrian cf. also [Mandić 2009: 95–96, 98–100, 102–103]); the southern group of the Buzet Čakavian dialect (Alvijana Klarić, p. c.) *takō* (like *uvakō*, *unakō*); the eastern Buzet dialects (Lanišće, Podgaće — Alvijana Klarić, p. c.): *takō* (like *ovakō*, *onakō*).

⁶¹ For Split cf. multiple examples in [Šimunović 2011: 143–147]. Cf. also *tāko* in Donje Selo on the nearby (Štokavized Čakavian) island of Šolta [Galović 2019: 306], also *tāko* / *tāko* < **tākō* in Maslinica on Šolta [Ibid.: 407, 410].

⁶² The Old Štokavian Bizovac [Klaić 2007: 108] has *tākōc* with an added *-c* (together with *tāko* and *tāko*). Jakšić [2015] attests, however, *tākoc* for Old Štokavian Slavonia. Cf. also *tākoc* in Lika [Čuljat 2004] and Split [Petrić 2008] and in Čakavian Senj [Moguš 2002] the variants *tākōc* and *nākōc* with *-c* (which is a sort of a diminutive expressive suffix). Neo-Štokavian dialects can also have a variant *tākōc* with the accent as in the usual *tākō*.

⁶³ This accent in the interjection could theoretically also be secondary, cf. the interjectivized *blāgo mēni* 'lucky me!' when compared to the original adjective *blāgo* 'mild' (cf. also the noun *blāgo* 'treasure'). There is a similar synchronic alternation in the adjective / adverb *tēško* 'heavy, hard' (*tēško* is younger / innovative) and the interjectivized collocation *tēško tēbi!* 'you won't be so lucky! you better watch out!' (literally: 'hard to you!'), but *tēško* can, unlike *blāgo* and like the above *tāko*, be the original variant (cf. [Kapović 2011: 433–434]).

⁶⁴ This looks somewhat convincing, because the same local dialect has many examples with the short accent of retractional origin (´), cf. *jēdna žena* 'one woman', *sēstre* 'sisters', etc. Many other local dialects near Našice are not this reliable because ´ is often missing (especially in paroxytona) or inconsistent. Thus, Bokšić [Sekereš 1966: 288] *tāko* (12×) is unreliable, because the dialect also has *sēlo* 'village' and no ´ in paroxytona, just like the Kršinci accent *tāko* (3×) [Ibid.: 296] is unreliable, because the same dialect has both *dānas* 'today', but also *kōpat* 'to dig' (and very few ´ prosodemes in general). Similarly, in Old Štokavian Bizovac [Klaić 2007: 108, 175, 180] one finds both *tāko* (but also *tāko*) and also *ovāko* and *nāko*, which are probably to be derived phonetically from older **takō* etc. (cf. *sēlo* 'village' < **selō* in the same dialect [Ibid.: 21]), though theoretically it could stem from an old **tāko* as well.

adjectival *kàkī-tàkī*) in [Jakšić 2015]. The accent *tàko* appears also in Čakavian dialects,⁶⁵ and some of them have both *tàko* and *takò*.⁶⁶

In the originally relative **jāko* ‘how’, one would expect the same accent as in **kāko*. This form was preserved in Štokavian only as the adverb *jāko* with the original accent (though initial circumflex accent tends to generalize in adverbs) with the intensifying meaning ‘very’ (also ‘strong’). The dialectal adverbial *jāko* with the B-accent (as e.g. in Prapatnice in Vrgorska Krajina⁶⁷) must be younger due to the secondary B-accent in the adjective. The adjective *jāk* ‘strong’ (from the old relative pronoun **jākъ*) also belongs here, but it has shifted secondarily to a. p. B in some dialects [Kapović 2011: 373, cf. also 339–342, 356, 365–366].

While **kāko*, **jāko* and **tāko* are all-recessive⁶⁸ (at least according to their reflexes⁶⁹), this is not to be expected of **ovako* and **onako*, attested only in Western South Slavic (cf. Štokavian *ovākō* ‘like this, in this way’, *onākō* ‘like that, in that way’). The accent of **ōnъ* (cf. e.g. [Kapović 2015: 402] and Štokavian *ōna* ‘she’ — *ōno* ‘it’) and **ōvъ* (cf. Novi Vinodolski *ōv* — *ovā* — *ovō* ‘this one’⁷⁰) would point to original dominant **ōn-* and **ōv-*.⁷¹ Thus, one would expect the original **ōnako* > post-Dybo **onāko*⁷² and **ōvako* > post-Dybo **ovāko*. The original accent is preserved in Vrgada Čakavian [Jurišić 1973] *onāko*, *ovāko* (*tàko* also has a variant *tāko* by analogy to *onāko*, *ovāko*, cf. Lovran *tāko* above) and perhaps in Slovene [Pleteršnik] *onāko*. Iž [Martinović 2005] and Sali Čakavian [Piasevoli 1993] *nāko*, *vāko* (and *otāko* by analogy on Iž) would also seem to stem from the original **onāko*, **ovāko*. Sutivanac in Istria [Mandić 2009: 93] *ovāko* is probably a reflex of the old **ovākō*, but could theoretically stem from the old **ovāko* as well.⁷³ The same goes for various Buzet Čakavian dialect words (Alvijana Klarić, p. c.) like *unūaku*, *uvūaku* (SE/SW); *ovōko*, *onōko* (central below Mirna and Črnica); *onōko*, *ovōko* (central above Mirna and NW); *ovōko*, *onōko* < **onāko*, **ovāko* — these could likely stem from the original **onāko*, **ovāko*, though it is possible that the length is analogical to *kuāku*, *tuāku* and the like (see above).

⁶⁵ Cf. e.g. Pučišća on Brač ([Šimunović 2011: 79], Domagoj Vidović, p. c.) and Komiza on Vis [Šimunović 2011: 113–114] *tāko* < **tāko*; Zlarin [Ibid.: 159] *tāko* (2×), *tāko i tāko*; Sali on Dugi Otok [Ibid.: 177] *tāko*; Kukljica on Ugljan [Benić 2014: 82], (*o*)*tāko* (also *kāko*); Kali on Ugljan (Mislav Benić, p. c.) *tāko* < **tāko* (as opposed to *kakō* < **kakō*); Kompolje in Lika [Kranjčević 2003] *tāko*, *tāko je*, *tāko ti bōga!* ‘oh my god!’ (surprise; literally: ‘so of your god’), *tāko mi bōga!* ‘by god! trust me!’ (a promise; literally: ‘so of my god!’); Kastav [Miletić 2019] and Brešća [Šimunović 2011: 247] *tāko*; Nugla in Istria [Ibid.: 270–271] *tāku* (3×) < **tāko* (cf. also *jāku* ‘very’).

⁶⁶ Cf. here Crikvenica (Martina Bašić, p. c.) *takò* but also *kāko... tāko...*, and Grobnik [Lukežić, Zubčić 2007] and Klana [Šimunović 2011: 249–252] *takò / tāko*.

⁶⁷ My data. The same in Dubrovnik [Rešetar 1900: 135].

⁶⁸ For Slavic valences and their marks, cf. e.g. [Kapović 2020].

⁶⁹ It is not likely that vowelless morphemes like **k-* or **t-* could have had their own valence in late Proto-Slavic / Common Slavic.

⁷⁰ [Belić 2000: 167]. The variant *ovī* ‘this one’ must be younger (see the next footnote). Cf. also Old Russian [Zaliznyak 2010: 136] a. p. B in *ovъ* and *ovъ* (though with an a. p. C variant in the latter).

⁷¹ Štokavian (and Slovene) *ōn* ‘he’ (which has a B-accent) and Novi Vinodolski *ōv* are morphologically more conservative than Štokavian *ōnāj* ‘that one’ and *ōvāj* ‘this one’ (which have a C-accent) and thus have to take precedence. The innovative Štokavian forms *ōnāj* ‘that one’ and *ōvāj* ‘this one’ also have dialectal B-variants *ōnāj* and *ōvāj*, though these are not necessarily old (cf. also dialectal Štokavian variants *ōnī / ōnī* and *ōvī / ōvī*).

⁷² For the long neo-acute as a reflex of Dybo’s law on the non-acuted long syllable, cf. e.g. [Kapović 2019: 113–116] with further references.

⁷³ Perhaps the Old Štokavian Bizovac [Klaić 2007: 108] variant *tāko* (together with *tāko*) is connected to this (via an old analogy) as well. Šimunić [2013] attests *nāko* (and *tāko* [Ibid.: 297]) for the Čakavian dialect of Bibinje, but this is highly questionable, since he also adduces *nākō* [Ibid.: 764], *vākō*, *vāko*.

The usual Neo-Štokavian accent *ovàkō*, *onàkō* (thus e.g. [Vuk; ARj; Anić; ERj; RBJ; BSR],⁷⁴ with no accentual parallels in Čakavian (Čakavian never seems to have **ovakō*, **onakō*), have the younger accent by analogy to *tàkō* (the same in dialectal adjectival / pronominal *ovàkī* ‘such’, *onàkī* ‘like that, that kind’ by analogy to the expected dialectal *kàkī* ‘what kind’, *tàkī* ‘that kind’ and now adjectivized *jàkī* ‘strong’).

Benešić [1949], [HFR], [HSTR],⁷⁵ [ŠRHJ] and [VRHSJ] attest the less usual variants *ovàko*, *onàko* with short final -o,⁷⁶ together with *tàkō* [ŠRHJ] and *tàkō* / *tàko* [VRHSJ] ([HJS] has only *ovàko*, while *onako* is not attested). [RHJ] confusingly has *onàkō* but *ovàko*,⁷⁷ while [RSHKJ; RSANU] and [RSJ] have variants in both: *ovàko* / *ovàkō*, *onàko* / *onàkō* (also *màko* / *màkō* in the first and last one). These variants with the short -o must be due to analogy to *kàko*. Many Čakavian dialects also have the accent *ovàkō*, *onàkō* (by analogy to *kakō*),⁷⁸ while others have the accent (o)*vàko*, (o)*nàko* (by analogy to *kàko* and / or *tàko*).⁷⁹ As for Štokavian, the latter accent is attested only in Old Štokavian Slavonian dialects, cf. *ovàko*, *ònako* in Glogovica in Posavina [Kapović 2008: 140], *onàko* in [Jakšić 2015], and *vàko*, *nàko* (also *tàko*) in Gundinci in Posavina (Josip Užarević, p. c.). From my unpublished field data from Posavina, I have Donja Bebrina *nàko*, *vàko*, Orubica *ovàko*, *onàko* and Oprisavci *ovàko* attested. Čakavian also rarely has the long a. p. B variant (most likely by analogy to the already mentioned *tàkō* > *tàko* — see above),

⁷⁴ Cf. e.g. *ovàkō*, *onàkō* in Dubrovnik ([Rešetar 1900: 142; Bojanić, Trivunac 2002]; I can also attest *ovàkō*, *onàkō* for modern Dubrovnik) and Nikšić in Montenegro (Novica Vujović, p. c. — cf. also [Čirgić, Šušanj 2013: 24] for *ovàkō*), *vàkō* in Konavle [Kašić 1995: 133, 148], (o)*vàkō* in Grepci and Orah in Herzegovina [Halilović 1996: 236–237], *vàkō*, *nàkō* in Imotski and Bekija [Šimundić 1971: 208, 212], *onàkō* in Studenci [Babić 2008], *ovàkō*, *onàkō* in Bitelić [Čurković 2014: 198], *nàkō*, *nàkō* ‘so so’ in Jesenice under Velebit [Bucić 2016], *vàkō*, *nàkō* in Popović near Benkovac [Tokić, Magaš 2018] and Radošinovac [Došen 2020], *ovàkō*, *onàkō* in Osijek (Mislav Benić, p. c.), *vàkō*, *nàkō* in Valjevska Podgorina in Serbia [Radovanović 2014: 31, 78], *ovàkō*, *onàkō* in Gornji Milanovac in Serbia (Dušica Božović, p. c.), etc.

⁷⁵ The accent in [HFR] and [HSTR] is perhaps surprising, considering that one of their authors, Deanović, was a native of Dubrovnik (see the previous footnote for the Dubrovnik accent).

⁷⁶ *Ovàko*, *onàko* with a short -o are attested in the modern urban dialect of Slavonski Brod (Martina Peraić, p. c.) and around Metković, part of Western Herzegovina and around Stolac (Domagoj Vidović, p. c.) — however, the town of Stolac itself has *ovàkō*, *onàkō* (Jasmin Hodžić, p. c.). *Vàko* and *nàko* are also attested in Klis in the hinterland of Split (Ivana Kurtović, p. c.).

⁷⁷ The accents from [RHJ] seem to have been copied in the amateur dictionary [Šamija 2012]. Sekulić [2005] seems to attest this (*onàkō* but *ovàko*) for Bačka (cf. also *tàkō* there).

⁷⁸ Cf. e.g. Okruk (Ante Jurić, p. c.) and Filipjakov (Nikola Vuletić, p. c.) *nàko* < **nakō*, *vàko* < **vakō*; Rivanj [Radulić 2002], Rava [Božin 2017], Novalja on Pag [Vranić, Oštarić 2016], Ist [Smoljan 2013], Susak [HHG: 144, 146], Orlec [Houtzagers 1985] and Bejska Tramuntana [Velčić 2003] on Cres, Grobnik [Lukežić, Zubčić 2007] (o)*vàkō*, (o)*nakō*; Senj [Moguš 2002] *vakō* (but also *vàkō*(c)), *nakō* (but also *nàkō*); Crikvenica (Martina Bašić, p. c.) *ovakō*, *onakō*; Novi Vinodolski [Šimunović 2011: 193] *ovakō*; Labin [Nežić 2013: 64, 287] *ukō* < **ovakō*, *onakō*; Klana [Šimunović 2011: 252], Opatija [Ibid.: 328], Pazin [Gagić 2017] and Sv. Petar u Šumi [Mandić 2009: 91] *onakō*; Gračišće (Alvijana Klarić, p. c.) and Orbanići (Kalsbeek 1998) *ovakō*, *onakō*; Beram in Istria [Šimunović 2011: 267] *unakō*; the southern group of the Buzet Čakavian dialect (Alvijana Klarić, p. c.) *uvakō*, *unakō*; the eastern Buzet dialects (Lanišće, Podgaće — Alvijana Klarić, p. c.): *ovakō*, *onakō*; Roverija in Istria [Kalčić et al. 2014] *ovàko* < **ovakō*, *nàko* < **nakō*; Medulin [Peruško 2010] *onàko* < **onakō* (for the retractional *ovàko*, *onàko* in South-West Istrian, cf. also [Mandić 2009: 94, 96, 99, 101, 103]).

⁷⁹ Cf. Brač, Hvar and Vis Čakavian ([Vuković 2001; Matković 2004; Šimunović 2009; 2011: 115; Barbić 2011], Filip Galović for Milna, p. c., Domagoj Vidović for Pučišća, p. c.) *ovàko*, *onàko* by analogy to *tàko* < **tàko*; Zlarin [Šimunović 2011: 153, 155] (o)*vàko* (the variant (o)*vàko* probably goes to **ovakō*, though possibly also to **ovàko*); Sali on Dugi Otok [Ibid.: 177] *nàko*; Kukljica on Ugljan [Benić 2014: 76] *vàko*, *nàko* (like *kàko* and (o)*tàko*); Ošljak [Valčić 2012] *vàko*, *nàko* (like *kàko*); Kompolje [Kranjčević 2003] (o)*vàko*, (o)*nàko* (also *kàko*, *tàko*); Kastav [Miletić 2019] *ovàko*, *onàko* (like *kàko*, *tàko*).

cf. Split *onáko* (also *táko*) [Šimunović 2011: 146], *ováko* (Dijana Ćurković, p. c.), Bibinje [Šimunović 2013] *nākō* (p. 764), *vākō*, and Senj [Moguš 2002] *nākō*, *vākō* (together with variants *nakō*, *vakō* — cf. also *tākō* / *takō* in Senj).

The original length of *-āko is seen in the following, mostly acute-initial, derived adverbs: Štokavian *ikāko* ‘in any way’ (**ikāko*⁸⁰), *nīkāko*⁸¹ ‘no way’ (**nīkāko*, cf. *nītko* ‘nobody’, *nīšta* ‘nothing’, *nīgdje* ‘nowhere’, etc.⁸²), *nēkāko* (older *nēkāko*⁸³) ‘somehow, in some way’ (**nēkāko*, cf. *nētko* ‘someone’, *nēšto* ‘something’, *nēgdje* ‘somewhere’, etc.), *svākāko* ‘by all means’ (**vsākāko*, cf. *svāk(ī)* ‘everyone’, *svātiko* ‘everybody’, etc.)⁸⁴, *jědnāko* ‘the same’.⁸⁵ While *da-kako* usually has the accent based on either *kāko* (*dākako* — e.g. [ARJ]) or *kāko* (*dakāko* — e.g. [Anić; NHKJ]), I also have the variant *dākāko* (Prapatnice) attested, which could be the oldest one.

The Kajkavian data, with its generalized apocope of the final -o, is not as informative as Štokavian / Čakavian. Most dialects have the generalized *kāk*, *tāk*, *ovāk*, *onāk* (with local phonological / accentual superficial differences and developments),⁸⁶ which corresponds e.g. to Čakavian Kastav [Miletić 2019] *kāko*, *tāko*, *ovāko*, *onāko*. However, Varaždin [Lipljin 2002] has *kāk* but *tāk* / *tāk* (and analogical *ovāk*, together with the usual *ōvak* < **ovāk*, and *onāk*). This *tāk* is confirmed by the nearby Prekmurje Beltinci Slovenian [Novak, Novak 2009] variant *tāk* / *tāk* (but only *kāk*).⁸⁷ The form *tāk* (if not from older **tāk*, which would be a potential parallel of the Split *táko*) probably goes back to the original **tāko*, while *kāk* (often unaccented *kak*) has the same origin as Štokavian / Čakavian *kāko*.

In the end, we shall list clearly all the above attested forms in Štokavian / Čakavian (in their oldest phonetic shape, without retractions⁸⁸), together with their origin and frequency / distribution notes (*ovako* and *onako* are listed together because they are almost always identical in specific local dialects and have the same existing types):

⁸⁰ This is presumably the original accent, though *ī-* tends to behave synchronically as a dominant, acute-initial, morpheme, like *nī-* and *nē-* < *ně-*, cf. *ījedan* ‘one only’ (together with *ijedan*) just like *nijedan* (together with *nijedan*; cf. e.g. *nijedan* in Dubrovnik [Bojanić, Trivunac 2002] ‘not one, no one’, *ītko* ‘anyone’, *īšta* ‘anything’ (like *nītko* ‘no one’, *nīšta* ‘nothing’), etc.

⁸¹ Cf. the same e.g. in (Štokavized) Čakavian Korčula [Kalogjera et al. 2008] and Blato on Korčula [Milat Panža 2015]. Dračevica on Brač [Šimunović 2009] distinguishes the old accent in *nīkako* ‘no way’ (should be **nīkoko* < **nīkāko*, but the secondary -a- is by analogy to *kakō*) and the younger one in *nikakō* ‘somehow’ (the accent by analogy to *kakō* to distinguish it from ‘no way’). For Čakavian, cf. also e.g. Komiža [Šimunović 2011: 121], Zlarin [Ibid.: 154] and Klana [Ibid.: 251–252] *nīkako* and Kukljica [Benić 2014: 36, 63] *nīkakor* (cf. also *nēkakor*, *svākakor*). For dialectal Neo-Štokavian, cf. e.g. Valjevska Podgorina in Serbia [Radovanović 2014: 46, 54] *nīkāko*, *nēkāko*.

⁸² This is not in agreement with Lithuanian *niēkas* ‘nobody’.

⁸³ I have *nēkāko* attested from my data for Oprisavci in Old Štokavian Posavina.

⁸⁴ The form *nīkako* (2×) without length in [VRHSJ] is obviously a typo (cf. *nēkāko*, *ikāko*, *svākāko* in the same dictionary).

⁸⁵ The a. p. C accent of Štokavian / Čakavian *jědnāk* ‘equal’ (dialectal feminine singular *jědnāka*) seems to be secondary. It neither agrees with Štokavian *jědan* — *jědna* — *jědno* ‘one’ (B), nor with Slovene [Pleteršnik] *enāk* or Ukrainian *odnākuī*.

⁸⁶ Cf. e.g. [Bélloszténecz 1740; Šojat 1982; Večenaj, Lončarić 1997; Šatović, Kalinski 2012; Blažeka, Rob 2014; Maresić, Miholek 2011; RKDI] (some sources do not attest *ovak*, *onak*). Bednja [Jedvaj 1956: 320] *ěvuk* < **ovak*, *ěnuk* < **onak* with the unexpected initial accent is perhaps another example of a sporadic retraction there (cf. [Kapović 2015: 728–729]).

⁸⁷ However, Središće [Greenberg 1999] has only *tāk*.

⁸⁸ Additionally, one has to consider that *kako* is also frequently unaccented.

Table

Accent of *kako*, *tako*, *ovako*, *onako* in Štokavian and Čakavian

Accent variants	Origin	Frequency / distribution
<i>kāko</i> (?)	Common Slavic * <i>kāko</i> (?)	rare and only in Čakavian (some attestations are very doubtful)
<i>kǎko</i>	shortening of Common Slavic * <i>kāko</i>	frequent in Štokavian, not infrequent in Čakavian
<i>kakò</i>	from older <i>kakò.si</i> , etc.	very frequent in both Štokavian (especially western dialects) and Čakavian
<i>kākò</i> (?)	analogy to old feminine form * <i>kākā</i> ‘what kind’	some doubtful attestations only in Čakavian
<i>kǎko</i>	analogy to <i>tǎko</i> and ultimately to <i>ovǎko</i> , <i>onǎko</i>	exceptionally rare and only in Čakavian
<i>kakô</i> (?)	from the old definite * <i>kakojě</i> ‘what kind’	doubtful attestation and only in Čakavian
<i>tāko</i> (?)	Common Slavic * <i>tāko</i> (?)	rare and only in Čakavian (some attestations are very doubtful)
<i>tǎko</i>	shortening of Common Slavic * <i>tāko</i>	not infrequent in Čakavian, rather infrequent in Štokavian
<i>takò</i>	from older <i>takò.si</i> , etc.	frequent in both Štokavian and Čakavian
<i>tākò</i>	analogy to old feminine form * <i>tākā</i> ‘that kind’	not frequent in Čakavian, very rare in Štokavian
<i>tǎko</i>	analogy to <i>ovǎko</i> , <i>onǎko</i>	rare and only in Čakavian
<i>takô</i>	from the old definite * <i>takojě</i> ‘that kind’	very frequent in Štokavian, rare in Čakavian
<i>ovǎko</i> , <i>onǎko</i>	Common Slavic * <i>ovǎko</i> , * <i>onǎko</i>	rare and only in Čakavian
<i>ovǎko</i> , <i>onǎko</i>	analogy to <i>tǎko</i> , <i>kǎko</i>	fairly frequent in Čakavian, very rare in Štokavian
<i>ovakò</i> , <i>onakò</i>	analogy to <i>takò</i> , <i>kakò</i>	frequent in Štokavian, very frequent in Čakavian
<i>ovākò</i> , <i>onākò</i>	analogy to <i>tākò</i>	rare and only in Čakavian
<i>ovakô</i> , <i>onakô</i>	analogy to <i>takô</i>	very frequent and only in Štokavian

ABBREVIATIONS

a. p. — accentual paradigm

p. c. — personal communication

REFERENCES

- AdoK — *Rječnik hrvatskosrpskoga književnog jezika*. Knjiga 1–2. Zagreb: Matica hrvatska; Novi Sad: Matica srpska, 1967.
- Anić — Anić V. *Rječnik hrvatskoga jezika*. 3rd edn. Zagreb: Novi liber, 1998.
- ARj — *Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*. Sv. 1–97 (dijelovi I–XXIII). Zagreb: JAZU, 1881–1976.
- Babić 2008 — Babić I. *Studenački rječnik*. Studenci (Croatia): Župni ured Studenci, 2008.
- Barbić 2011 — Barbić A. *Rječnik Pitava i Zavale*. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2011.

- Belić 2000 — Белић А. Белешке о чакавским говорима. *Изабрана дела А. Белића*. Т. 10: *О дијалектима*. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2000, 136–186. Критички превод са руског језика (1909). [Belić A. Notes on Čakavian dialects. *Izabrana dela A. Belića*. Vol. 10: *O dijalektima*. Belgrade: Institute for Textbooks and Teaching Aids, 2000, 136–186. Transl. from Russian (1909).]
- Béloszténecz 1740 — Béloszténecz J. *Gazophylacium Illyrico-Latinum*. Zagrabia, 1740.
- Benešić 1949 — Benešić J. *Hrvatsko-poljski rječnik*. Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske, 1949.
- Benić 2014 — Benić M. *Opis govora Kukljice*. Ph.D. diss., Sveučilište u Zagrebu, 2014.
- Bjažić, Dean 2002 — Bjažić S., Dean A. *Zlarin. Kratka povijest i rječnik*. Zagreb: Prometej, 2002.
- Blažeka, Rob 2014 — Blažeka Đ., Rob G. *Rječnik Murskog Središća*. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2014.
- Bojanić, Trivunac 2002 — Бојанић М., Тривунац Р. *Рјечник дубровачког говора*. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2002. [Bojanić M., Trivunac R. *Rječnik dubrovačkog govora* [Dictionary of Dubrovnik dialect]. Belgrade: Institute of the Serbian language, 2002.]
- Bolotov, Oslon 2019 — Болотов С. Г., Ослон М. В. «Правило Лескина — Отрембского — Смочиньского» и мнимые исключения из закона де Соссюра. *Балто-славянские исследования*, 2019, XX: 55–91. [Bolotov S. G., Oslon M. V. “Leskien–Otrębski–Smoczyński rule” and false exceptions from Saussure’s law. *Balto-slavyanskije issledovaniya*, 2019, XX: 55–91.]
- Božanić 2011 — Božanić J. *Lingua halieutica: ribarski jezik Komize*. Split: Književni krug Split, 2011.
- Božin 2017 — Božin D. *Rječnik i govor starih žitelja otoka Rave*. Zadar: Ogranak Matice hrvatske u Zadru, 2017.
- Brabec et al. 1961 — Brabec I., Hraste M., Živković S. *Gramatika hrvatskosrpskog jezika*. Zagreb: Školska knjiga, 1961.
- BSR — Halilović S., Halilović A. *Bosansko-slovenski rječnik / Bosansko-slovenski slovar*. Sarajevo: Slavistički komitet; Ljubljana: Kulturno izobraževalni zavod Averroes, 2014.
- Bucić 2016 — Bucić I. *Rječnik govora sela Jasenica*. Zadar: Ogranak Matice hrvatske u Zadru, 2016.
- Budmani 1883 — Budmani P. Dubrovački dijalekt, kako se sada govori. *Rad JAZU*, 1883, 65: 155–179.
- Čirgić 2007 — Čirgić A. *Govor podgoričkih muslimana (sinhrona i dijahrona perspektiva)*. Cetinje: Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“, 2007.
- Čirgić, Šušanj — Čirgić A., Šušanj J. *Akcenatski savjetnik*. Podgorica: Ministarstvo prosvjete, 2013.
- Čuljat 2004 — Čuljat M. *Ričnik ličke ikavice*. Gospić: Lik@ press, 2004.
- Čurković 2014 — Čurković D. *Govor Bitulića*. Ph.D. diss., Sveučilište u Rijeci, 2014.
- Došen 2020 — Došen B. *Rječnik Radošinovca i okolice*. Zadar: Ogranak Matice hrvatske u Zadru, 2020.
- Dybo 1981 — Дыбо В. А. *Славянская акцентология. Опыт реконструкции системы акцентных парадигм в праславянском*. М.: Наука, 1981. [Dybo V. A. *Slavyanskaya aktsentologiya. Opyt rekonstruktsii aktsentnykh paradigim v praslavyanskom* [Slavic accentology. Reconstructing accentual paradigms in Proto-Slavic]. Moscow: Nauka, 1981.]
- ERj — *Hrvatski enciklopedijski rječnik*. Matasović, R., Jojić, Lj. (eds). Zagreb: Novi liber, 2002.
- Finka, Šojat 1973 — Finka B., Šojat A. O slavonskom dijalektu ekavskoga izgovora u okolici Vinkovaca. *Rasprave Instituta za jezik*, 1973, 2: 7–19.
- Gagić 2017 — Gagić M. *Rječnik pazinskoga govora*. Pazin: Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre Pazin; Zadar: Ogranak Matice hrvatske u Zadru, 2017.
- Galović 2019 — Galović F. *Govori otoka Šolte*. Zagreb: Općina Šolta; Hrvatsko katoličko sveučilište, 2019.
- Greenberg 1999 — Greenberg M. L. Slovarček središkega govora (na osnovi zapisov Karla Ozvalda). *Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies*, 1999, 2: 128–175.
- Greenberg 2000 — Greenberg M. L. *A historical phonology of the Slovene language*. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 2000.
- Halilović 1996 — Halilović S. *Govorni tipovi u međuriječju Neretve i Rijeke Dubrovačke*. (Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, VII.) Sarajevo: Institut za jezik, 1996.
- HHG — Hamm J., Hraste M., Guberina P. Govor otoka Suska. *Hrvatski dijalektološki zbornik*, 1956, 1: 7–213.
- Houtzagers 1985 — Houtzagers H. P. *The čakavian dialect of Orlec on the island of Cres*. Amsterdam: Rodopi, 1985.
- HFR — Dayre J., Deanović M., Maixner R. *Hrvatskosrpsko-francuski rječnik*. 2nd edn. Zagreb: Novinarsko izdavačko poduzeće, 1960.
- HSTR — Deanović M., Jernej J. *Hrvatsko ili srpsko talijanski rječnik*. Zagreb, Školska knjiga, 1989⁷.
- Ivančić Dusper, Bašić 2013 — Ivančić Dusper Đ., Bašić M. *Rječnik crikveničkoga govora*. Crikvenica: Centrar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić, 2013.

- Ivšić 1907 — Ivšić S. Šapinovačko narječje. *Rad JAZU*, 1907, 168: 113–162.
- Ivšić 1913 — Ivšić S. Današnji posavski govor. *Rad JAZU*, 1913, 196(I): 124–254; 197(II): 9–138.
- Jahić 2012 — Jahić Dž. *Rječnik bosanskog jezika*. T. 4: K–Kor. Sarajevo: Sejtarija, 2012.
- Jakšić 2015 — Jakšić M. *Rječnik govora slavonskih, baranjskih i srijemskih*. Zagreb: Naklada Nedićko Dominović, 2015.
- Japunčić 1996 — Japunčić M. *Taslak: rječnik Sv. Roka*. Zagreb, 1996.
- Jedvaj 1956 — Jedvaj J. Bednjanski govor. *Hrvatski dijalektološki zbornik*, 1956, 1: 279–330.
- JJS — Starčević A. Kapović M., Sarić D. *Jeziku je svejedno*. Zagreb: Sandorf, 2019.
- Jurić 2020 — Jurić A. Fonološki sustav govora Okruga Gornjeg. *Hrvatski dijalektološki zbornik*, 2020, 24: 143–181.
- Jurišić 1973 — Jurišić B. *Rječnik govora otoka Vrgade, uspoređen s nekim čakavskim i zapadnoštokavskim govorima. II dio, Rječnik*. Zagreb: JAZU, 1973.
- Kalčić et al. 2014 — Kalčić S., Filipi G., Milovan V. *Rječnik roverskih i okolnih govora*. Pazin: Matica hrvatska Pazin; Zagreb: Naklada Dominović; Pula: Znanstvena udruga Mediteran, 2014.
- Kalogjera et al. 2008 — Kalogjera D., Fattorini Svoboda M., Josipović Smojver V. *Rječnik govora grada Korčule*. Zagreb: Novi liber, 2008.
- Kalsbeek 1998 — Kalsbeek J. *The Čakavian dialect of Orbanjci near Žminj in Istria*. Amsterdam: Rodopi, 1998.
- Kapović 2008 — Kapović M. O naglasku u staroštokavskom slavonskom dijalektu. *Croatica et Slavica Iadertina*, 2008, IV: 115–147.
- Kapović 2011 — Kapović M. Historical development of adjective accentuation in Croatian (suffixless, *-ьнъ and *-ькъ adjectives). *Proc. of the 6th International workshop on Balto-Slavic accentology (Baltistica VII Priedas)*. Rinkevičius V. (ed.). Vilnius: Vilnius Univ., 2011, 103–128, 339–448.
- Kapović 2015 — Kapović M. *Povijest hrvatske akcentuacije. Fonetika*. Zagreb: Matica hrvatska, 2015.
- Kapović 2018 — Kapović M. Povijest glagolske akcentuacije u štokavskom (i šire). *Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje*, 2018, 44/1: 159–285.
- Kapović 2019 — Kapović M. Shortening, lengthening, and reconstruction: Notes on historical Slavic accentology. *Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje*, 2019, 45/1: 75–133.
- Kapović 2020 — Kapović M. Accentology. *Encyclopedia of Slavic languages and linguistics*. Greenberg M. L. (ed.). Leiden: Brill, 2020. https://www.academia.edu/42775901/Accentology_ESSL.
- Kašić 1990 — Kašić B. *Hrvatsko-talijanski rječnik s konverzacijskim priručnikom*. Zagreb: Kršćanska sadašnjost; Zavod za jezik IFF, 1990.
- Kašić 1995 — Kašić Z. Govor Konavala. *Srpski dijalektološki zbornik*, 1995, XLI: 241–396.
- Klaić 2007 — Klaić A. B. *Bizovačko narječje*. Bizovac: Matica hrvatska, Ogranak Bizovac, 2007.
- Klaić 2013 — Klaić B. *Naglasni sustav standardnoga hrvatskog jezika*. Izvorni rukopis uredio B. Smiljanić. Zagreb: Nova knjiga Rast, 2013.
- Kraljević 2013 — Kraljević A. *Ričnik zapadnoercegovackoga govora*. Široki Brig: Ogranak Matice hrvatske u Širokom Brijegu; Zagreb: DAN, 2013.
- Kranjčević 2003 — Kranjčević M. *Ričnik gacke čakavščine. Kõnpoljski divân*. Otočac: Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke, 2003.
- Lipljin 2002 — Lipljin T. *Rječnik varaždinskoga kajkavskog govora*. Varaždin: Garestin d.o.o., 2002.
- Lisac 2009 — Lisac J. *Hrvatska dijalektologija*. T. 2: Čakavsko narječje. Zagreb: Golden marketing; Tehnička knjiga, 2009.
- LKŽ — *Lietuvių kalbos žodynas (t. I–XX, 1941–2002): elektroninis variantas* [Website]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005–2017. <http://www.lkz.lt/>.
- Lukežić, Zubčić 2007 — Lukežić I., Zubčić S. *Grobnički govor XX. stoljeća (gramatika i rječnik)*. Rijeka: Katedra Čakavskog sabora Grobniščine, 2007.
- Mandić 2009 — Mandić D. Akut u jugozapadnim istarskim govorima. *Hrvatski dijalektološki zbornik*, 2009, 15: 83–109.
- Maresić, Miholek 2011 — Maresić J., Miholek V. *Opis i rječnik đurđevačkoga govora*. Đurđevac: Gradska knjižnica Đurđevac, 2011.
- Martinović 2005 — Martinović Ž. *Rječnik govora otoka Iža*. Zadar: Gradska knjižnica Zadar, 2005.
- Matković 2004 — Matković D. *Rječnik frazema i poslovice govora Vrboske na otoku Hvaru*. Jelsa: Matica hrvatska, 2004.
- Matković 2021 — Matković M. *Moji Zmijavci. Rječnik običajnik jednoga sela i drugih sela u Imotskoj krajini*. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2021.
- Milas 1903 — Milas M. Današnji mostarski dijalekat. *Rad JAZU*, 1903, 153: 47–97.

- Milat Panža 2015 — Milat Panža P. *Rječnik govora Blata na Korčuli*. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2015.
- Miletić 2019 — Miletić C. *Slovník kastafského govora*. Kastav: Udruga Čakavski senjali, 2019.
- Moguš 2002 — Moguš M. *Senjski rječnik*. Zagreb: HAZU; Senj: Matica hrvatska Senj, 2002.
- Mohorovičić-Maričin 2001 — Mohorovičić-Maričin F. *Rječnik čakavskog govora Rukavca i bliže okolice*. Rijeka: Adamić, 2001.
- Moskovljević 2000 — Московљевић М. С. *Речник савременог српског књижевног језика с језичким саветником*. Београд: Гутенбергова галаксија, 2000. [Moskovljević M. S. *Rečnik savremenog srpskog književnog jezika s jezičkim savetnikom* [Dictionary of modern literary Serbian with a usage guide]. Belgrade: Gutenbergova Galaksija, 2000.]
- Nežić 2013 — Nežić I. *Fonologija i morfologija čakavskih ekavskih govora Labinštine*. Ph.D. diss., Sveučilište u Rijeci, 2013.
- NHKJ — Vukušić S., Zoričić I., Grasselli-Vukušić M. *Naglasak u hrvatskome književnom jeziku*. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2007.
- Nikolić 1964 — Николић Б. М. Сремски говор. *Српски дијалектолошки зборник*, 1964, 14. [Nikolić B. M. The dialect of Srem. *Srpski dijalektološki zbornik*, 1964, 14.]
- Nikolić 1966 — Николић Б. М. Мачвански говор. *Српски дијалектолошки зборник*, 1966, 16: 179–314. [Nikolić B. M. The Mačva dialect. *Srpski dijalektološki zbornik*, 1966, 16: 179–314.]
- Novak, Novak 2009 — Novak F., Novak V. *Slovar beltinskoga prekmurskega govora*. 2nd edn. Murska Sobotica: Pomurska založba, 2009.
- Oslon 2021 — Ослон М. В. Ещё один довод в пользу восходящего контура праславянского старого акута. [Oslon M. V. Another piece of evidence in favor of the rising contour of the Proto-Slavic old acute.] *Jezikoslovni zapiski*, 2021, 27: 203–211.
- Peruško 2010 — Peruško M. *Rječnik međulinskoga govora*. Medulin: Društvo kulturno umjetničkog stvaralaštva Mendula, 2010.
- Petrić 2008 — Pertić Ž. *Splitski rječnik (Rječnik starih splitskih riječi i izraza)*. Split: Naklada Bošković, 2008.
- Piasevoli 1993 — Piasevoli A. *Rječnik govora mjesta Sali na Dugom otoku*. Zadar: Ogranak Matice hrvatske Zadar, 1993.
- Piasevoli 1999 — Piasevoli A. *Saljska intrada. Nazivlje po djedovima našim*. Zadar; Sali: Matica hrvatska Zadar, 1999.
- Piccoli, Sammartino 2000 — Piccoli A., Sammartino A. *Dizionario dell'idioma croato-molisano di Montemitro / Rječnik moliškohrvatskoga govora Mundimitra*. Montemitro: Fondazione “Agostina Piccoli”; Zagreb: Matica hrvatska, 2000.
- Pleteršnik — Pleteršnik M. *Slovensko-nemški slovar*. T. I–II. Ljubljana: Knezoškofijstvo, 1894.
- Radovanović 2014 — Радовановић Д. Говор Ваљевске Подгорине. *Српски дијалектолошки зборник*, 2014, LXI: 7–366. [Radovanović D. The dialect of Valjevska Podgorina. *Srpski dijalektološki zbornik*, 2014, LXI: 7–366.]
- Radulić 2002 — Radulić L. *Rječnik rivanjskog govora*. Zadar: Matica hrvatska Zadar, 2002.
- Ramovš 1921 — Ramovš F. O slovenskem novoakutiranem *ò* > *ó*, *ô*, *ö*. *Јужнословенски филолог [Južnoslovenski filolog]*, 1921, 2: 227–239.
- RBJ — *Rječnik bosanskog jezika*. Čedić I., Hajdarević H., Kadić S., Kršo A., Valjevac N. (eds.). Sarajevo: Institut za jezik u Sarajevu, 2007.
- Rešetar 1900 — Rešetar M. *Die serbokroatische Betonung südwestlicher Mundarten*. Wien: Alfred Hölder, K. u K. Hof- und Universitäts-Buchhandler, 1900.
- RHJ — *Rječnik hrvatskoga jezika*. Šonje J. (ed.). Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža; Školska knjiga, 2000.
- RKDI — Hanzir Š., Horvat J., Jakolić B., Jozić Ž., Lončarić M. *Rječnik kajkavske donjosutlanske ikavice*. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2015.
- Ròki Fortunato 1997 — Ròki Fortunato À. *Libar viškiga jazika*. Toronto: Univ. of Toronto Press, 1997.
- RSANU — *Речник српскохрватског књижевног и народног језика*. Књига 1–21. Београд: Српска академија наука и уметности, 1959–2020. [*Rečnik srpskohrvatskoga književnog i narodnog jezika* [Dictionary of literary and colloquial Serbo-Croatian]. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, 1959–2020.]
- RSJ — *Речник српског језика*. Вујанић, М., Николић, М. (ур.). Нови Сад: Матица српска, 2007. [*Rečnik srpskoga jezika* [Dictionary of Serbian]. Vujanich M., Nikolić M. (eds.). Novi Sad: Matica Srpska, 2007.]

- RSHKJ — *Речник српскохрватскога књижевног језика*. Књига 1–6. Нови Сад: Матица српска; Загреб: Матица хрватска, 1967–1976. [*Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika* [Dictionary of literary Serbo-Croatian language]. Vols. 1–6. Novi Sad: Matica Srpska; Zagreb: Matica Hrvatska, 1967–1976.]
- Sekereš 1966 — Sekereš S. Govori našičkog kraja. *Hrvatski dijalektološki zbornik*, 1966, 2: 209–301.
- Sekulić 2005 — Sekulić A. *Rječnik govora bačkih Hrvata*. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje; Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost “Ivan Antunović”, 2005.
- Smoljan 2013 — Smoljan A. *Rječnik govora otoka Ista*. Zadar: Matica hrvatska, Ogranak Zadar, 2013.
- SSKJ — Gliha Komac N. et al. *Slovar slovenskega knjižnega jezika*. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2000.
- Stanić 1990–1991 — Станић М. *Ускочки речник*. Т. I–II. Београд: Научна књига, 1990–1991. [Stanić M. *Uskočki rečnik* [Uskoci dictionary]. Vols. I–II. Belgrade: Naučna Knjiga, 1990–1991.]
- Stevanović 1940 — Стевановић М. С. Систем акцентуације у пиперском говору. *Српски дијалектолошки зборник*, 1940, X: 67–184. [Stevanović M. S. Accentuation system in the Piperian dialect. *Srpski dijalektološki zbornik*, 1940, X: 67–184.]
- Šamija 2012 — Šamija I. B. *Rječnik jezika hrvatskoga*. Zagreb: Društvo Lovrečana Zagreb; Grafika Markulin, 2012.
- Šatović, Kalinski 2012 — Šatović F., Kalinski I. *Rječnik hrvatskoga kajkavskoga prigorskoga govora za grebečkoga Čerja*. Zagreb: Pučko otvoreno učilište Sv. Ivan Zelina, 2012.
- Šimundić 1971 — Šimundić M. *Govor Imotske krajine i Bekije*. Sarajevo: ANUBiH, 1971.
- Šimunić 2013 — Šimunić B. *Rječnik bibinjskoga govora*. Zadar: Ogranak Matice hrvatske u Zadru, 2013.
- Šimunović 2009 — Šimunović P. *Rječnik bračkih čakavskih govora*. 2nd edn. Zagreb: Golden marketing; Tehnička knjiga, 2009.
- Šimunović 2011 — Šimunović P. *Čakavska čitanka. Tekstovi — prikazbe — priručni rječnik — bibliografija*. Zagreb: Golden marketing; Tehnička knjiga, 2011.
- Šojat 1982 — Šojat A. Turopoljski govori. *Hrvatski dijalektološki zbornik*, 1982, 6: 317–493.
- ŠRHJ — *Školski rječnik hrvatskoga jezika*. Hudeček L., Mihaljević M. (eds.). Zagreb: Školska knjiga; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2012.
- Šurmin 1895 — Šurmin Đ. Osobine današnjega sarajevskoga govora. *Rad JAZU*, 1895, 121: 186–209.
- Tokić, Magaš 2018 — Tokić N., Magaš I. *Rječnik sela Popovića*. Zadar: Ogranak Matice hrvatske u Zadru, 2018.
- Tomelić Ćurlin 2019 — Tomelić Ćurlin M. *Jezične posebnosti peljeških govora. Fonologija*. Split: Sveučilište u Split, 2019.
- Valčić 2012 — Valčić A. T. *Rječnik govora otoka Ošljaka*. Zadar: Matica hrvatska; Ogranak u Zadru, 2012.
- Večenaj, Lončarić 1997 — Večenaj I., Lončarić M. *Rječnik govora Gole. Srednjopodravska kajkavština*. Zagreb: IHJJ, 1997.
- Velčić 2003 — Velčić N. *Besedar Bejske tramuntane*. Mali Lošinj: Katedra Čakavskog sabora Cres-Lošinj; Beli: Tramuntana; Rijeka: Adamić, 2003.
- Vranić, Oštarić 2016 — Vranić S., Oštarić I. *Rječnik govora Novalje na otoku Pagu*. Novalja: Grad Novalja; Ogranak Matice hrvatske u Novalji; Sveučilište u Rijeci, 2016.
- VRHSJ — *Veliki rječnik hrvatskoga standardnog jezika*. Jojić Lj. (ed.). Zagreb: Školska knjiga, 2015.
- Vuk — Караџић В. С. *Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима*. 4. издање. Београд: Штампарија Краљевине Југославије, 1935. [Karadžić V. S. *Srpski rječnik istumačen njemačkijem i latinskijem riječima* [Serbian dictionary, interpreted with German and Latin words]. 4th edn. Belgrade: Typography of the Kingdom of Yugoslavia, 1935.]
- Vuković 2001 — Vuković S. *Ričnik sēlaščkēga gōvora. Rječnik dijalekta Selaca na otoku Braču*. Split: Laus, 2001.
- Vukša Nahod 2017 — Vukša Nahod P. *Slivanjski govori: fonologija i morfologija*. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2017.
- Zaliznyak 2010 — Зализняк А. А. *Труды по акцентологии*. Т. I. М.: Языки славянских культур, 2010. [Zaliznyak A. A. *Trudy po aktsentologii* [Works in accentology]. Vol. I. Moscow: Yazyki Slavyanskikh Kul'tur, 2010.]

The division of GENDER

© 2022

Olga Steriopolu

Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS), Berlin, Germany;
olgasteriopolu@hotmail.com

Elena Steriopolu

Kyiv National Linguistic University, Kyiv, Ukraine; osteriopolu@gmail.com

Abstract: The paper investigates the connection between grammatical gender of human nouns and social gender and biological sex of their referents, focusing on the instances of mismatch between them. We analyze data from various languages and conclude that discrepancies between the biological sex of an individual and grammatical gender used in reference to that individual can be accounted for via sociological factors, namely the social roles, status and social behaviours that are considered (in)appropriate in a given society. We propose a pyramid structure, in which grammatical gender is based on social gender, and social gender, in turn, operates in relation to the assumed biological sex of a referent. We show that although there is not always a canonical correspondence between the three levels of the pyramid, there is a hierarchical dependence of the different gender levels upon each other.

Keywords: gender, human, sex, social gender

Acknowledgements: We are very grateful to the editor, Lev Kozlov, and the anonymous reviewers for their extremely helpful suggestions and discussion of this work, as well as to Christin Schütze and David Ronder for their helpful advice. This research was supported by a DFG (German Research Foundation) research grant to Olga Steriopolu (STE 2361/4-3).

For citation: Steriopolu O., Steriopolu E. The division of GENDER. *Voprosy Jazykoznanija*, 2022, 1: 59–84.

DOI: 10.31857/0373-658X.2022.1.59-84

Гендерная пирамида: несоответствия между грамматическим родом, полом и гендером

Ольга Стериополо

Центр общего языкознания Ассоциации Лейбница, Берлин, Германия;
olgasteriopolu@hotmail.com

Елена Стериополо

Киевский национальный лингвистический университет, Киев, Украина; osteriopolu@gmail.com

Аннотация: В статье исследуется связь грамматического рода личных существительных с гендером и полом их референтов; основное внимание уделяется случаям несовпадения рода с гендером и/или полом. На основании материала из различных языков делается вывод, что несоответствия между грамматическим родом и полом во многих случаях можно объяснить, рассмотрев их связь с социальными ролями, статусами и поведением, считающимся уместным или неуместным в данном обществе, в первую очередь — с гендером. Мы представляем эти связи в виде

трехуровневой пирамиды, в которой грамматический род базируется на социокультурном понятии гендера, а гендер, в свою очередь, имеет в качестве основы биологический пол. Мы показываем, что, хотя в ряде случаев каноническое соответствие между уровнями «гендерной пирамиды» нарушается, существует иерархическая зависимость одного уровня от другого.

Ключевые слова: гендер, личность, пол, род

Для цитирования: Steriopolo O., Steriopolo E. The division of GENDER. *Voprosy Jazykoznanija*, 2022, 1: 59–84.

DOI: 10.31857/0373-658X.2022.1.59-84

To our inspiring teacher, Lev Rafailovič Zinder

Introduction

In modern theoretical linguistics, studies of grammatical gender often investigate isolated linguistic data across languages without referring to socio-cultural contexts in which the languages are spoken. Such studies create a lack of understanding of certain important phenomena related to grammatical gender. For example, why do mismatches between the assumed biological sex of human referents and their grammatical gender create positive emotions in some cultures, while evoking negative emotions in others? Why is the masculine gender employed by morphological default¹ in many Indo-European and Afroasiatic languages (see [Hellinger, Bußmann 2001; 2002; 2003; Motschenbacher 2015]), while feminine can be used as the default gender in e.g. some languages of Africa, Australia, and the Americas [Aikhenvald 2000; Alpher 1987; Amadiume 1987; Bani 1987; Dixon 2000; Heaton, Anderson 2017; Michelson 2015; Motschenbacher 2010]?² Why are diminutives formed with feminine gender morphology in some languages, yet masculine morphology in others? These are just a few of the questions that cannot be fully answered without a socio-cultural level of analysis.

In this work, we propose including two additional levels of analysis for a broader and more accurate understanding of grammatical gender used in reference to human beings, namely social GENDER (i.e., social status and roles) and biological SEX. It is widely known that although grammatical gender³ is linked to biological sex (or ‘sex-based’) in a majority of gendered languages, there are mismatches between grammatical gender and biological sex (e.g., [Aikhenvald 2012; 2016; Corbett 1991; Doleschal, Schmid 2001; Stump 1993; Payne 1998; Pet 2011; Tobin 2001; Zareba 1984]) as well as between social gender and biological sex (e.g., [Borba, Ostermann 2007; Hall, O’Donovan 1996; Hellinger, Bußmann 2001–2003; Johnsen 2008; Michelson 2015; Motschenbacher 2010; 2015; 2016], among many others).

The contribution of this work is twofold. First, we propose considering all three levels of analysis (grammatical, social and biological) for a better understanding of the phenomenon of grammatical gender across languages, rather than studying grammatical gender in isolation from the other levels. Second, we propose a pyramid structure of the gender category in which all three levels of gender are interrelated, with a higher level being dependent on a lower one. Namely, in languages with the so-called ‘sex-based gender systems’, the grammatical gender of human nouns is actually based on the social gender of the referent; and social gender, in turn, is based on the referent’s assumed biological sex (see also § 2.5, for a similar dependence on animacy in languages with ‘animacy-based gender systems’). We show that mismatches or discrepancies between the grammatical gender and biological sex of human referents across languages

¹ For example, in order to refer to individuals of unknown sex or mixed groups of people.

² However, we observe a cross-linguistic asymmetry here, as the masculine default is more frequently used across languages compared to the feminine default (e.g., [Aikhenvald 2000: 54; Motschenbacher 2010: 35]).

³ The term “grammatical gender” is discussed in § 2.4.

can be accounted for by referring to the social level of analysis, namely social roles, behaviours and attitudes that may be considered appropriate (or inappropriate) for people of different sexes across cultures.

Corbett [2013a; 2013b] documents 257 languages in the *World Atlas of Language Structures*, 112 of which are gendered. Of these 112 gendered languages, 84 (or three quarters) are sex-based. The remaining 28 are not sex-based, being mostly based on animacy and humanness. We will also suggest how the present analysis of gender can be expanded to account for humanness and animacy across languages.

In § 1, we present some linguistic puzzles involving grammatical gender mismatches. In § 2, we propose a pyramid structure of GENDER and discuss the connections and mismatches between the different levels of the structure. In § 3, we conclude.

1. Linguistic puzzles

When investigating grammatical gender, researchers observe that in some languages, mismatches between human sex and grammatical gender can create positive emotions such as endearment, solidarity or prestige ([Aikhenvald 2012; 2016; Doleschal, Schmid 2001; Mosel, Spriggs 2000; Pankhurst 1992; Pet 2011; Tobin 2001; Wołk 2009]; see also [Khaidakov 1963] and [Zaręba 1984], as discussed in [Corbett 1991]).

Consider, for example, the Russian sentences (1a–b).

- (1) RUSSIAN, adapted from [Doleschal, Schmid 2001: 265]
- a. *Liz-a* *u* *nas* *xoroš-aja* / **xoroš-ij*.
 Liza-SG.NOM with us good-F.SG.NOM good-M.SG.NOM
 ‘Liza is good.’
- b. *Liz-ok* *u* *nas* *xoroš-ij*.
 Liza-EVAL.M[SG.NOM] with us good-M.SG.NOM
 ‘Little Lizzy is a good sport.’

In (1a), the female name *Liza* triggers feminine gender agreement, as evidenced by the feminine suffix *-aja* on the word *xoroš-aja* ‘good’. In (1b), the same female name is used with the masculine diminutive suffix *-ok*. The resulting noun *Liz-ok* triggers masculine grammatical agreement, as indicated by the masculine suffix *-ij* on the word *xoroš-ij* ‘good’. According to Doleschal and Schmid [2001: 265], such a use occurs in ‘Motherese’⁴ and has an endearing function⁵.

In contrast to the Russian data in (1b), mismatches between the biological sex of a referent and grammatical gender agreement can evoke negative emotions (e.g., distress, derogation) in some other languages (see [Aikhenvald 2012; 2016; Payne 1998; Stump 1993]). Consider, for example, the data in (2a–b) from Manambu (the Ndu family, spoken in five villages in the Sepik area of New Guinea). In Manambu, males are normally referred to with masculine gender, as in (2a), and females with feminine gender, as in (2b) [Aikhenvald 2012; 2016].

- (2) MANAMBU [Aikhenvald 2012: 39]
- a. *ke-də* *numa-də* *du* *wiya:m* *kwa-na-d*
 this-M.SG big-M.SG man house.LOC stay-PRES-M.SG
 ‘This big man stays in the house.’

⁴ ‘Motherese’ is a form of language that mothers use to talk to their babies.

⁵ However, the opposite gender mismatch (referring to males with feminine gender) has a derogatory meaning in Russian (see [Aikhenvald 2012: 70–71]). Thus, Aikhenvald comments that it is even more derogatory to call a man *dura* ‘fool’ (feminine), than *durak* ‘fool’ (masculine) (the translation is by the authors).

- b. *kə-Ø* *numa-Ø* *ta:kw* *wiya:m* *kwa-na-Ø*
 this-F.SG big-F.SG woman house.LOC stay-PRES-F.SG
 ‘This big woman stays in the house.’

Any use of the opposite gender — feminine for a man or masculine for a woman — is considered derogatory. Aikhenvald [2016] observes that utterances such as (3a–b) are not normally said to someone’s face because they are likely to be perceived as highly offensive.

(3) MANAMBU [Aikhenvald 2012: 53, 54]

- a. *kə-Ø* *numa-Ø* *du*
 this-F.SG big-F.SG man
 ‘this fat round man’ (smallish)

- b. *kə-də* *numa-də* *ta:kw*
 this-M.SG big-M.SG woman
 ‘this (unusually) big, boisterous, or bossy woman’

With respect to the Russian and Manambu data above, the following research questions arise: why do gender mismatches create different emotions, either positive or negative, across languages and within a single language? Second, what determines emotive gender asymmetries within a single language? For example, in Russian, referring to females with masculine gender creates positive emotions in certain contexts, whereas referring to males with feminine gender evokes negative emotions ([Aikhenvald 2012: 70–71]; see also [Schulz 1975] on a cross-linguistic asymmetry in the emotive use of feminine and masculine forms, with feminine ones being more negative). We propose that the socio-cultural level of analysis must be considered in order to answer these questions.

In Maale (a North Omotic language spoken in southwestern Ethiopia), the masculine gender affix can be used as an augmentative, as in (4a), and the feminine affix as a diminutive, as in (4b). Notice the absence of adjectives such as ‘big’ and ‘small’ in the data below. The augmentative / diminutive meanings are solely expressed by the gender affixes *-átsí* (masculine) and *-ell-ó* (feminine).

(4) MAALE [Amha 2001: 71]

- a. *máár-átsí* *mazɜ-int-éne*
 house-M.NOM build-PASSIVE-VERB

‘The big house is built’ (augmentative).

- b. *yénno* *mís-ell-ó* *dóngo* *ʔas-á* *bukinti* *wolla* *túg-áne*
 that.F.ABS tree-F-ABS five person.PL-NOM gather together uproot-VERB

‘Five people gather together and uproot that small tree’ (diminutive).

By contrast, the feminine gender is associated with largeness in Hadza, an endangered isolate spoken in Tanzania [Edenmyr 2004], and in Tiwi, an Australian Aboriginal language spoken on the Tiwi Islands [Osborne 1974], as in the examples (5) and (6), respectively. Unfortunately, both authors give the data in isolation, without agreement patterns. We have to rely on the authors’ judgements with respect to the grammatical genders, masculine or feminine, of these nouns.

(5) HADZA [Edenmyr 2004: 16]

- a. *ʔato*
 axe.M
 ‘axe’

- b. *ʔato-ko*
 axe-F
 ‘large axe’

(6) TIWI [Osborne 1974: 51]

- a. *waliwali-ni*
 ant-M
 ‘small ant’

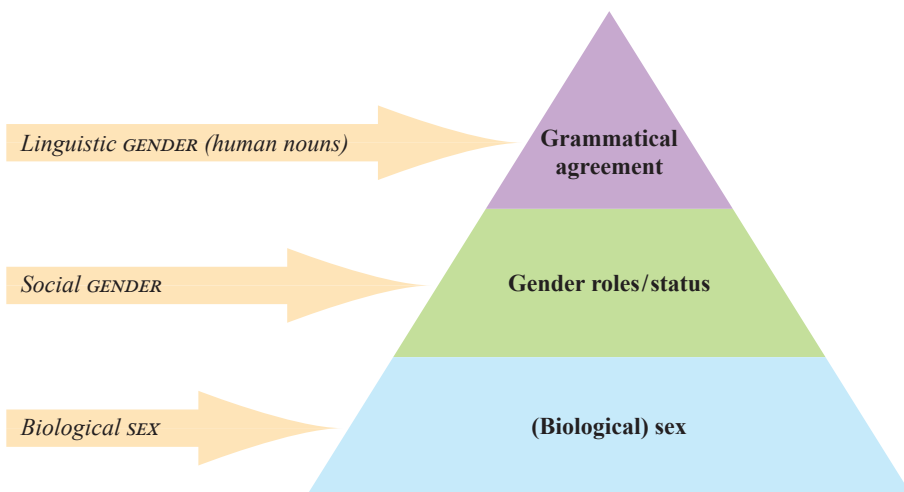
- b. *waliwali-ŋa*
 ant-F
 ‘large ant’

The question arising from these data is why in some languages smallness and largeness are associated with feminine and masculine gender, respectively, while in others the association is the opposite, as in (5) and (6) above. We suggest that it depends on the socio-cultural context, namely how masculinity and femininity are perceived and valued across different cultures and societies.

2. A pyramid structure

We propose a pyramid structure, as shown in (7) below, in which grammatical gender (or linguistic GENDER) used in reference to an individual is based on the social roles and/or status of that individual in society (or social GENDER). Social GENDER, in turn, is based on biological SEX.⁶ An important observation is in order here concerning understanding of the term ‘biological SEX’. As will be discussed in § 2.1, human sex can be determined on the basis of *chromosomal makeup* (i.e., the presence or absence of the Y chromosome). However, when we talk about someone whose medical facts are unknown to us, we often assume their biological sex on the basis of visible indirect sexual characteristics such as that person’s anatomical traits⁷. Thus, when talking about a human being, especially someone we do not know well, we often assume their sex based on their appearance and/or their name. For this reason, we suggest that it is more appropriate to use the term ‘assumed biological sex’. If the referent’s sex is ambiguous, unknown or simply unimportant to a speaker, it is a well-known fact that in languages with grammatical gender either gender-neutral or grammatical ‘default’ gender forms are often used⁸ [Hayward 1989; Corbett, Fraser 2000; Corbett 1991; 2007; Kramer 2015; Preminger 2014]. The novelty of the current proposal is the claim that discrepancies between the assumed sex of an individual and grammatical gender

(7)



⁶ In traditionally patriarchal societies (the term is from [Nübling, Lind 2021: 122]), this connection is much stronger than in modern Western societies, where more fluidity between human sexes and genders is observed (the term ‘fluid’ is from [Ackerman 2019: 12]).

⁷ We are grateful to Christin Schütze for a helpful discussion and suggestions on the issue of ‘assumed sex’.

⁸ As, for example, referring to a mixed group of people.

used in reference to that individual are rooted in the intermediate part of the proposed pyramid (i.e., the level of social gender). Thus, a deliberate change in the use of grammatical gender when referring to a person may signal a change in that person's social role / status or express an emotive attitude (positive or negative) on the part of the speaker towards that person. An exception is when our assumptions about someone's sex prove to have been incorrect. In that case, a change in grammatical gender indicates a change in our assumptions, not in the person's social position.

In the structure in (7), linguistic gender is just the 'tip of the iceberg' and thus cannot be fully understood without reference to the social component of the analysis. The structure illustrates that one should refer to all three levels of analysis (linguistic, social and biological) for a broader and more accurate picture of the GENDER category across languages.⁹

We use GENDER as a cover term for consistency, although one should bear in mind that in biology and sexology, the term '(biological) sex' is used. In sociology, social psychology and gender studies, the terms 'gender role' and 'gender status' are used. And in linguistics, the terms 'grammatical gender' and 'grammatical agreement' are used.

The proposed structure makes certain predictions. First, the three levels of analysis are interrelated starting from the bottom up, which means that the higher we look, the greater is the dependence on the lower level(s) of analysis. Second, when it comes to mismatches in the use of grammatical gender, we observe that there is no direct connection between the highest (grammatical gender) and lowest (biological sex) levels of the structure. These two levels are connected *through* the intermediate level of the structure, namely social gender. This means that any mismatch between the assumed biological sex of an individual and grammatical agreement used in reference to that individual can be accounted for by analysing the social roles / social status of that individual, including the speaker's attitudes and emotions toward that person's roles or statuses.

In what follows, we will discuss each level of analysis from the bottom up, starting with biological sex, and considering the connections and discrepancies between all three levels.

2.1. Biological sex

According to the World Health Organization (WHO), **sex** is a category that "...refers to a set of biological attributes in humans and animals. Sex is mainly associated with physical and physiological features including chromosomes, gene expression, hormone level and function, and reproductive and sexual anatomy".¹⁰ The biological differences in human sexes are **direct**, as defined by the presence of the SRY gene on the Y chromosome, and **indirect**, as apparent in differences in hormones and anatomy. **Sex determination** often depends on the presence or absence of a Y chromosome. Females usually have two X chromosomes (XX) and males usually have one X and one Y chromosome (XY) [Hake, O'Connor 2008].

Intersex people are individuals who are born with variations that do not fit the binary division into male or female [Griffiths 2018: 125]. Such variations may include combinations of chromosomal genotypes other than XY and XX. According to a UN (United Nations) fact sheet, "between 0.05 % and 1.7 % of the population is born with intersex traits — the upper estimate

⁹ This system excludes genderlects (men's vs. women's speech, also called 'indexical gender'), as they comprise a separate system that does not involve grammatical agreement [Rose 2018]. Rose [Ibid.: 214] notes that such a gender system is indexed in phonology and lexicon, while grammatical gender belongs to the domain of morphology. In many languages, these two systems coexist without overlapping, although see Rose [Ibid.] for rare cases of overlap.

¹⁰ "What is the difference between gender and sex?". World Health Organization. Retrieved 20 December 2021. <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/gender-and-health>.

is similar to the number of red haired people”.¹¹ The UN states that intersex people around the world are at risk of human rights violations in the form of forced surgeries and discrimination.

We will briefly discuss how the rights of intersex people are represented in Germany, since Germany has progressive legislation with regard to intersex individuals. Based on a decision by the Federal Constitutional Court, the German government passed a law that introduced a third gender option on official German records starting from December 2018. The court case involved an intersex German citizen, Vanja, a registered female whose chromosome test had confirmed neither sex. Vanja has only one chromosome, the X chromosome, which does not fit the binary sex division. The case lasted for four years and ended with the German government being ordered to institute a third gender option, which is defined as *divers*, ‘diverse’ or ‘various’. Note that in Germany, a person can only officially register as *divers* if they can provide a medical certification proving they are intersex. Thus, the three officially recognized gender options in Germany are currently: *m* (*männlich* ‘male’), *w* (*weiblich* ‘female’), and *d* (*divers* ‘diverse’).

The third gender option is seen as progressive by some members of the German LGBT*QIA+¹² community. However, the current classification excludes gender non-conforming transgender* persons who are not biologically intersex as determined by a medical professional. This law contradicts the demands that the third gender should be made available to all people who self-identify with it, as requested by German advocacy groups such as “Third Option”, which supported Vanja’s lawsuit.

Transgender* persons are individuals whose gender identity does not correspond to the normative expectations linked to one’s sex assigned at birth [Meier, Labuski 2013]. Such people may feel ‘trapped in the wrong body’ and some of them may experience **gender dysphoria** (GD or clinical distress) [Ibid.]. **Gender identity** is understood as the person’s sense of their own gender [Morrow, Messinger (eds.) 2006]. The opposite term to transgender* is **cisgender**, describing people whose gender identity generally corresponds to the sex assigned at birth [Cava 2016]. While some cisgender people can intentionally present themselves in ways that do not conform to gendered norms, transgender* are generally people for whom there is a crucial discrepancy between their gender identity and assigned biological sex.

The demographic of transgender* individuals varies widely in expression: for example, there are transgender* men, transgender* women, and non-binary transgender* persons. Some transgender* people undergo medical treatments such as hormone therapy or sex reassignment surgery (SRS), but others cannot or do not want to undergo such treatments [Meier, Labuski 2013].

Thus, the three officially recognized gender options in Germany (*m*, *w*, *d*) cover either cisgender people or medically certified intersex people. These options exclude many transgender* individuals whose gender identity does not match their assigned sex, as they are based on official medical statements rather than the person’s own gender identity.¹³ This issue was raised in the German parliament, but a law which would have created more inclusive gender options has not been adopted, as of now.

Regarding biological sex and gender identity, the following research questions are relevant for a linguist. (i) What are the linguistic means (e.g. the use of gender pronouns, grammatical gender agreement) to reflect the vast spectrum of sexuality and gender identity of gender non-conforming (e.g., transgender*) individuals in different languages? And (ii) how do they differ from other linguistic means that are normally used in reference to gender conforming (e.g., cisgender) individuals?

¹¹ “Free and Equal United Nations for LGBT Equality”. Intersex Fact Sheet. Retrieved 20 December 2021. https://unfe.org/system/unfe-65-Intersex_Factsheet_ENGLISH.pdf.

¹² LGBT*QIA+ is an abbreviation that encapsulates an ever-evolving diversity of sexual and gendered identities. It stands for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender*, Queer, Intersex, Asexual + more. The asterisk (*) is used to emphasize the plurality of ways of being transgender*.

¹³ However, based on a recent decision by the District Court of Münster, Germany, citizens can register as the third gender without a medical certification in that city, starting in 2020.

2.2. Social GENDER

According to the WHO, gender is a category that “refers to socially constructed characteristics of women and men — such as norms, roles and relations of and between groups of women and men”.¹⁴ Gender is one of the important statuses that an individual occupies in society. The term **status** is defined as a category or position that determines how a person will be defined and treated by others [Lindsey 2015: 2]. There are **achieved** statuses and **ascribed** statuses. The achieved statuses occur later in life, while ascribed statuses occur as early as from birth. An individual can occupy a number of statuses, called a ‘status set’ — daughter, mother, linguist, etc.

In gender sociology, the concept of **role** is of great importance. The role is a set of norms, values and behaviours that are associated with a certain status. Roles (including gender ones) determine the expectations and behaviours of individuals. According to Lindsey [Ibid.: 5], women / men, mothers / fathers and daughters / sons all have different gender roles attached to them. Contemporary socialization theory states that although a newborn child has an assigned biological sex, it has no gender role yet, as these have to be learned, usually from sources such as parenting, school and media. Learning gender roles can start as early as from birth, as seen, for example, in the colour of a newborn baby’s outfit. According to Connell [1987: 279], a society provides models of behaviours appropriate to the one sex or the other.

Gender sociology distinguishes between the concepts of sex and gender, a differentiation which arose in the late 1970s [West, Zimmerman 1987]. The concept of sex refers to biological differences between male, female and intersex bodies. The concept of gender, on the other hand, refers to social differences. As Lindsey [2015: 4] points out, sex makes people male or female, while gender makes them masculine or feminine. Masculinity and femininity are achieved gender statuses that have to be learned in society.

The concept of gender describes how societies determine and manage the sex categories and what cultural meanings they attach to them. According to Judith Butler’s [1990] theory of gender performativity, gender is “not an expression of what one is, but rather something that one does” (as cited in [Lloyd 1999: 196]). The ethnomethodological tradition of sociology offers a view known as ‘doing gender’ (e.g., [West, Zimmerman 1987; 2009; Jurik, Siemsen 2009]). According to this view, society influences our understanding of differences between masculinity (appropriate behaviour for men) and femininity (appropriate behaviour for women). Thus, gender is not a personal identity, but rather a social identity (or is ‘socially constructed’), because it arises from relationships with other people.

Thus, sex and gender are two distinct concepts: sex denotes biological characteristics, while gender denotes socio-cultural characteristics [Shields 2002: 11]. The concept of sex is studied in biology and sexology, while the concept of gender is studied in the social sciences and humanities.

Zevallos [2014] observes that social behaviour among men and women can differ across cultures and change over time. One example is the fact that aristocratic men wore high-heeled shoes as a symbol of status in 16th- and 17th-century Europe, whereas women started to wear them only from the mid-19th century. Another example is that in Western cultures, make-up is usually associated with women, but in Wodaabe (Niger) culture, men wear make-up and jewellery during a special ceremony to find a wife [Beckwith 1983]. In many Western cultures, it is considered feminine to wear a dress or a skirt, but in some Middle Eastern, Asian and African cultures, dresses or skirts are also masculine attributes (not to overlook the Scottish kilt).

¹⁴ “What is gender?” World Health Organization. Retrieved 20 December 2021. <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/gender-and-health>.

2.3. No canonical correspondence between biological SEX and social GENDER

In some societies, there is no officially recognized canonical correspondence between sex and gender. Lindsey [2015: 4] observes that “some cultures allow people to move freely between genders, regardless of their biological sex”. For example, Navajo Native American culture counts two further genders in addition to masculine and feminine: the feminine man (*nádleehí*) and the masculine woman (*dilbaa*). Those who identify with either of these genders are considered sacred beings called the ‘two-spirit people’. They are chosen by their communities and live their lives in the opposite gender. They can get married to a person of the opposite gender to their adopted one [Zevallos 2014]. A third gender (or ‘other’ gender) is officially recognized in some societies outside the Western culture — for example, the **hijras** of India, Bangladesh and Pakistan; **kathoeys** in Thailand; and **muze** in Zapotec cultures of Oaxaca (southern Mexico), who are considered neither male nor female. Most hijras are born male, although some of them have intersex variations. Their usual sexual partners are men. Hijras dress as females and take part in cultural ceremonies, such as births and weddings, where they are expected to sing and dance [Hall, O’Donovan 1996]. The governments of India (1994) and Pakistan (2009) have legally recognized hijras as a ‘third sex’. In India, for example, hijras have the option of identifying themselves as *eunuch* (‘E’) in official records. A kathoeys (Thailand) is a male-to-female transgender* person who does “not fit into normative categories of men and women” [Saisuwan 2016]. Kathoeys are visible and accepted in Thai society, receiving legal recognition in 2015. A muze (Mexico) is an individual who is assigned male at birth, but who dresses and behaves in ways associated with females [Lynn 2002].¹⁵ Some muze marry women and have children, while others choose men as sexual partners. According to Chiñas [1995], muze generally do not suffer from GD (as mentioned in § 2.1 above), because of their usual acceptance by society.

In pre-colonial Africa, women were allowed to marry other women (‘female husbands’, as described in [Amadiume 1987; Murray, Roscoe 1998]). Such women were typically wealthy and already married to men, as they had to pay a bride-price, which was the custom for men marrying women. An older woman who had not yet born a son could marry a younger woman in order for the younger woman to bear her a male heir, in which case the biological father had no legal rights over that child. Without a male heir, a woman was not allowed to inherit land from her family. But if her wife gave birth to a son, she could pass the inheritance on to her son. Female husbands typically took on masculine roles and stopped performing feminine roles. In such cases, there is a change in the social gender of the women (they take on masculine roles); however, their biological sex (female) remains the same.

2.4. Grammatical GENDER

Grammatical gender is a system of nominal classification based on the agreement patterns (see, e.g., [Aronoff 1994; Corbett 1991]). A frequently cited definition of grammatical gender is the one from Hockett [1958: 231]: “Genders are classes of nouns reflected in the behaviour of associated words”. This means that the gender of a noun (or **controller**) determines the grammatical forms of related words (or **targets**) such as determiners, pronouns, numerals, quantifiers, adjectives, verbs, etc. (the type of the target depends on the language). In some languages, grammatical gender is marked on the noun itself (**overt marking**), while in others, it is marked only on the related words, not on the noun (**covert marking**).

Consider, for example, grammatical gender in Russian. Russian nouns are divided into three genders: feminine, masculine and neuter (see [Zaliznyak 2002] on Russian nominal paradigms).

¹⁵ Also Brazilian travestis [Kulick 1998].

The grammatical gender of a Russian noun is determined on the basis of grammatical agreement with the related words, namely attributive modifiers, pronouns and predicates (past and conditional) [Corbett 1991; Doleschal, Schmid 2001]. For example, in (8a), the feminine noun *knig-a* ‘book’ determines the grammatical form of the attributive modifiers *èt-a* ‘this’ and *strann-aja* ‘strange’, as well as of the verb in the past tense *porazi-l-a* ‘impressed’. In (8b), the masculine noun *roman* ‘novel’ determines the grammatical form of the attributive modifiers *èt-ot* ‘this’ and *strann-yj* ‘strange’, and the verb *porazi-l-Ø* ‘impressed’. And in (8c), the neuter noun *proizvedeni-e* ‘work’ determines the forms *èt-o* ‘this’, *strann-oe* ‘strange’ and *porazi-l-o* ‘impressed’. Thus, the three grammatical genders in Russian give rise to three different agreement patterns, as presented in (8a), (8b), and (8c), respectively.

(8) RUSSIAN (adapted from [Matushansky 2013a: 272])

- a. *Èt-a* *strann-aja* *knig-a* *porazi-l-a* *nas.*
 this-NOM.SG.F strange-NOM.SG.F book(F)-NOM.SG impress-PAST-SG.F we.ACC
 ‘This strange book impressed us.’
- b. *Èt-ot* *strann-yj* *roman-Ø* *porazi-l-Ø* *nas.*
 this-NOM.SG.M strange-NOM.SG.M novel(M)-NOM.SG impress-PAST-SG.M we.ACC
 ‘This strange novel impressed us.’
- c. *Èt-o* *strann-oe* *proizvedeni-e* *porazi-l-o* *nas.*
 this-NOM.SG.N strange-NOM.SG.N work(N)-NOM.SG impress-PAST-SG.N we.ACC
 ‘This strange work impressed us.’

In some other languages, grammatical gender is never overtly marked on nouns; it is only marked on the related words such as adjectives, determiners, verbs, etc. For example, in the Manambu data in (2), repeated in (9) for convenience, the nouns *du* ‘man’ and *ta:kw* ‘woman’ have no overt gender marking. In (9a), masculine gender agreement is evidenced by the ending *-d(ə)* on the words ‘this’, ‘big’ and ‘stays’. And in (9b), the feminine gender agreement is shown by the zero ending on the same words.

(9) MANAMBU [Aikhenvald 2012: 39]

- a. *ke-də* *numa-də* *du* *wiya:m* *kwa-na-d*
 this-M.SG big-M.SG man house.LOC stay-PRES-M.SG
 ‘This big man stays in the house.’
- b. *kə-Ø* *numa-Ø* *ta:kw* *wiya:m* *kwa-na-Ø*
 this-F.SG big-F.SG woman house.LOC stay-PRES-F.SG
 ‘This big woman stays in the house.’

The Russian and Manambu gender systems can be described as having a **semantic core** (the term is from [Corbett 1991]), which means being based on a semantic feature (here, sex). Thus, sex-differentiable nouns that denote males are usually masculine, while ones that denote females are usually feminine (for a description of Russian, see [Shvedova (ed.) 1980; Corbett 1982; 1991; Fraser, Corbett 1995; Matushansky 2013b]). As Corbett [1991: 8] observes after Aksenov [1984], “In a sense all gender systems are semantic in that there is always a semantic core to the assignment system.”

2.5. An analysis of mismatches between grammatical and other levels of GENDER

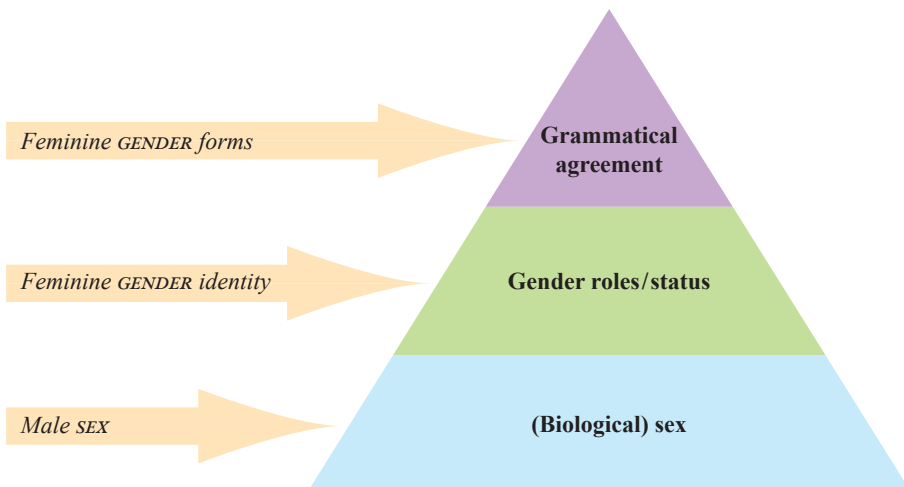
As we have mentioned in § 1, the usage of the opposite grammatical gender — feminine for a man and masculine for a woman — is productively employed in many languages:

see [Aikhenvald 2016; Dahl 2000; Nübling, Lind 2021] and a substantial body of research on gay and transgender* language and misgendering, e.g. [Borba, Ostermann 2007; Conrod 2018; Hall, O'Donovan 1996; Johnsen 2008; Livia 1997; McConnell-Ginet 2013; McLemore 2015; Morse 2008; Panagiotidis 2019; Pastre 1997; Simpson, Dewaele 2019]. Such usage is in most cases emotive (positive or negative, depending on socio-cultural values and attitudes in a given society).

Consider, for example, two fascinating studies of grammatical gender used by Hindu-speaking **hijras** [Hall, O'Donovan 1996] and Southern Brazilian **travestis** [Borba, Ostermann 2007]. The studies have shown that both groups of people, who were born either male or (more rarely) intersex, adopt the feminine identity and prefer to use the feminine grammatical forms in self-reference and reference to other hijras / travestis to convey a message of respect and solidarity (see also [Johnsen 2008] and [Morse 2008] on the use of feminine forms by Norwegian and Hebrew gay men). However, they can also employ masculine grammatical forms (or intentionally 'misgender' — the term is from [Simpson, Dewaele 2019] to refer to other hijras / travestis who in their view do not behave appropriately or have a lower social status and thus do not deserve to be addressed in the feminine language (see also [Livia 1997] and [Pastre 1997] for an emotive use of gender forms by French homosexuals). Notice that although the masculine grammatical forms used in such cases correspond to the male biological sex of a referent, they are perceived as highly emotive by the speakers and express a negative attitude, which would not be the case with male cisgender individuals (a masculine–male correspondence would be perceived as the norm in reference to cisgender males, and thus it would be considered to be emotively neutral).

With regard to the proposed pyramid structure in (7), we observe a mismatch between the male sex of some hijras and travestis and their adopted feminine identity, as shown in (10). The preferred grammatical forms used by the speaker in self-reference and in reference to other hijras and travestis are feminine, which shows the dependence of the higher level of the pyramid (feminine grammatical gender) on social identity (feminine), not biological sex (male).

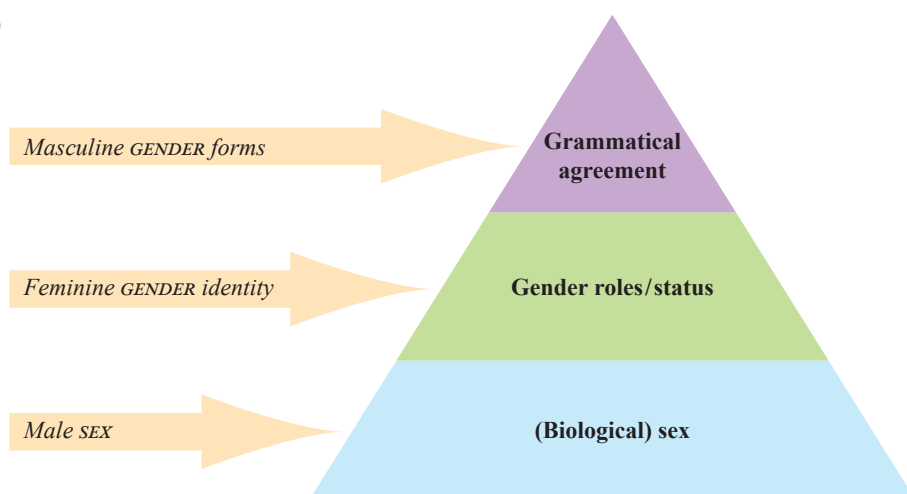
(10)



When masculine grammatical forms are used instead, they are seen as highly emotive, reflecting the speaker's negative attitude towards a referent based on either the referent's lower status or their inappropriate behaviour, as illustrated in (11) (see p. 70).

As we observe in the structure in (11), the mismatch is not between the grammatical gender (masculine) and the sex (male) of the referent, but rather between the masculine grammatical gender and the referent's adopted feminine identity. This shows that it is absolutely necessary

(11)



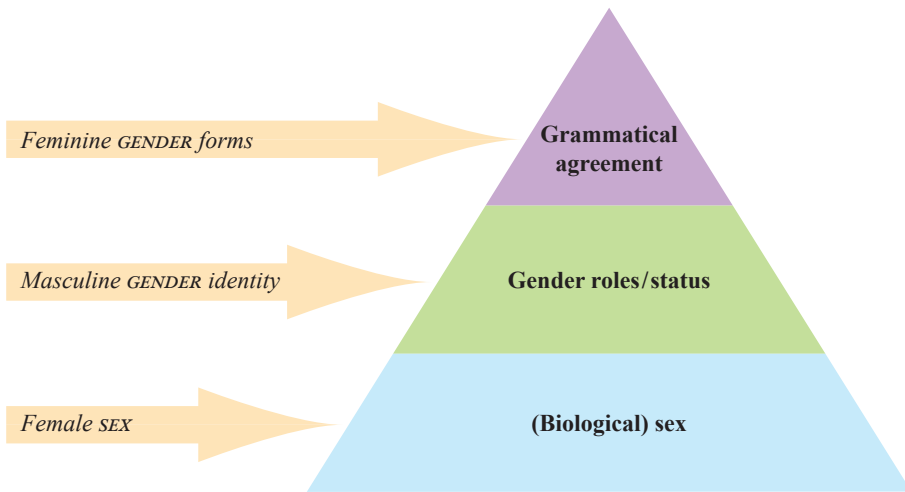
to take into account the social level of analysis in order to understand why what seems like a canonical correspondence between the grammatical gender (masculine) and the sex (male) of a referent is in effect an expression of a negative attitude. Without that, the speakers' attitudes and emotions would have remained unexplained.

A recent study of grammatical forms used by non-binary transgender* individuals in Berlin, Germany, [Steriopolo, Aussoleil (forthc.)] shows that non-binary persons can productively use conventional binary grammatical gender forms (feminine and masculine) in self-reference and reference to other non-binary people for emotive reasons. For example, some of them are female-to-male transgender* persons, which means that they were assigned the female sex at birth, but they identify as transmasculine. Such individuals can use feminine grammatical gender forms in self-reference and reference to other non-binary persons under two main circumstances: (i) in the safe company of other queers and close friends; and (ii) in a playful, intimate and affectionate manner, such as when addressing their partner. Here the feminine gender in no way affirms the female sex assigned at birth, but rather it is seen as an emotive means of expressing affection. Note that the use of feminine gender forms to refer to a transmasculine person might be considered highly inappropriate if coming from cis-gender people who do not have a close connection with that person.

Thus, in the structure in (12) (see p. 71), what looks like a canonical correspondence between the assigned female sex of an individual and feminine grammatical gender forms used in reference to that individual is in fact a mismatch between the top level of the pyramid (feminine forms) and the intermediate level (masculine identity). This mismatch can account for the emotive effect described above. Compare this with the use of feminine grammatical gender in reference to cisgender females. Contrary to transmasculine persons, there would be no mismatch between the three levels of the pyramid (feminine grammatical gender/ feminine identity/ female sex). In such cases, the use of feminine grammatical forms would be perceived as emotively neutral.

So far we have looked at the cases of non-canonical correspondence between biological sex and gender identity, as in the structures (10)–(12) above. A similar mismatch is also observed in different cultures in terms of unexpected — or even 'culturally inappropriate', to use Aikhenvald's term [2012: 54] — social behaviour among men and women. For example, in some cultures, masculine behaviour of women is highly inappropriate, so negative emotions arise from such sex–gender mismatches; while in others, such behaviour can be considered prestigious and is praised in society, giving rise to positive emotions [Aikhenvald 2012; 2016].

(12)



Consider, for example, the data (3b) from Manambu, repeated in (13) for convenience. Here the noun *ta:kw* ‘woman’ triggers masculine grammatical agreement with the demonstrative *kə-də* ‘this-M.SG’ and the adjective *numa-də* ‘big-M.SG’.

(13) MANAMBU [Aikhenvald 2012: 54] (repeated from (3b))

kə-də *numa-də* *ta:kw*
 this-M.SG big-M.SG woman

‘this (unusually) big, boisterous, or bossy woman’

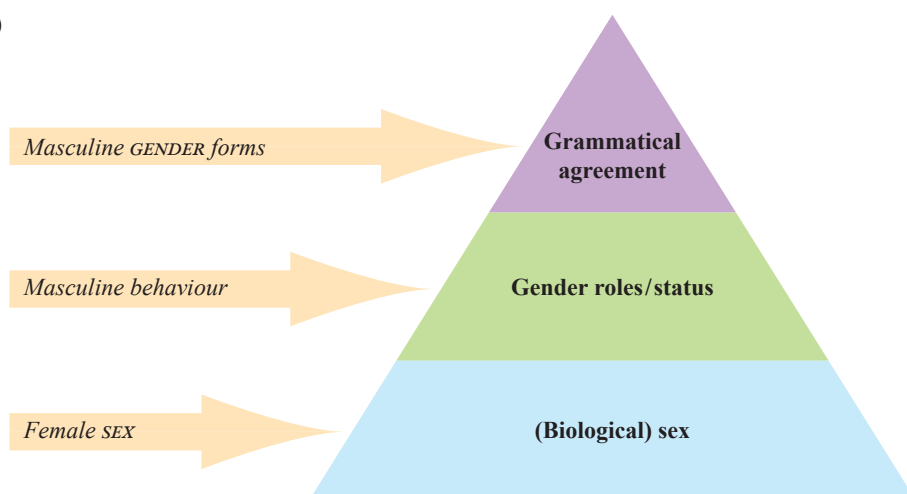
According to Aikhenvald [2012], the data in (13) can be used to refer to a woman who is too boisterous, large in size or ‘too big for her boots’, as in the situation described in Aikhenvald [Ibid.], where masculine agreement was used to refer to a woman who flaunted knowledge of totemic names (traditionally the province of men). A similar situation took place in the Iatmul village of Palimbei, when a woman accidentally saw men blowing long flutes in a fenced-off enclosure (a sight forbidden to women in Manambu culture). Aikhenvald [Ibid.] relates that the woman “was subjected to scarification and a shortened version of male initiation”. Thus, we observe that although she accidentally gained ritual knowledge, she “felt degraded and shamed” [Ibid.: 55]. As mentioned in § 1, in Manambu society, any reference to a woman with masculine gender or to a man with feminine gender expresses a derogatory attitude and is considered highly offensive.

Such data show that discrepancies in what is seen in some cultures as the ‘proper’ social behaviour for men and women can result in a mismatch between the biological sex and social behaviour of an individual. Grammatical gender forms reflect that mismatch, which can result in highly emotive utterances considered so derogatory that they are normally not spoken in the referent’s presence to avoid a conflict [Aikhenvald 2012; 2016].

The structure in (14) (see p. 72) accounts for the data in (13) above, with a mismatch between the female sex and masculine social behaviour. The masculine grammatical gender reflects this mismatch, expressing the speaker’s negative attitude toward the referent. This structure shows that there is no direct dependence of grammatical gender (which is masculine) on biological sex (which is female) (see also [McConnell-Ginet 2013] for the same conclusion about other languages).

We would like to suggest that a mirror-image structure can account for a vast amount of cross-linguistic data, in which feminine gender forms are used in reference to cisgender male homosexuals. Consider, for example, Modern Greek slang usage, as typically found in the Greek queer community [Panagiotidis 2019: 198]. A comparison of an emotively neutral (masculine)

(14)



and an emotive (feminine) use of grammatical gender with a male first name is given in (15) below. In (15a), the male's first name *Anton-is* 'Antonis-M' triggers masculine agreement with the determiner *o* 'the.M'. In (15b), the same first name triggers feminine agreement with the determiner *i* 'the.F'. The utterance (15a) is emotively neutral, while (15b) can express either endearment or derogation [Ibid.].

(15) GREEK, speech of the queer community [Panagiotidis 2019: 198]

a. *O Antonis irthe.*
 the.M Antonis.M came
 'Antonis has arrived.'

b. *I Antonis irthe.*
 the.F Antonis.M came.

'Antonis has arrived.' (May be used as a term of endearment, pejoratively...)

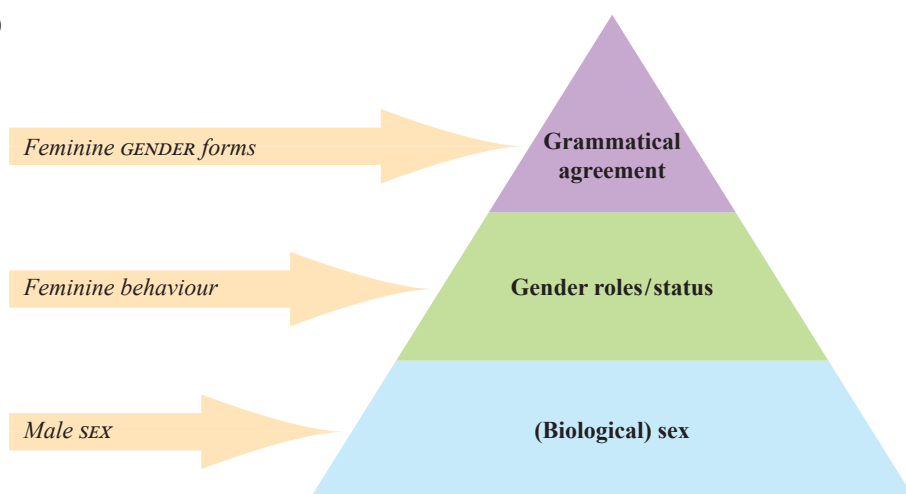
In the structure in (16) below (see p. 73), the feminine grammatical gender reflects a mismatch between the male sex and what some people may see as 'feminine behaviour'. Such a mismatch can evoke positive or negative emotions depending on the context of the utterance (e.g., whether or not it comes from close friends / a partner, etc.). As with the structure in (14) above, we observe a lack of direct correspondence between the levels of sex and grammatical gender. It shows that the intermediate level of social gender must be taken into consideration in order to account for what might seem like the 'wrong' use of grammatical gender in such examples as (15b) above.

It is important to point out that neither notion of SEX nor GENDER is all that straightforward.

In terms of SEX, we can talk about the one 'assigned' at birth and the one 'assumed' by the speaker, as described at the beginning of § 2. These different notions can produce misunderstandings if the speaker is wrong in their assumptions. In addition, as was the case with the transgender* individual Vanja, discussed in § 2.1, sex can be wrongly assigned at birth. Finally, the referent's sex can be ambiguous or simply unknown to the speaker and thus not easily assumed. This shows that mismatches can occur and must be investigated not only between the different levels of the structure, as shown above, but also on the same level (in this case, SEX).

A similar situation may arise within the single level of social GENDER. As mentioned in fn. 6, there exists a more flexible connection between human sexes and genders in modern Western societies than in traditional patriarchal ones. However, in terms of what is considered 'appropriate' or 'inappropriate' social behaviour for people of different sexes, there could be false

(16)



assumptions that lead to sex discrimination in society. Such important cases must be analysed within the single level of social GENDER.

In terms of grammatical GENDER, there are cross-linguistic data with so-called ‘mixed gender’ or ‘hybrid’ agreement [Corbett 1979; Kučerová 2018; Matushansky 2013a; Pesetsky 2013a; 2013b; Puškar 2017; Smith 2015; Steriopolo 2019; Wurmbrand 2017]. For example, in the French sentence in (17a), cited in [Matushansky 2013a: 273], the noun *Majesté* ‘majesty’ triggers feminine grammatical agreement. In (17b), it triggers mixed agreement (feminine with the possessive pronoun *sa* and masculine with the predicative adjective *inquiét*).

(17) FRENCH, adapted from [Matushansky 2013a: 273]

a. *Sa Majesté est inquiète.*
 3F.SG.POSS majesty(F) is worried.F
 ‘His/her Majesty is worried.’

b. *Sa Majesté est inquiet.*
 3F.SG.POSS majesty(F) is worried.M
 ‘His Majesty is worried.’ (referring to a man)

We propose that mixed agreement across languages reflects mismatches between the grammatical gender of a noun (e.g. the feminine grammatical gender of the noun *Majesté*) and the referent’s social gender status (masculine), as in (17b) above.

In Russian as well as some other European languages (e.g. Italian, see [Kučerová 2018]), some profession nouns can trigger mixed gender agreement in reference to female professionals. There is a well-known piece of Russian data from Pesetsky [2013b: 37], which reflects a mirror-image gender mismatch to the French data in (17b) above. Thus in (18), the grammatical gender of the noun *rukovoditel’* ‘supervisor’ is masculine and the referent’s gender status is feminine.

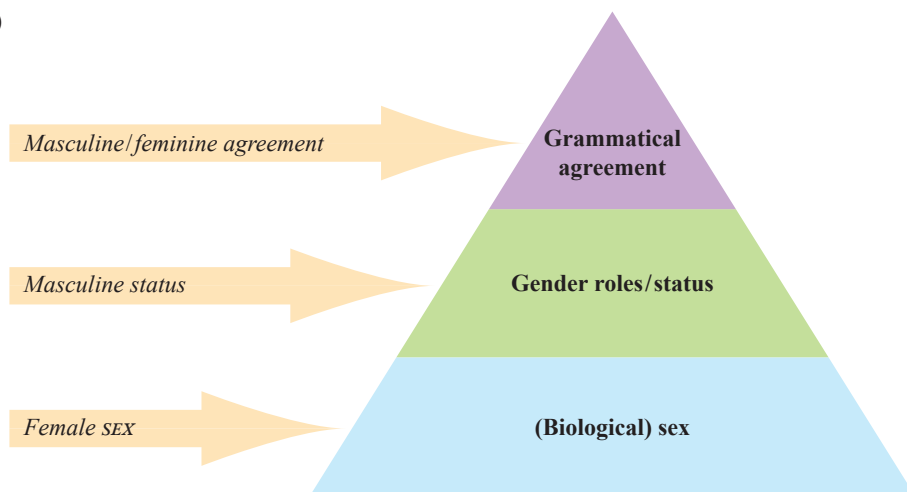
(18) RUSSIAN, adapted from [Pesetsky 2013a: 37]

Klassn-yj rukovoditel’ soobščil-a....
 class-M.SG.NOM supervisor(M).SG.NOM informed-F.SG
 ‘The class supervisor informed ...’ (referring to a woman)

It is our hypothesis that such mixed gender agreement arose historically when prestigious professions such as doctor or lawyer, along with supervisory and managerial jobs, were considered the social preserve of men. As women’s social roles were predominately those

of homemakers, a high-prestige professional position would have been perceived as unusual for a woman. Nowadays it is no longer surprising for a female professional to hold such a position, but the historical facts are still reflected in the use of mixed gender agreement with the nouns for certain professions. The structure in (19) illustrates a historical mismatch between the female sex and masculine professional status, which is still reflected in modern-day forms of mixed gender agreement.

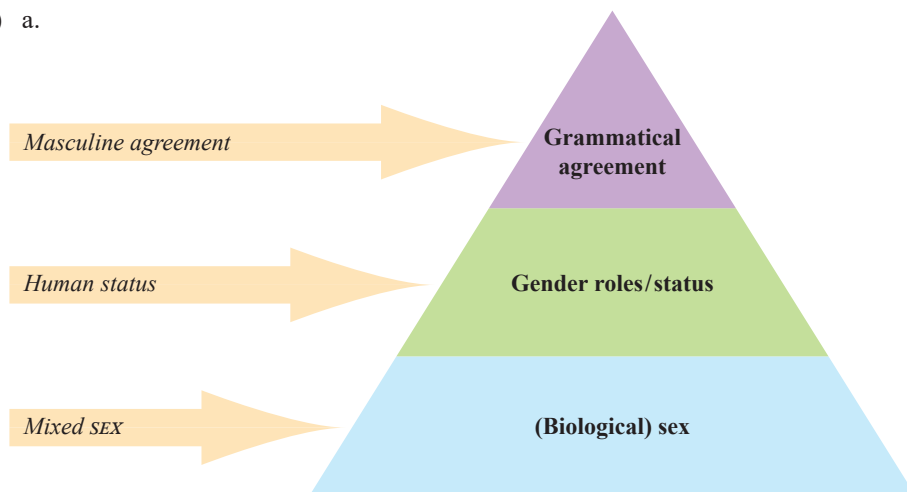
(19)



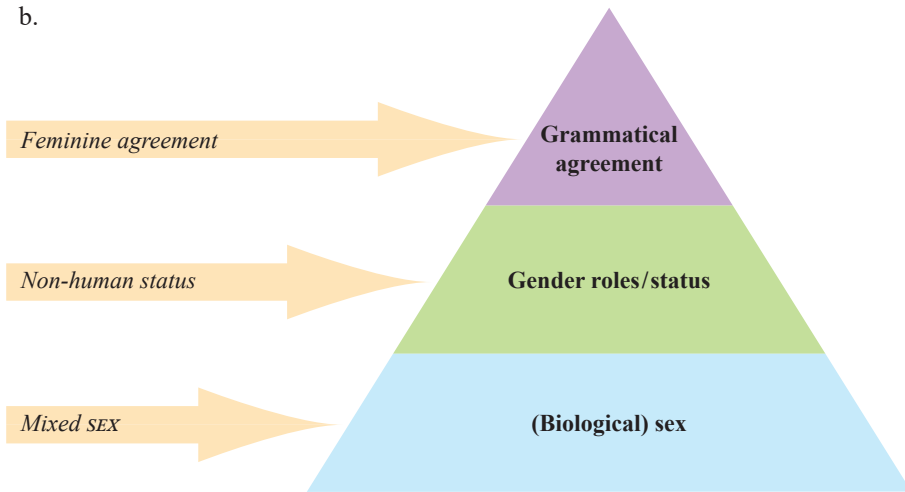
As mentioned in the introduction, of the 112 gendered languages documented in [Corbett 2013a; 2013b], 28 are not based on sex, but rather on humanness and/or animacy. We would like to suggest that the pyramid structure proposed here for GENDER can be expanded to account for HUMANNES and ANIMACY across languages.

First, consider **HUMANNES**. Animals can act as humans across languages in many folktales (they are protagonists and can speak). For example, Heaton & Anderson [2017] analyse narratives in the Native American language Tunica. In Tunica mythology, people can transform into animals and animals into people, and this affects grammatical gender agreement. Namely, human nouns (of mixed sexes) are assigned ‘masculine’ grammatical gender in the

(20) a.



b.



plural, while non-human animate nouns (of mixed sexes) are assigned ‘feminine’ in the plural and collective (as are inanimate nouns). Heaton & Anderson [Ibid.: 352] describe an example from the flood myth [Haas 1950: 62], in which humans transform into non-human animates. In one myth, the chief was able to save only half the people on the boat, with the other half left in the water and turned into half-fish. Heaton & Anderson [2017] describe how grammatical gender agreement changes from human animate (masculine) to non-human animate (feminine) when referring to the same group of people in a single sentence, presenting a highly interesting case of mixed gender agreement. Thus, we observe here a downgrading in HUMANNES when human beings become animals. As shown in (20a), a group of human referents of mixed sexes in Tunica is assigned masculine grammatical gender. In (20b), the same group is downgraded to non-human animate status (acting as half-fish in the myth), and therefore assigned feminine gender.

Now consider ANIMACY. Goddard [2002: 204] describes how in a narrative in Cree (an Algonquian language, spoken in Canada), a severed head acts as a talking protagonist. The fact that, in (21), the inanimate head can speak triggers mixed animate/inanimate agreement.

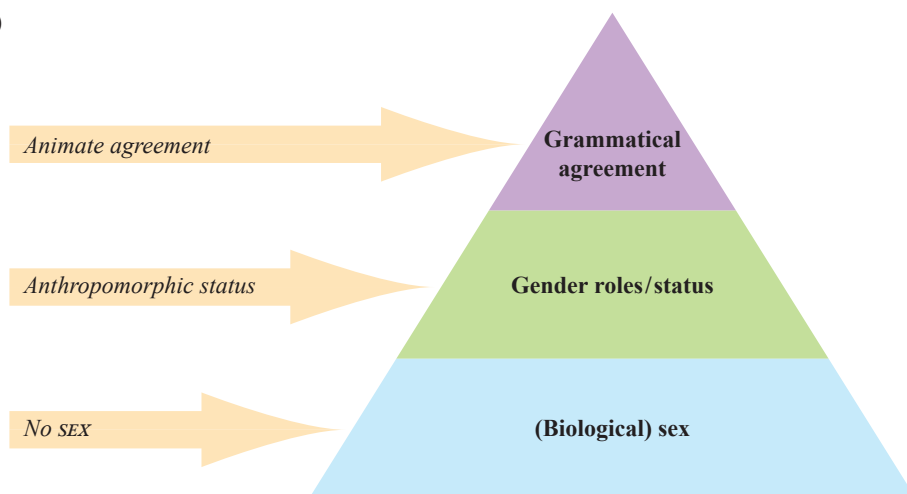
(21) CREE [Goddard 2002: 204]

ekwa kitahtawe ka-pikiskwet om ostikwan....
 and at.some.point ANIM.SG-spoke this.INANIM head
 ‘Then presently that head (inanimate) spoke (animate),’

A similar example is described for the same language by Mühlbauer [2008: 2], in which a stuffed children’s toy, a tiger called Hobbes, triggers inanimate agreement. However, when treated as an anthropomorphic tiger, it triggers animate agreement. In (22) (see p. 76) we observe an opposite structure to that in (20b) above. The status of an inanimate children’s toy is upgraded to that of animate, producing a change in grammatical agreement (animate instead of the usual inanimate one).

To give an example from a different language, Panagiotidis [2019] examines data from Brazilian Portuguese (presented and discussed in [Lazzarini Cyrino et al. 2013]), in which inanimate nouns such as ‘ball’ and ‘bottle’ are normally assigned feminine grammatical gender. Such nouns can be used as nicknames referring to people, in which case their gender agreement can change. For example, in (23a), the noun *a bola* ‘the ball (F)’ can refer either to a ball (inanimate) or to a woman (animate) whose nickname is ‘Ball’. Here we observe no mismatch in grammatical gender. In contrast, in (23b), the same nickname is used to refer to a man, in which case the agreement changes for masculine *o bola* ‘the ball (M)’.

(22)



(23) BRAZILIAN PORTUGUESE, adapted from [Panagiotidis 2019: 197]

- a. *A bola está na minha casa.*
 the.F ball(F) is in my house

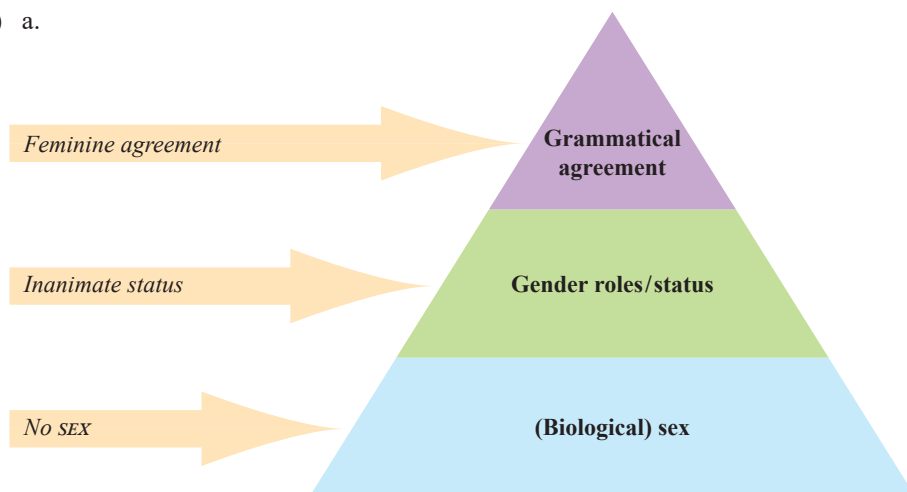
‘The ball is in my house’ or ‘A girl whose nickname is “Ball” is in my house’.

- b. *O bola está na minha casa.*
 the.M ball(F) is in my house

‘A guy whose nickname is “Ball” is in my house’, but not ‘The ball is in my house’.

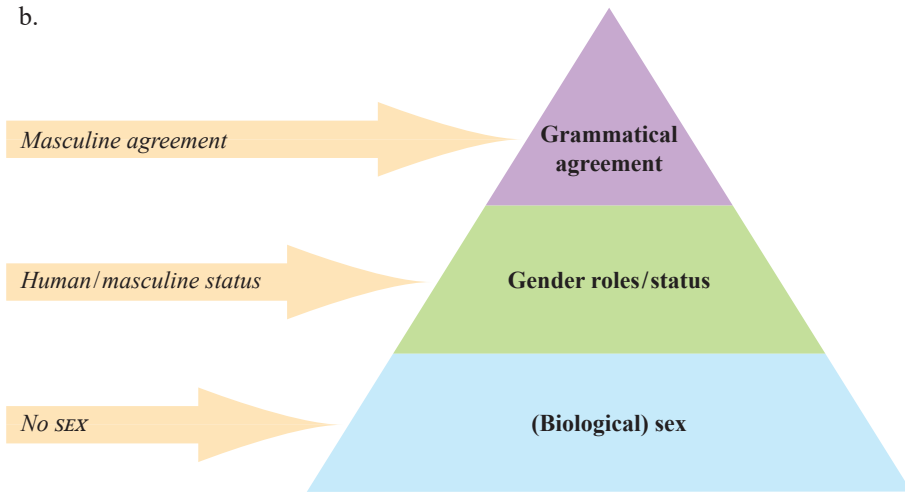
In the structure in (24a), the inanimate noun *bola* ‘ball’ triggers feminine grammatical agreement. In (24b), the same inanimate noun refers to a man and thus its status is ‘upgraded’ to a human, animate one.¹⁶ As a result, the masculine agreement (*o bola*) is used, as in (23b) above, instead of the usual feminine grammatical agreement (*a bola*).

(24) a.



¹⁶ The same happens when the inanimate noun *a bola* ‘ball’ refers to a woman as a nickname. Her status is ‘upgraded’ to the human, animate one.

b.



Data such as in (23b) above, with inanimate nicknames used for human referents, offer additional evidence for the importance of the social level of GENDER. If the level of social status / roles had not been analysed, it would have remained unclear why the ‘wrong’ gender (masculine) of an inanimate feminine noun becomes grammatical for a human referent¹⁷.

This work shows that mismatches can occur not only between grammatical gender and the actual sex and / or gender of the referent, but also within single levels, such as the assigned / assumed sex (at the level of SEX) or gender roles / statuses / social behaviours (at the level of social GENDER). The system proposed here does not contradict the linguistic systems of semantic gender features (see e.g. [Plaster, Polinsky 2010]). On the contrary, it helps to better understand cases across different languages where we see mismatches between the semantic gender feature(s) of a noun and the actual sex / gender of its referent, as in the examples of mixed / hybrid gender agreement discussed above. The linguistic systems of semantic gender features are analysed on the single level of grammatical GENDER, while the system proposed here distinguishes three different levels of the larger category of GENDER. The system proposed here stresses the importance of the social level of GENDER and the dependence of grammatical GENDER upon it. In addition, it illustrates significant differences between the levels of SEX and social GENDER. Thus, a possible upgrade to the currently existing linguistic systems of semantic features could involve the incorporation of social gender features (masculine / feminine / diverse) that would indicate a referent’s social status / roles in society and help to account for cases of mixed gender agreement across languages.

Another novel feature of adopting the larger category of GENDER proposed here is that ANIMACY and HUMANNES are considered a status in human society, rooted in the intermediate level of the proposed pyramid structure. Thus, treating an inanimate entity as if it were an animate one and a non-human animate as if it were a human one upgrades its status in human society and vice versa for downgrading of this status. Upgrading and downgrading of statuses happen on the individual level of social GENDER. For example, as analysed in [Aikhenvald 2012], Manambu nouns denoting humans (and some ‘higher’ animates) are normally assigned feminine or masculine grammatical gender based on their sex. Less important for humans ‘lower’ animates and inanimates

¹⁷ Please note that when the grammatical gender of a noun is not based on a semantic feature, e.g. [+human], [+animate], [+female], as is the case with many inanimate nouns across languages, it is assigned as ‘arbitrary’ [Corbett 1991], which means not being dependent on any semantic feature (see recent work by [Kramer 2020] on gender assignment across languages). Arbitrary gender assignment is beyond the scope of this work, as we deal here with human nouns.

are assigned gender based on their size and shape. For instance, a big dog or pig is masculine, while a small dog or pig is feminine, independently of their sex [Ibid.: 43]. If humans are referred to in a gender opposite to their sex (a man with the feminine and a woman with the masculine gender), they might feel as though they were being classified by their size / shape, just as it occurs with non-human entities in the language. Thus, humans might feel “downgraded to the status of an inanimate referent” [Aikhenvald 2012: 54], which is extremely derogatory in Manambu culture.

There are many languages in the world that use systems of three or more genders. In many European languages, for instance, we observe systems with three grammatical genders: masculine, feminine and neuter. In what follows, we will show how such a system can be accounted for by the proposed division of GENDER into sex, social status/roles and grammatical agreement.

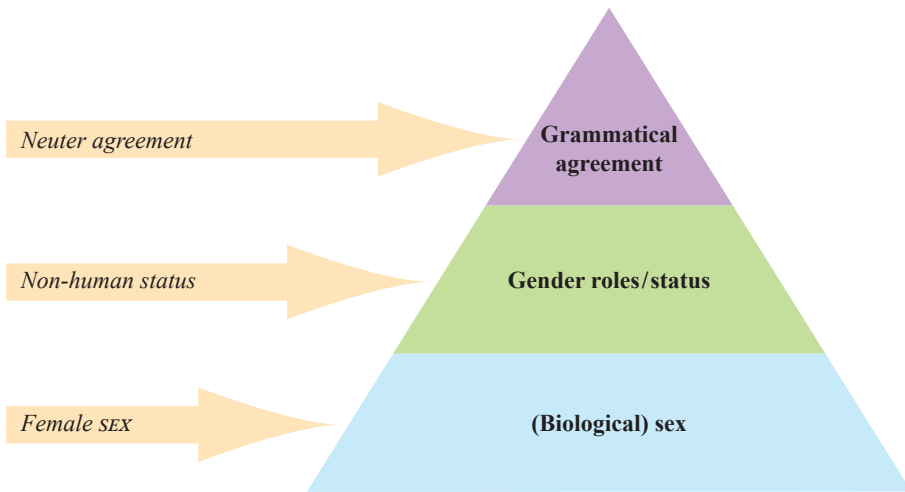
Neuter grammatical gender is predominantly used across languages for non-sexed entities and less often for humans or non-human animates (although there are examples across many languages in which the terms for babies and small children are neuter). Consider, for example, data from German, which has three grammatical genders: feminine, masculine and neuter. Nouns that denote women are usually assigned feminine gender and those denoting men, masculine gender. As Nübling & Lind [2021] explain, neuter is rarely used for humans or animate entities in German, with the exception of some nouns denoting children, e.g. *das Kind* ‘the child’, *das Baby* ‘the baby’, *das Neugeborene* ‘the newborn’, which are neuter. Similarly, most nouns referring to animal offspring are also neuter, e.g. *das Küken* ‘the chick’, *das Fohlen* ‘the foal’, *das Kalb* ‘the calf’. Thus, the neuter gender in reference to young humans and animates is associated with immaturity and can be seen as downgrading if used in reference to mature adults. For example, there are a few neuter nouns denoting females that bear negative connotations, such as *das Weib* ‘the woman (archaic), hag’, *das Luder* ‘hussy’. Even nouns like *das Fräulein* ‘the young lady’ and *das Mädchen* ‘the girl’, which have the historical diminutive endings *-lein* and *-chen* (grammatically neuter in German), may have derogatory meanings when applied to mature females. Thus, *das Fräulein* denotes an unmarried woman and the hybrid noun *das Mädchen* ‘the girl’, well-known in the linguistic literature, can be pronominalized either with the neuter pronoun *es* ‘it’ or the feminine pronoun *sie* ‘she’ depending on the girl’s age (the older the girl, the more probable the use of *sie* ‘she’). Nübling & Lind [2021] mention a highly interesting example of a switch in grammatical gender when the masculine noun *der Mensch* ‘human (generic)’, is used with the neuter gender, *das Mensch*, in pejorative reference to a woman. They conclude [Ibid.] that the use of the neuter gender in reference to females in German is a linguistic tool of denigration and even dehumanization. A recent study by Lind & Nübling [forthcoming] of contemporary hateful discourses in German has shown that females and non-binary people can be derogatively referred to with the neuter gender, e.g. *das Merkel* (for the former Chancellor of Germany).

Coming back to the structure proposed in this work for GENDER, we observe that the use of neuter in reference to a mature female can be seen as downgrading of her feminine (and even human, as Nübling & Lind conclude) social status, as illustrated in (25) below (see p. 79).

An interesting research question with respect to the division of GENDER proposed here is whether this system can also account for grammatical mismatches in the **NUMBER** category.¹⁸ For example, as one of our reviewers observed, the singular imperative forms are used in Russian military commands to refer to a group of military people. There is thus a mismatch between the actual number of individuals and the singular grammatical form used in reference to these individuals. Conversely, the pronoun ‘they’ that is often applied in English to single individuals whose gender is not known or seems ambiguous to the speaker, or who identify as non-binary or transgender*, as discussed in § 2.2. This ‘non-binary’ or ‘gender-neutral’ pronoun is known as ‘the singular *they*’. It triggers plural grammatical agreement, e.g., *they are in the room*, referring to a single person. The use of the singular agreement would be ungrammatical in English: **they is in the room*. However, a recent study by Steriopolo & Aussoleil [forthc.] of grammatical forms used in the German non-binary transgender* community shows that when the English

¹⁸ Thank you to an anonymous reviewer for drawing our attention to this question.

(25)



non-binary *they* is borrowed into other languages such as German, the agreement in number may change from plural to singular, as shown in (26).

(26) GERMAN (language mixing with English), adapted from [Steriopolo, Aussoleil (forthc.): 19]

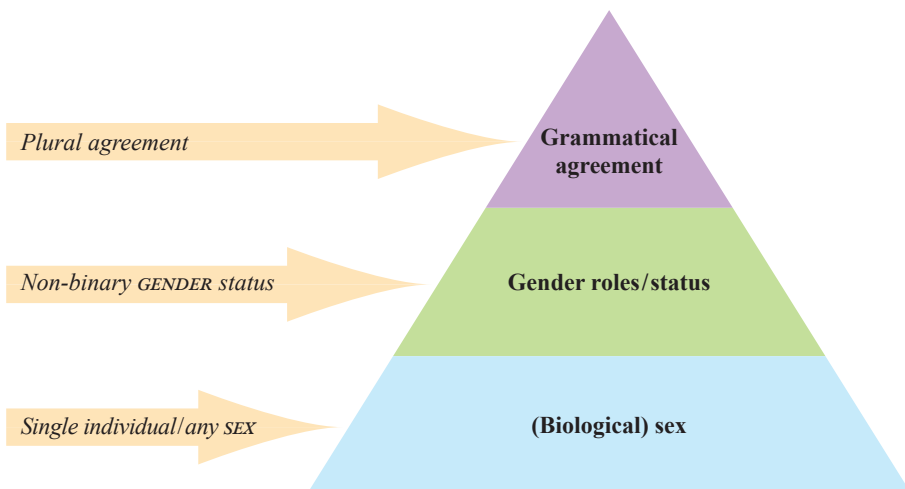
Wo ist they?

where is they

‘Where are they?’ (referring to a non-binary individual)

With respect to the data above, we observe that discrepancies between the actual number of individuals and the use of grammatical number agreement in reference to those individuals are rooted in the intermediate level of the pyramid, namely in social factors like roles and statuses in society. Thus, in the structure in (27), proposed for the English ‘singular *they*’, a single individual (the bottom level) is referred to with the pronoun *they*, which normally triggers plural grammatical agreement (the top level). Such a mismatch in NUMBER can be accounted for if the social level of the structure — the individual’s social status — is considered, which means that (i) either the gender status of that individual is unknown to the speaker, (ii) or it is known to be non-binary. We will leave a more detailed analysis of the NUMBER category for further research.

(27)



3. Conclusions

We have proposed a pyramid structure in which the category GENDER is divided into three different levels: (i) grammatical GENDER (grammatical agreement), (ii) social GENDER (social status and roles) and (iii) biological SEX. Each level is based on the next one, with grammatical GENDER being at the very top of the pyramid, which means that linguistic studies of the grammatical gender of nouns that denote human beings must consider the other two levels of analysis in order to acquire a better understanding of the phenomenon of gender across languages. We have studied the connections between the three levels of GENDER, paying special attention to cases of no canonical correspondence between the levels. We have shown that the motivations for mismatches between the biological SEX (the bottom level) of an individual and grammatical GENDER (the top level) used in reference to that individual are often rooted in social GENDER (the intermediate level). Such mismatches cannot be fully understood without analysing social roles and statuses, upon which grammatical GENDER necessarily depends.

ABBREVIATIONS

3 — third person	F — feminine	NOM — nominative
ABS — absolutive	INANIM — inanimate	POSS — possessive
ACC — accusative	LOC — locative	PRES — present
ANIM — animate	M — masculine	SG — singular
EVAL — evaluative	N — neuter	

REFERENCES

- Ackerman 2019 — Ackerman L. Syntactic and cognitive issues in investigating gendered coreference. *Glossa: A Journal of General Linguistics*, 2019, 4(1): 1–27.
- Aikhenvald 2000 — Aikhenvald A. *Classifiers: A typology of noun categorization devices*. Oxford: Oxford Univ. Press, 2000.
- Aikhenvald 2012 — Aikhenvald A. Round women and long men: Shape, size, and the meanings of gender in New Guinea and beyond. *Anthropological Linguistics*, 2012, 54: 33–86.
- Aikhenvald 2016 — Aikhenvald A. *How gender shapes the world*. Oxford: Oxford Univ. Press, 2016.
- Aksenov 1984 — Аксенов А. Т. К проблеме экстралингвистической мотивации грамматической категории рода. *Вопросы языкознания*, 1984, 1: 14–25. [Aksenov A. T. On the extralinguistic motivation of the grammatical category of gender. *Voprosy Jazykoznanija*, 1984, 1: 14–25.]
- Alpher 1987 — Alpher B. Feminine as the unmarked grammatical gender: Buffalo girls are no fools. *Australian Journal of Linguistics*, 1987, 7.2: 169–187.
- Amadiume 1987 — Amadiume I. *Male daughters, female husbands: Gender and sex in an African society (Critique. Influence. Change)*. London: Zed Books, 1987.
- Amha A. 2001 — Amha A. *The Maale language*. The Netherlands: Research School of Asian, African, and American Studies, Universiteit Leiden, 2001.
- Aronoff 1987 — Aronoff M. Garka a ipika. Masculine and feminine grammatical gender in Kala Lagaw Ya. *Australian Journal of Linguistics*, 1987, 7.2: 189–201.
- Aronoff 1994 — Aronoff M. *Morphology by itself*. Cambridge (MA): MIT Press, 1994.
- Bani 1987 — Bani E. Garka a ipika. Masculine and feminine grammatical gender in Kala Lagaw Ya. *Australian Journal of Linguistics*, 1987, 7.2: 189–201.
- Beckwith 1983 — Beckwith C. Niger's Wodaabe: People of the taboo. *National Geographic*, October 1983, 164(4): 483–509.
- Borba, Ostermann 2007 — Borba R., Ostermann A. C. Do bodies matter? Travestis' embodiment of (trans) gender identity through the manipulation of the Brazilian Portuguese grammatical system. *Gender and Language*, 2007, 1(1): 131–147.

- Butler 1990 — Butler J. *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. New York: Routledge, 1990.
- Cava 2016 — Cava P. Cisgender and cissexual. *The Wiley Blackwell encyclopedia of gender and sexuality studies*. Naples N. A. (ed.). Malden (MA): Wiley Blackwell, 2016, 1–4.
- Chiñas 1995 — Chiñas B. Isthmus Zapotec attitudes toward sex and gender anomalies. *Latin American male homosexualities*. Murray S. O. (ed.). Albuquerque: Univ. of New Mexico, 1995, 293–302.
- Conrod 2018 — Conrod K. Pronouns and misgendering. Presentation at the conf. *New Ways Of Analyzing Variation (NWAV)*, New York Univ., October 18–22, 2018.
- Connell 1987 — Connell R. *Gender and power — society, the person and sexual politics*. Cambridge: Polity Press, 1987.
- Corbett 1979 — Corbett G. G. The agreement hierarchy. *Journal of Linguistics*, 1979, 15(2): 203–224.
- Corbett 1982 — Corbett G. G. Gender in Russian: An account of gender specification and its relationship to declension. *Russian Linguistics*, 1982, 6(2): 197–232.
- Corbett 1991 — Corbett G. G. *Gender*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1991.
- Corbett 2006 — Corbett G. G. *Agreement*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2006.
- Corbett 2007 — Corbett G. G. Gender and noun classes. *Language typology and syntactic description*. Vol. III: *Grammatical categories and the lexicon*. Shopen T. (ed.). 2nd edn. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007, 241–279.
- Corbett 2013a — Corbett G. G. Number of genders. *The world atlas of language structures online*. Dryer M. S., Haspelmath M. (eds.). Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 2013. <http://wals.info/chapter/30>.
- Corbett 2013b — Corbett G. G. Sex-based and non-sex based gender systems. *The world atlas of language structures online*. Dryer M. S., Haspelmath M. (eds.). Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 2013. <http://wals.info/chapter/31>.
- Corbett, Fraser 2000 — Corbett G. G., Fraser N. Default genders. *Gender in grammar and cognition*. Part I: *Approaches to gender*. Unterbeck B., Rissanen M. (eds.). Berlin: Mouton de Gruyter, 2000, 55–98.
- Dahl 2000 — Dahl Ö. Animacy and the notion of semantic gender. *Gender in grammar and cognition*. Part I: *Approaches to gender*. Unterbeck B., Rissanen M. (eds.). Berlin: Mouton de Gruyter, 2000, 99–115.
- Dixon 2000 — Dixon R. M. W. Categories of the noun phrase in Jarawara. *Journal of Linguistics*, 2000, 36: 487–510.
- Doleschal, Schmid 2001 — Doleschal U., Schmid S. Doing gender in Russian: Structure and perspective. *Gender across languages: The linguistic representation of women and men*. Hellinger M., Bußmann H. (eds.). Amsterdam: John Benjamins, 2001, 253–282.
- Edenmyr 2004 — Edenmyr N. The semantics of Hadza gender assignment: A few notes from the field. *Africa & Asia*, 2004, 4: 3–19.
- Fraser, Corbett 1995 — Fraser N., Corbett G. G. Gender, animacy, and declensional class assignment: A unified account for Russian. *Yearbook of Morphology 1994*. Booij G., van Marle J. (eds.). Dordrecht: Kluwer, 1995, 123–150.
- Goddard 2002 — Goddard I. Grammatical gender in Algonquian. *Papers of the 33rd Algonquian Conf.* Wolfart H. C. (ed.). Winnipeg: Univ. of Manitoba, 2002, 195–231.
- Griffiths 2018 — Griffiths D. A. Shifting syndromes: Sex chromosome variations and intersex classifications. *Social Studies of Science*, 2018, 48(1): 125–148.
- Haas 1950 — Haas M. R. Tunica texts. *Univ. of California Publications in Linguistics*, 1950, 6(1): 1–174.
- Hake, O'Connor 2008 — Hake L., O'Connor C. Genetic mechanisms of sex determination. *Nature Education*, 2008, 1(1): 25.
- Hall, O'Donovan 1996 — Hall K., O'Donovan V. Shifting gender positions among Hindi-speaking hijras. *Rethinking language and gender research: Theory and practice*. Bergvall V., Bing J., Freed A. (eds.). London: Longman, 1996, 228–266.
- Hayward 1989 — Hayward R. J. The notion of “default gender”: A key to interpreting the evolution of certain verb paradigms in East Ometo, and its implications for Omotic. *Afrika und Übersee*, 1989, 72: 17–32.
- Heaton, Anderson 2017 — Heaton R., Anderson P. When animals become humans. *International Journal of American Linguistics*, 2017, 83(2): 341–363.
- Hellinger, Bußmann 2001–2003 — Hellinger M., Bußmann H. (eds.). *Gender across languages: The linguistic representation of women and men*. Vols. 1–3. Amsterdam: John Benjamins, 2001–2003.
- Hockett 1958 — Hockett C. *A course in modern linguistics*. New York: Macmillan, 1958.
- Johnsen 2008 — Johnsen O. R. ‘He’s a big old girl!’: Negotiation by gender inversion in gay men’s speech. *Journal of Homosexuality*, 2008, 54(1/2): 150–168.

- Jurik, Siemsen 2009 — Jurik N., Siemsen C. 'Doing gender' as canon or agenda: A symposium on West and Zimmerman. *Gender and Society*, 2009, 23(1): 72–75.
- Kramer 2015 — Kramer R. *The morphosyntax of gender*. Oxford: Oxford Univ. Press, 2015.
- Kramer 2020 — Kramer R. Grammatical gender: A close look at gender assignment across languages. *Annual Review of Linguistics*, 2020, 6: 45–66.
- Kučerová 2018 — Kučerová I. ϕ -features at the syntax-semantics interface: Evidence from nominal inflection. *Linguistic Inquiry*, 2018, 49(4): 813–845.
- Kulick 1998 — Kulick D. *Travesti: Sex, gender and culture among Brazilian transgendered prostitutes*. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1998.
- Lazzarini Cyrino et al. 2013 — Lazzarini Cyrino J. P., Gabbai Armelin P. R., Dias Minussi R. On the encyclopedic knowledge of gender. *Morphology and semantics. MMM9 On-Line Proceedings*. Audring J., Koutsoukos N., Masini F., Raffaelli I. (eds.). E-publication, 2013, 77–87.
- Lind, Nübling (forthc.) — Lind M., Nübling D. The neutering neuter — the discursive use of German grammatical gender in dehumanisation. *Grammar of hate*. Knoblock N. (ed.). Cambridge: Cambridge Univ. Press, forthcoming.
- Lindsey 2015 — Lindsey L. *Gender roles: A sociological perspective*. New York: Routledge, 2015.
- Livia 1997 — Livia A. Disloyal to masculinity: Linguistic gender and liminal identity in French. *Queerly phrased: Language, gender, and sexuality*. Livia A., Hall K. (eds.). Oxford: Oxford Univ. Press, 1997, 349–368.
- Lloyd 1999 — Lloyd M. Performativity, parody, politics. *Theory, Culture & Society*, 1999, 16(2): 195–213.
- Lynn 2002 — Lynn S. Sexualities and genders in Zapotec Oaxaca. *Latin American Perspectives*, 2008, 29(2): 41–59.
- Matushansky 2013a — Matushansky O. Gender confusion. *Diagnosing syntax*. Cheng L. L.-S., Corver N. (eds.). Oxford: Oxford Univ. Press, 2013, 271–294.
- Matushansky 2013b — Matushansky O. Projecting PHI. A handout. Université Paris 8, 2013.
- McConnell-Ginet 2013 — McConnell-Ginet S. Gender and its relation to sex: The myth of 'natural' gender. *The expression of gender*. Corbett G. G. (ed.). Berlin: De Gruyter Mouton, 2013, 3–38.
- McLemore 2015 — McLemore K. A. Experiences with misgendering: Identity misclassification of transgender spectrum individuals. *Self and Identity*, 2015, 14(1): 51–74.
- Meier, Labuski 2013 — Meier S. C., Labuski C. M. The demographics of the transgender population. *International handbook on the demography of sexuality*. Baumle A. K. (ed.). Dordrecht: Springer, 2013, 289–327.
- Michelson 2015 — Michelson K. Gender in Oneida. *Gender across languages*. Vol. 4. Hellinger M., Bußmann H. (eds.). Amsterdam: John Benjamins, 2015, 277–301.
- Morrow, Messenger (eds.) 2006 — Morrow D. F., Messenger L. (eds.). *Sexual orientation and gender expression in social work practice: Working with gay, lesbian, bisexual, and transgender people*. New York: Columbia Univ. Press, 2006.
- Morse 2008 — Morse T. Hebrew GaySpeak: Subverting a gender-based language. *Texas Linguistic Forum*, 2008, 52: 204–209.
- Mosel, Spriggs 2000 — Mosel U., Spriggs R. Gender in Teop (Bougainville, Papua New Guinea). *Gender in grammar and cognition*. Unterbeck B., Rissanen M., Nevalainen T., Saari M. (eds.). Berlin: De Gruyter, 2000, 321–349.
- Motschenbacher 2010 — Motschenbacher H. Female-as-norm (FAN): A typology of female and feminine generics. *Language in its socio-cultural context: Explorations in gendered, global and media uses*. Bieswanger M., Motschenbacher H., Mühleisen S. (eds.). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010, 35–67.
- Motschenbacher (ed.) 2015 — Motschenbacher H. (ed.). *Gender across languages*. Vol. 4. Amsterdam: John Benjamins, 2015.
- Motschenbacher 2016 — Motschenbacher H. A poststructuralist approach to structural gender linguistics: Initial considerations. *Gender, language and the periphery: Grammatical and social gender from the margins*. Abbou J., Baider F. (eds.). Amsterdam: John Benjamins, 2016, 65–88.
- Mühlbauer 2008 — Mühlbauer J. *The representation of intentionality in Plains Cree*. A talk at the examination for a Ph.D. degree, Univ. of British Columbia, Canada, 10 June 2008.
- Murray, Roscoe 1998 — Murray S., Roscoe W. *Boy-wives and female husbands: Studies of African homosexualities*. New York: St. Martin's Press, 1998.
- Nübling, Lind 2021 — Nübling D., Lind M. The neutering neuter — grammatical gender and the dehumanisation of women in German. *Journal of Language and Discrimination*, 2021, 5(2): 118–141.

- Osborne 1974 — Osborne C. R. *The Tiwi language: Grammar, myths, and dictionary of the Tiwi language spoken on Melville and Bathurst islands, Northern Australia*. Canberra: Australian Institute of Aboriginal Studies, 1974.
- Panagiotidis 2019 — Panagiotidis Ph. (Grammatical) gender troubles and the gender of pronouns. *Gender, noun classification, and determination*. Mathieu E., Zareikar G. (eds.). Oxford: Oxford Univ. Press, 2019, 186–199.
- Pankhurst 1992 — Pankhurst H. *Gender, development, and identity: An Ethiopian study*. London: Zed Books, 1992.
- Pastre 1997 — Pastre G. Linguistic gender play among French gays and lesbians. *Queerly phrased: Language, gender, and sexuality*. Livia A., Hall K. (eds.). Oxford: Oxford Univ. Press, 1997, 369–379.
- Payne 1998 — Payne D. L. Maasai gender in typological perspective. *Studies in African Linguistics*, 1998, 27(2): 159–175.
- Pesetsky 2013a — Pesetsky D. What is to be done? Paper presented at the 87th Annual Meeting of the Linguistic Society of America, Boston, 4 January 2013.
- Pesetsky 2013b — Pesetsky D. *Russian case morphology and the syntactic categories*. Cambridge (MA): MIT Press, 2013.
- Pet 2011 — Pet W. J. A. *A grammar sketch and lexicon of Arawak (Lokono Dian)*. Dallas: SIL International, 2011.
- Plaster, Polinsky 2010 — Plaster K., Polinsky M. Features in categorization, or a new look at an old problem. *Features: Perspectives on a key notion in linguistics*. Kibort A., Corbett G. G. (eds.). Oxford: Oxford Univ. Press, 2010, 109–142.
- Preminger 2014 — Preminger O. *Agreement and its failures*. Cambridge (MA): MIT Press, 2014.
- Puškar 2017 — Puškar Z. *Hybrid agreement: Modelling variation, hierarchy effects and phi-feature mismatches*. Ph.D. diss., Universität Leipzig, 2017.
- Rose 2018 — Rose F. A typology of languages with genderlects and grammatical gender. *Non-canonical gender systems*. Fedden S., Audring J., Corbett G. G. (eds.). Oxford: Oxford Univ. Press, 2018, 211–246.
- Saisuwat 2016 — Saisuwat P. *Male femininity in Thai among men who identify with non-normative male roles*. Ph.D. diss., Queen Mary Univ. of London, 2016.
- Schultz 1975 — Schultz M. R. The semantic derogation of woman. *Language and sex: Difference and dominance*. Thorne B., Henley N. (eds.). Boston (MA): Newbury House, 1975, 64–75.
- Shields 2002 — Shields S. A. *Speaking from the heart: Gender and the social meaning of emotion*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2002.
- Shvedova (ed.) 1980 — Шведова Н. Ю. (гл. ред.). *Русская грамматика*. В 2 т. М.: Наука, 1980. [Shvedova N. Yu. (ed.). *Russkaya grammatika* [Russian grammar]. In 2 vols. Moscow: Nauka, 1980.]
- Simpson, Dewaele 2019 — Simpson L., Dewaele J.-M. Self-misgendering among multilingual transgender speakers. *International Journal of the Sociology of Language*, 2019, 256: 103–128.
- Smith 2015 — Smith P. *Feature mismatches: Consequences for syntax, morphology, and semantics*. Ph.D. diss., Univ. of Connecticut, 2015.
- Steriopolo 2019 — Steriopolo O. Mixed gender agreement in the case of Russian hybrid nouns. *Questions and Answers in Linguistics*, 2019, 5(2): 91–105.
- Steriopolo, Aussoleil (forthc.) — Steriopolo O., Aussoleil H. Individuals' pronoun choice: A case study of transgender* speakers in Berlin, Germany. In *Routledge Handbook of Pronouns*, forthcoming.
- Stump 1993 — Stump G. How peculiar is evaluative morphology? *Journal of Linguistics*, 1993, 29: 1–36.
- Tobin 2001 — Tobin Y. Gender switch in Modern Hebrew. *Gender across languages*. Vol. 1. Hellinger M., Bußmann H. (eds.). Amsterdam: John Benjamins, 2001, 177–198.
- West, Zimmerman 1987 — West C., Zimmerman D. Doing gender. *Gender and Society*, 1987, 1: 125–151.
- West, Zimmerman 2009 — West C., Zimmerman D. Accounting for doing gender. *Gender and Society*, 2009, 1: 112–122.
- Wolk 2009 — Wolk E. Positive and negative emotions encoded in Amharic forms of address. *Codes and rituals of emotions in Asian and African cultures*. Pawlak N. (ed.). Warsaw: ELIPSA, 2009, 128–136.
- Wurmbrand 2017 — Wurmbrand S. Formal and semantic agreement in syntax: A dual feature approach. *Proc. of the Olomouc Linguistics Colloquium 2016: Language Use and Linguistic Structure*. Emonds J., Janebová M. (eds.). Olomouc: Palacký Univ., 2017.
- Khaidakov 1963 — Хайдаков С. М. Принципы распределения имен существительных по грамматическим классам в лакском языке. *Studia Caucasica*, 1963, 1: 48–55. [Khaidakov S. M. Principles of grammatical classification of nouns in Lak. *Studia Caucasica*, 1963, 1: 48–55.]

- Zaliznyak 2002 — Зализняк А. А. «Русское именное словоизменение» с приложением избранных работ по современному русскому языку и общему языкознанию. М.: Языки славянской культуры, 2002. [Zaliznyak A. A. “*Russkoe imennoe slovoizmenenie*” s prilozeniem izbrannykh rabot po sovremennomu russkomu yazyku i obshchemu yazykoznaniiu [Russian Nominal Inflection, accompanied by selected works in Modern Russian and general linguistics]. Moscow: Yazyki Slavyanskoi Kul'tury, 2002.]
- Zaręba 1984 — Zaręba A. Osobliwa zmiana rodzaju naturalnego w dialektach polskich [A peculiar change of the natural gender in Polish dialects]. *Zbornik Matice Srpske za Filologiju i Lingvistiku*, 1984, 17/18: 243–247.
- Zevallos 2014 — Zevallos Z. Sociology of gender. *The Other Sociologist* [web-resource]. 28 November 2014. <https://othersociologist.com/sociology-of-gender/>.

Получено / received 03.02.2021

Принято / accepted 21.09.2021

Феминитивы с суффиксом *-их(а)* в текстах XVIII–XX вв.: корпусное исследование

© 2022

Лилия Фаатовна Килина

Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия; kilin_74@mail.ru

Анастасия Соколова

Университет им. Масарика, Брно, Чехия; sokolova@ped.muni.cz

Аннотация: В статье рассматривается функционирование имен существительных с суффиксом *-иха* в русском языке с исторической точки зрения: начиная от первых употреблений в текстах, упоминаний в грамматиках (например, в грамматике М. В. Ломоносова) и заканчивая современными исследованиями, посвященными феминитивам. Исторические данные свидетельствуют о том, что суффикс *-иха* был первоначально суффиксом существительных мужского рода, далее через женские прозвища (наименование лица женского пола по соответствующему слову мужского рода) проник в сферу женского словообразования и закрепился в нем, однако со стилистическими ограничениями (разговорный суффикс с экспрессивной / оценочной окраской). В работе также представлены результаты корпусного исследования феминитивов с суффиксом *-иха*, встречающихся в текстах XVIII–XX вв. Анализ корпусных данных приведен по каждому веку отдельно с учетом ограничения текстов по стилистическому признаку и без него. На материале данных Национального корпуса русского языка была выявлена частотность феминитивов на *-иха* в текстах XVIII, XIX и XX вв. В корпусе текстов XVIII в. обнаружено всего 8 феминитивов на *-иха*, в корпусе текстов XIX в. — 20, а в корпусе текстов XX в. — 74. Самые частотные леммы (*щеголиха*, *купчиха*, *портниха*) проанализированы как с точки зрения их употребления в корпусе, так и с точки зрения их наличия / отсутствия в толковых словарях XVIII–XXI вв. Примечательно, что в толковых словарях феминитивы чаще всего приводятся не в самостоятельной словарной статье, а объясняются через слово мужского рода при помощи конструкции «женск. к (м. р.)». В связи с этим в данной статье также делается попытка разграничения грамматического (словообразовательного) значения и лексического значения феминитивов на *-иха*, которое не всегда четко проводится в словарях.

Ключевые слова: женский род, корпусная лингвистика, род, русский язык, русский язык XVIII века, русский язык XIX века, словообразование, суффиксы, феминитивы

Благодарности: Авторы благодарят анонимных рецензентов за ценные замечания к первому варианту статьи, а также за идеи, связанные с продолжением исследования.

Для цитирования: Килина Л. Ф., Соколова А. Феминитивы с суффиксом *-их(а)* в текстах XVIII–XX вв.: корпусное исследование. *Вопросы языкознания*, 2022, 1: 85–105.

DOI: 10.31857/0373-658X.2022.1.85-105

Feminitives with the suffix *-ix(a)* in Russian texts of the 18th–20th centuries: A corpus study

Liliia Kilina

Udmurt State University, Izhevsk, Russia; kilin_74@mail.ru

Anastasija Sokolova

Masaryk University, Brno, Czech Republic; sokolova@ped.muni.cz

Abstract: The paper is devoted to Russian nouns with the feminizing suffix *-ix(a)* in historical perspective, starting with the first occurrences in texts and mentions in grammars (for example, in M. V. Lomonosov's grammar) and ending with recent studies on feminitives. Historical data indicate that *-ix(a)* was originally a suffix of masculine nouns, and later acquired feminizing function through usage in female nicknames derived from masculine nouns, while retaining affective / evaluative flavor. The paper also presents the results of a corpus study of feminitives with the suffix *-ix(a)* in texts of the 18th–20th centuries. An analysis of the corpus data is given for each century separately, with stylistic restrictions and without them. Eight feminitives with *-ix(a)* were found in 18th-century texts, 20 in 19th-century texts, and 74 in 20th-century texts. For the most frequent lemmas (*ščegolixa* 'female dandy', *kupčixa* 'merchant woman', *portnixxa* 'female dressmaker'), we analyze both their use in the corpus and their presence/absence in explanatory dictionaries of the 18th–21st centuries. It is noteworthy that in explanatory dictionaries, feminitives are most often not given in an independent entry, but are explained through the masculine noun as "feminine from (masc.)". In this regard, this paper also attempts to distinguish between the grammatical (derivational) meaning and the lexical meaning of the feminitives with *-ix(a)*, which is not always carefully made in dictionaries.

Keywords: 18-century Russian, 19-century Russian, corpus linguistics, derivation, feminine, feminitives, gender, Russian, suffixes

For citation: Kilina L. F., Sokolova A. Feminitives with the suffix *-ix(a)* in Russian texts of the 18th–20th centuries: A corpus study. *Voprosy Jazykoznanija*, 2022, 1: 85–105.

DOI: 10.31857/0373-658X.2022.1.85-105

1. Вводные замечания

В последнее время феминитивы русского языка исследуются довольно активно, см. [Sosnowski, Satoła-Staśkowiak 2019; Сатола-Сташковяк, Сосновски 2019; Гузаерова 2019; 2020; Лаппо, Малиновская 2020; Солтыс 2020; Фуфаева 2020]¹. С функционально-семантической точки зрения существительные со словообразовательным значением женскости (*фельдшершца, студентка, героиня, ткачиха*) являются примерами слов с модификационным словообразовательным значением² (далее — СЗ), выражающим определенный (модифицирующий) признак, содержащийся в значении мотивированного слова по сравнению со значением мотивирующего [Лопатин, Улуханов 2016: 29–30], модификационное

¹ Самым крупным исследованием феминитивов в русском языке является исследование И. В. Фуфаевой, в котором, кроме всего прочего, содержится женский суффиксарий, насчитывающий 24 суффикса, один суффиксоид (*-вумен*), указывается на смену окончания как на способ образования феминитивов (*раб — раба, кум — кума*) и приводится уникальный механизм *эльф > эльфийский > эльфийка* [Фуфаева 2020: 281–295].

² К модификационным значениям, выражаемым аффиксами, относятся также, например, уменьшительно-ласкательное СЗ (деминутивность), увеличительное СЗ (аугментативность), СЗ подобия, собирательности, невзрослости. Подробнее с примерами см. [Лопатин, Улуханов 2016: 29–30].

СЗ фиксирует тип семантического приращения в производном слове [Резанова 1996: 15–18]. Согласно исследованиям Р. Р. Гузаеровой, средствами выражения СЗ «лицо женского пола» являются суффиксальные модели с формантами *-к(а)*, *-(н/ч/щ)иц(а)*, составляющие ядро словообразовательной категории феминитивности, за формантом *-их(а)*³ закрепляется стилистическая маркированность (неузуальная лексика — жаргон, диалект, просторечие), в их употреблении наблюдаются семантические ограничения (существительные на *-их(а)* обозначают самок животных); подробнее см. [Гузаерова 2019; 2020]. Данный список продуктивных суффиксов феминитивов дополняет И. Фуфаева [2020: 285–286, 293–294], отмечая, что в современном русском языке наиболее продуктивным является суффикс *-иц(а)*, *-их(а)* указывается как ограниченно продуктивный: для названий людей малопродуктивен, для новых названий самок животных высокопродуктивен.

В [Лопатин, Улукханов 2016] приводится общее СЗ существительных с суффиксом *-их(а)* — «существо женского пола, относящееся к разряду существ (людей или животных), названному мотивирующим словом», причем далее выделяется четыре подтипа:

- 1) лицо женского пола, принадлежащее к разряду лиц, названному (безотносительно к полу) мотивирующим существительным, например *ткачиха*, *портниха*, *повариха*;
- 2) жена лица, названного мотивирующим существительным, например *купчиха*, *городничиха*, *мельничиха*;
- 3) фантастическое существо женского пола, принадлежащее к разряду существ, названных мотивирующим существительным, например *чертиха*, *лешачиха*;
- 4) самка животного, названного мотивирующим существительным, например *волчиха*, *зайчиха*, *соловыиха* [Там же: 410–411].

В центре нашего исследования находятся существительные с суффиксом *-их(а)*, обозначающие лицо женского пола. Целью исследования является анализ корпусных данных, распределенных по установленным параметрам (см. раздел 3).

2. Суффикс *-их(а)* с исторической точки зрения

По мнению Ю. С. Азарх [2000: 106], «тип модификатов со значением женскости на *-иха* сложился в русском языке не ранее второй половины XVI в.», вместе с тем следует отметить, что подобные единицы стали появляться в русском языке раньше: например, авторами «Словаря русского языка XI–XVII вв.» фиксируется слово *пономариха* ‘жена пономаря’ (Псков. лет., I, 1500 г.). Интересно, что суффикс *-иха*, как отмечает Ю. С. Азарх, использовался для образования мужских отапельлятивных прозвищ, которые сочетались с «отчествами и именами, фамильными прозваниями» и могли употребляться по отношению к лицам «разных социальных слоев общества», например *Басиха* Степан Сергеев, крестьянин, 1490 г., Переславль; князь Василий Иванович *Луциха* Хованский, воевода, 1487 г. (Ономастикон) [Азарх 2000: 106]. Кроме того, «на территории Новгородской земли XV–XVI вв. распространены названия починков и деревень на *-иха* как отапельлятивного, так и антропонимического происхождения» [Там же]. Азарх также говорит о том, что «в актовом языке XVI в. встречаются единичные женские прозвища на *-иха*» (например, *Королиха Евдокия*), особенно важным, на наш взгляд, является замечание о продуктивности андронимов — «прозваний жен по имени, прозвищу, фамилии или роду занятий мужа в ряде современных севернорусских и восточных среднерусских говоров» [Там же].

Таким образом, интересующий нас суффикс первоначально использовался при образовании имен собственных и не имел значения женскости, кроме отдельных случаев

³ Для суффиксов *-их(а)*, *-иц(а)* типичны также оценочный «шлейф», оценочная «память» [Лаппо, Малиновская 2020].

образования женских прозвищ. Причем андронимы на *-иха* не были регулярными в русском языке вплоть до начала XVII в. в связи с регулярностью в старорусской антропониимии мужских отапельлятивных прозвищ на *-иха* [Азарх 1984: 122]. В старорусской деловой письменности характерные для народно-разговорного языка дериваты женского рода на *-иха* от наименований лиц мужского пола появляются с конца XVI в., при этом в старорусский период «личные существительные на *-иха* обычно являются параллельными однокоренными образованиями к наименованиям лиц других моделей» (в качестве примеров приведены *бобылиха* и *бобылица*, *бобылка*, *вориха* и *воровка* и др.) [Там же: 121].

Итак, появление нарицательных имен на *-иха*, обозначающих лицо женского пола, судя по всему, было связано с распространением модели, по которой образовались андронимы. Процесс формирования модели, по которой образовались слова со значением «лицо женского пола», происходил наряду с формированием других моделей, по которым образовались существительные с таким же значением⁴.

По мнению А. В. Суперанской, в современном русском языке суффикс *-их(а)* с модификационным значением женскости активно используется в сфере образования прозвищ, например *Мошиха*, *Зайчиха*, *Бараниха*, *Серёжиха* (все примеры — прозвища жён от имен, фамилий или прозвищ мужей), *Соколиха*, *Фролиха*, *Левчиха* (все примеры — прозвища женщин, девушек и девочек от их фамилий), *Лодыриха* (прозвище-характеристика), причем данный суффикс в сфере прозвищ является однозначно женским (подробнее см. [Суперанская 2003: 492, 497]). Наблюдения А. В. Суперанской подтверждают примеры из Национального корпуса русского языка (далее — НКРЯ)⁵, где зафиксированы женские прозвища с суффиксом *-их(а)*, образованные как от русских, так и от заимствованных слов, что свидетельствует о продуктивности данного суффикса в сфере женских прозвищ.

- (1) *Одна из них выдала себя за еврейку. Другая, более смелая, называла себя «фриц-хой». Были голоса, известные десяткам тысяч немцев, как позывные мировых радиостанций* [Б. А. Слуцкий. Записки о войне. 1945].
- (2) *В нашей деревне фамилии не в ходу, все больше клички да прозвища: Сергушиха там, Калиниха, Скобариха, Федиха — по именам или прозвищам мужей, а у мужиков и того пуще: Витя Неболтай, Серега Кастрюля, Сеня Трактор, Ванька Полос* [Алексей Иванов. За рекой, за речкой. 1982].
- (3) *Как назвать подружку Лога? Логихой или Ложихой? А может, Логеткой?* [Мариам Петросян. Дом, в котором... 2009].

Еще один важный факт, на который следует обратить особое внимание: «У всех словообразовательных коррелятов женского рода и дериватов от наименований лиц мужского пола по профессии, социальной принадлежности актуально контекстное значение ‘жена лица, названного производящей основой’». Это значение не является словообразовательным, оно обусловлено внеязыковыми причинами, узостью производственной сферы, в которой могли принимать участие в XI–XVII вв. женщины, и ограниченностью тех социальных

⁴ Интересны рассуждения В. В. Виноградова, который считает противопоставление слов мужского и женского рода ярким выражением категории рода в русском языке. В результате такого противопоставления возникают семантически соотносительные или омонимические пары, обозначающие живых существ, неживые предметы или отвлеченные предметы: *дурак — дура*, *гость — гостья*, *кассир — кассириша*, *студент — студентка*, *портной — портниха* [Виноградов 1938: 18]. У В. В. Виноградова находим интересные примеры из русской литературы: «...больше говорил с дочерью, чем с управляющим и управляющей» — Н. Г. Чернышевский «Что делать?» [Там же], просторечные выражения «соваться во все стороны, как угорелой кошке; (...) сам ни шкиля, как говорят, не умеет; ты *малокосых* была» — В. К. Тредиаковский «Письмо к приятелю» [Виноградов 1982: 99].

⁵ Здесь и далее все пронумерованные примеры взяты из [НКРЯ].

функций, которые присущи женщине в эти эпохи» [Азарх 1984: 121]. Следовательно, образования на *-иха* изначально могли функционировать как наименования жены по мужу, кроме того, в русском языке на ранних этапах его существования не было особой необходимости различать социальные и профессиональные роли женщин, поэтому часто в контексте трудно увидеть эту разницу.

Первую попытку систематизации существительных со значением женскости предпринял М. В. Ломоносов в «Российской грамматике», где в главе «О произвождении при- тяжательных, отечественных и отеческих имен и женских от мужских» перечисляются следующие суффиксы феминитивов: *-ка, -ха, -ца, -ша, -ня* (*пастух — пастушка, щеголь — щеголиха, мастер — мастерица, генерал — генеральша, князь — княгиня*) [Ломоносов 1755: 97–98]⁶:

Таблица 1

Суффиксы феминитивов в «Российской грамматике» М. В. Ломоносова⁷

Суффиксы	Примечания (значение суффикса)	Примеры
<i>-ца</i>	чины (титуты) российские	<i>царица, полковница, советница, постельница, поручица, черница</i> ⁸
	наименование лица женского пола по роду деятельности	<i>мастерица, перевозчица, шапошница, хлебница, колачница</i>
<i>-ша</i>	чины (титуты) от заимствованных существительных	<i>фельмаршальша, генеральша, гофмейстерша, бригадириша, капитаниша, капральша</i> ⁹
<i>-(и)ха</i>	жена	<i>кузнечиха, сапожничиха</i> ¹⁰
	прозвище, уничижительное значение	<i>чесночиха, костылиха, волчиха, болваниха</i>

Итак, для русского языка XVIII в. были характерны пять суффиксов, с помощью которых от существительных мужского рода могли образоваться соответствующие существительные с общим признаком женскости: *-ка, -(и)ха, -(и)ца, -ша, -ня*. В грамматике указывается и словообразовательная модель: мотивирующее слово м. р. + суффикс женскости = мотивированное слово, обозначающее лицо женского пола. У суффикса *-иха* при этом выделяются два значения: а) жена лица, названного производящей основой, например *кузнечиха, сапожничиха*; б) прозвище (такие имена, как правило, имели стилистическую окраску *уничижительное*), например *чесночиха, болваниха*. Однако исходя из примеров, приведенных в «Российской грамматике» (*щеголь — щеголиха*), можно сделать вывод о третьем (чисто грамматическом) значении имен с суффиксом *-их(а)* — «лицо женского пола». Обратим внимание на то, что М. В. Ломоносов выделяет и значение «наименование лица женского пола по роду деятельности», однако его именуют существительные с суффиксом *-ца*¹¹ (см. выше).

⁶ Для удобства приводим данные в виде таблицы, составленной нами.

⁷ Здесь и далее примеры будут приводиться в современной либо упрощенной орфографии.

⁸ В качестве исключений приводятся слова *королева, княгиня, боярыня, воеводиша, управительша, крестьянка*.

⁹ В качестве исключений приводятся слова *солдатка, игуменья, попадья, протопоиша, дяконница, пономарша*.

¹⁰ Здесь дается примечание, что в значении «жена мастерового человека» (*кузнечиха, сапожничиха*) иногда употребляются существительные на *-ца*.

¹¹ Примечательно, что еще до Ломоносова о суффиксах существительных женского рода писал в XVII в. Ю. Крижанич. У существительных на *-ица* Ю. Крижанич выделил три значения / характеристики: 1) значение женскости (т. е. имена существительные, образованные суффиксальным

Обобщая сказанное выше, заметим, что уже к XVIII в. в русском языке сформировалось несколько моделей для образования личных существительных женского рода, в том числе и модель с суффиксом *-их(a)*, при этом не было четких различий между дериватами женского рода со значением лица по профессии и со значением лица женского пола по мужу. В XX в. все чаще возникает необходимость обозначить лицо женского пола по профессии: «Так велика была потребность и желание назвать утверждающую себя как полноправного гражданина женщину отдельным словом жен. рода, что оживает и активизируется даже такой суффикс, как *-их(a)*, и с его помощью возникают некоторые слова (которые позже были заменены более удачными либо утратились без всякой замены и без всякого ущерба для языка), например: *наробразиха, завнаробразиха, слесариха, старшиха, сыпариха, токариху, члениха, шкрабиха, шпионику* и т. п., причем некоторые из этих слов могли употребляться как нейтральные в стилистическом отношении, но большинство уже в те годы воспринимались как просторечные и встречались окказионально...» [Янко-Триницкая 1966: 181]. Как видим, в данном случае речь идет об активизации суффикса *-их(a)* в определенный период развития русского языка, что было обусловлено социальными причинами, особый акцент сделан исследователем на ограниченности употребления таких языковых единиц в связи с их стилистической окраской: автор указывает на то, что слова с этими суффиксами порождали нежелательные ассоциации с названиями женщин по мужу и постепенно приобретали сниженный стилистический оттенок [Там же: 182]. Значит, несмотря на активность приведенной модели и большое количество подобных примеров, носителями русского языка по-прежнему имена женского рода с суффиксом *-иха* могли восприниматься неоднозначно (и как названия лиц по мужу, и как названия лиц по профессии).

В. В. Виноградов говорит о том, что категория рода в русском языке отражает социальную действительность, но в ретроспективе, причем грамматические модели изменяются благодаря появлению и распространению суффиксов женского рода, поэтому в обиход входят слова типа *бухгалтериха, кассириха, лаборантка* [Виноградов 1938: 23]. Однако здесь же Виноградов отмечает тот факт, что слова с суффиксом женскости могут обозначать не только женщину по роду деятельности, но и жену (приводятся примеры *профессориха, инженериха*), суффиксы *-иха* (*профессориха*), *-иха* (*врачиха*), *-чка* (*медиичка*) являются при этом экспрессивно окрашенными, а потому соответствующие слова мужского рода (*профессор, врач, медик*) имеют больший логический вес и семантический объем [Виноградов 1938: 22].

З. А. Потиха в 1970 г. выпускает работу «Современное русское словообразование. Посobie для учителя» и в ней указывает на то, что суффикс *-их(a)* выделяется в названиях женщин по профессии и по разным признакам, такие наименования образуются от соотносительных наименований лиц мужского пола, например *пловчиха* (*пловец*), *повариха, портниха, сторожиха, ткачиха, трусиха*, здесь же находим примечание: «Некоторые подобные образования воспринимаются как названия жен по деятельности мужа, например: *дьячиха, купчиха, мельничиха, старостиха*» [Потиха 1970: 197]. Мы видим, что наименования женщин по профессии объединяются с другими типами наименований, очевидно, потому, что в ряде случаев достаточно сложно определить, к какому именно типу то или иное наименование относится.

В [РГ 1980, § 380–392] указано, что при помощи суффикса *-иха* образуются существительные с модификационным значением женскости, которым обладают:

способом от соответствующих слов мужского рода), например *кральица, баница, владичица*, 2) деминутивное значение, например *сестрица, главица, овчица*, 3) формант *-ица* как характеристика композитов, например *Богородица, Доброчиница* [Križanić 1666: 17]. Суффикс *-ица* со значением женскости наблюдается также, например, в хорватском языке, см. диахронический обзор в статье [Horvat, Mihaljević 2019].

а) существительные со значением лица женского пола, мотивированные существительными мужского рода со значением лица, в этой группе выделяются имена со значением «жена лица, названного мотивирующим словом»; б) названия самок животных, мотивированные названиями животных¹². Итак, мы можем констатировать тот факт, что авторы грамматики не выделяют значение «наименование лица женского пола по роду деятельности», кроме того, значение «жена лица, названного мотивирующим словом» относится к одной из разновидностей общего значения женскости. Наряду с суффиксом *-иха* модификационным значением женскости обладают также 11 следующих суффиксов: *-к(а)* — *соседка, воровка, гречанка, биологичка* (разг.), *гордячка*; *-иц(а)* — *мастерица, певица, свояченица*; *-ниц(а)* — *свидетельница, учительница*; *-ш(а)* — *редакторша, миллионерша* (все слова разг.); *-н(а)* — *царевна, Петровна*; *-ин(я)* — *богиня, графиня*; *-л/-* — *болтунья, лгунья*; *-есс(а)* — *поэтесса, принцесса*; *-ис(а)* — *аббатиса, актриса*; *-ин(а)* — *синьорина, Александрина*; *-ух(а)* — *оленуха, маралуха*. Суффикс *-иха* носит разговорную окраску¹³ и не может использоваться в нейтральной речи в качестве официальных наименований лиц¹⁴ [РГ 1980, § 393].

3. Методология исследования

Исследование было проведено при помощи комбинации корпусных методов и анализа словарного материала. На первом этапе исследования была установлена частотность лемм с формантом *-иха* по данным НКРЯ, ограниченным по следующим параметрам:

- 1) хронологический параметр (годы создания текстов, всего три подкорпуса: 1700–1799, 1800–1899, 1900–1999),
- 2) стилистический параметр: а) без стилистических ограничений, б) со стилистическими ограничениями (нехудожественные тексты: обиходно-бытовые, официально-деловые, публицистические),
- 3) семантический параметр, поиск осуществлялся по двум запросам: а) **иха, S & f & anim, r:concr & d:fem*, б) **иха, S & f & anim*¹⁵.

¹² В этом значении в современном русском языке конкуренцию суффиксу *-их(а)* составляет суффикс *-иц(а)*, подробнее см. [Голев, Фаломкина 2020].

¹³ Разговорную окраску имеет также морф *-ичк(а)*, однако в данной статье мы будем рассматривать не морфы, а суффикс, несущий разговорную окраску и участвующий в образовании названий лиц женского пола. Морф *-ичк(а)* представляет суффикс *-к(а)*, который является продуктивным и активно используется в нейтральной речи (нейтральном стиле): *соседка, активистка, француженка, корейнка* и т. д.

¹⁴ Интерес вызывает примечание А. Романова, который о суффиксе *-иха* пишет следующее: «Нейтральный суффикс, продуктивный в литературном словообразовании при производстве существительных женского рода со значением лица, используется и в молодежном жаргоне. Формант присоединяется к сленговым, как правило, именным основам и участвует в образовании одушевленных существительных: *бичиха* ‘женщина-бродяга’, *чувиха* ‘девушка, молодая женщина’. Эти существительные в некоторых случаях могут осложняться метафорическими переносами: *клециха* ‘девушка, молодая женщина’» [Романов 2011: 224–225].

¹⁵ Поиск в корпусе производился с тэгом *anim*, который позволил автоматически исключить из выборок географические названия на *-иха* и ошибочные результаты, не являющиеся предметом нашего исследования, но составляющие значительную часть результатов поиска. В качестве примера приведем следующие данные поиска в корпусе текстов, созданных в 1800–1899 гг. (без стилистических ограничений): запрос **иха, S & f* — всего 6145 вхождений (включая результаты типа *село Бородуиха, устье Албазихи, Плюиха, в ловких руках Меттерниха*), запрос **иха, S & f & anim* — всего 4703 вхождения.

Во всех выборках были оставлены только существительные на *-иха* со значением «лицо женского пола», т. е. из выборок были вручную исключены существительные на *-иха*, обозначающие самок животных (например, *ослиха, волчиха, воробыха*), топонимы и прозвища (например, *Сычиха, Сеньчиха, Хохлачиха, Пафнутьиха*). Во всех выборках представлены результаты со снятой вручную омонимией, речь идет, например, о формах *купчих* (*купчиха*) — *купчих* (*купчая*), *городничих* (*городничиха*) — *городничих* (*городничий*), *шутиха* (одушевленное) — *шутиха* (неодушевленное).

Результаты поиска по всем вышеуказанным параметрам приводятся в следующем разделе статьи в рамках анализа частотных лемм, распределенных по векам — начиная с XVIII в. и заканчивая XX в.

На втором этапе было проведено исследование частотных лемм с суффиксом *-иха*¹⁶ на материале следующих словарей¹⁷:

1. Словарь Академии Российской (1789–1794) [САР].
2. Словарь русского языка XVIII века (1984–1991) [СлРЯ].
3. Толковый словарь живого великорусского языка (1863–1866) [СД].
4. Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова (1935–1940) [СУ].
5. Толковый словарь русского языка под ред. С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой (2006) [ОШ].
6. Словарь русского языка: В 4-х т. под ред. А. П. Евгеньевой (1999) [МАС].
7. Новый словарь русского языка под ред. Т. Ф. Ефремовой (2002) [Еф.].
8. Большой толковый словарь под ред. С. А. Кузнецова (2014) [БТС].

По толковым словарям¹⁸ проверялось значение лемм на *-иха* по двум основным параметрам:

1. Способ описания леммы на *-иха*: а) лемма на *-иха* описана в самостоятельной словарной статье, б) лемма на *-иха* является частью словарной статьи слова мужского рода, в) лемма на *-иха* в словаре не зафиксирована.
2. Значение леммы на *-иха*: а) количество зафиксированных значений, б) стилистическая маркированность.

¹⁶ В данном исследовании анализируются найденные в корпусе лексемы с концовкой *-иха* и делается попытка разграничения словообразовательного и лексического значений. В статье не поднимается вопрос о деривационной структуре мотивирующих слов, конкуренции суффиксов и факторов, определяющих выбор того или иного суффикса, т. е. не анализируются варианты типа *щеголиха, щеголка, щёгольша*. Словообразовательному аспекту феминитивов на *-иха* будет посвящено отдельное исследование.

¹⁷ Выбор исторических словарей обусловлен хронологическими рамками, установленными при проведении корпусного исследования. Так, нами практически не был использован «Словарь русского языка XI–XVII вв.», несмотря на то, что слова на *-иха* (в том числе и рассматриваемые в данной работе) в этом словаре представлены.

¹⁸ Выбор толковых словарей обусловлен современной парадигмой исследований феминитивов, см., например, [Лаппо, Малиновская 2020], где отмечается следующее: «Факт присутствия лексемы в толковом словаре русского языка означает ее закреплённый характер в узусе. Помимо этой очевидной констатации обращение к словарям демонстрирует как отечественные лексикографические традиции, так и особенности семантики феминитивов и их лингвистической интерпретации» [Там же: 54]. Выбор данных словарей обусловлен также разными принципами строения словарной статьи: в СД преобладает гнездовой принцип, в БТС и ОШ используются элементы гнездового принципа (производные слова даются в одной статье с производящим), в МАС принята система отсылочных толкований, причем в отсылочных статьях обычно не повторяется стилистическая помета, если она есть в основной статье.

4. Анализ корпусных и словарных данных

4.1. Корпус текстов 1700–1799 гг.

Таблица 2

Результаты поиска в текстах 1700–1799 гг.

Лемма	Без стилистических ограничений		Со стилистическими ограничениями	
	*иха, S & f & anim, r:concr & d:fem	*иха, S & f & anim	*иха, S & f & anim, r:concr & d:fem	*иха, S & f & anim
городничиха	1	1	1	1
купчиха	12	12	4	4
повариха	10	10	1	1
спесиха	—	1	—	—
старостиха	2	2	—	—
стрельчиха	—	2	—	2
щеголиха	65	65	46	46
ямщичиха	—	1	—	—
<i>Всего</i>	90	94	52	54

Итак, самым частотным наименованием лица женского пола в нашей выборке за рассматриваемый период является слово *щеголиха*, образованное от соответствующего наименования лица мужского пола. В САР данное существительное находим в словарной статье слова *щеголь*, у которого приведено два значения, причем в первом значении зафиксировано, что *щеголь* и *щеголиха* — люди, которые стремятся одеваться по-новому, а во втором, что это люди, у которых есть дорогие и хорошие вещи. В СД интересующее нас существительное женского рода также представлено как парное наименование к существительному мужского рода, в приведенном здесь толковании отражена связь существительных *щеголь* и *щеголиха* с глаголом *щеголять*, который в этом случае имеет значение ‘нарядно, пышно одеваться, рядиться, носить лучшие платья и украшения’. Интересен тот факт, что в ряду синонимов также приведены парные наименования мужского и женского рода (*модник* — *модница*, *франт* — *франтиха*), однако добавлены еще два слова женского рода, имеющие явную негативную коннотацию, — *белоручка* и *чистоплюйка*. Итак, в толковых словарях, отражающих языковое сознание эпохи, приближенной к интересующей нас, слово *щеголиха* не имеет собственной словарной статьи; чтобы понять, какой смысл несет это существительное, необходимо обратиться к словарной статье слова *щеголь*.

Такая тесная семантическая и грамматическая связь между существительными мужского и женского рода подтверждается примерами из НКРЯ, в которых оба слова могли употребляться в одном контексте, например:

- (4) *Иметь небольшое здоровьецо значит у щеголих притворяться нездоровой, чтоб в нарядном дезабылье лежать на прекрасной постельке и прельщать приезжающих щеголей* [Я. Б. Княжнин. Примечания к стихотворениям. 1765–1790].

Существительное женского рода мы обнаружили во всех типах выборки (с семантическим признаком женскости и без него, со стилистическими ограничениями и без них). Вместе с тем стоит отметить, что частотность именно этой лексемы обусловлена ее употреблением у одних и тех же авторов, в том числе в текстах, в которых так или иначе речь шла о моде

или особенностях поведения людей: наибольшее количество случаев мы обнаружили в произведении «Почта Духов, или Ученая, нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами» И. А. Крылова (1789 г., жанр — художественная литература, 12 употреблений) и «Живописец. Третье издание 1775 г.» Н. И. Новикова (жанр — публицистика, 18 употреблений в двух частях).

Интересен тот факт, что в указанном произведении И. А. Крылова только в одном случае *щеголиха* употребляется вместе с существительным *щеголь*, когда речь идет об особом типе людей:

- (5) *Таким-то образом, восхищаясь моею шуткою, посредством которой причинил я столько зла людям, а особливо **щеголям** и **щеголихам**, и видя, что все они в страхе и в превеликом неудовольствии на неудачное свое гулянье разбежались, утишил я бурю и дню возвратил прежнее его сияние.*

Во всех остальных случаях *щеголихой* автор называет женщину, которая следует моде, причем часто такая женщина оценивается негативно:

- (6) *В этом-то ты больше всего обманываешься: любовникам не нужны излишние уборы, а им нужна горячность сердца; о уборах судит только публика, нежность же модной **щеголихи** не имеет в оных нисколько участия, а действует одно только самолюбие; — да, одно только самолюбие и тщеславие; они-то больше всего ею обладают и располагают ее вкусом [И. А. Крылов. Почта духов... 1789].*

В этом же тексте встречаем и иронию по отношению к *женщинам-щеголихам*:

- (7) *Я вас, в два часа, коротко познакомлю с моей тетушкою, которая уже тридцать лет учится науке нравиться и почитается здесь во всем городе первою **щеголихою**. Вы, кроме ее, не получите ни от кого подробнее наставления о нарядах. Да, это женщина такая, которая делает честь своему полу и живет прямо **щегольски**: днем спит, ночное время проводит в забавах; туалет ее занимает 4 часа; обеденный и вечерний стол 5; 9 часов она провождает во сне, а прочее время употребляет для своих веселостей; словом, это беспримерная женщина, и мы завтра у нее обедаем [И. А. Крылов. Почта духов... 1789].*

Данный пример интересен тем, что здесь подробно описан образ жизни именно *женщины-щеголихи*, сказанное не имеет отношения к мужчине.

В тексте Н. И. Новикова также можно наблюдать отрицательное или ироничное отношение к *щеголихе*, однако здесь немного больше случаев употребления в одном контексте с существительным *щеголь* (3 примера):

- (8) *Между прочими выхвалял он более всех сочинение, в котором он предлагает способ для приобщения молодых российских господчиков ко чтению русских книг. Оный в том состоит, чтобы русские книги печатать французскими буквами. Г. Выдумщик уверяет, что сим способом можно приманить ко чтению российских книг всех **щеголей** и **щеголих**; да и самых тех, которые российского языка терпеть не могут [Н. И. Новиков. Живописец. 1775].*

Таким образом, оба выделенных слова называют людей, слепо следующих моде, в данном случае моде на иностранное (французское). Так как мода в первую очередь актуальна для женщины, слово *щеголиха* начинает обозначать женщину, которая предпочитает все новое, модное:

- (9) *А теперь все **щеголихи** и новомодные женщины, право, так тебя боятся, как робята азбуки [Н. И. Новиков. Живописец. 1775].*

Проанализировав данные словарей XX–XXI вв., мы обнаружили, что слово *щеголиха* имеет собственную словарную статью в СУ, МАС, Еф., однако ни в одном из этих словарей

нет значений данного существительного, лишь указано, что это женское наименование к слову *щеголь*. Таким образом, чтобы понять, какое значение имеет существительное *щеголиха*, нужно обратиться к словарной статье существительного *щеголь*, которое во всех трех словарях имеет сходное толкование: 'нарядно или изысканно одетый человек, который имеет пристрастие к дорогим нарядам, любит наряжаться, франт'. В ОШ и БТС *щеголиху* можно обнаружить только в словарной статье слова *щеголь*: «Щеголь, -я, м. Человек, любящий наряжаться, нарядно одетый, франт. Большой щ. || ж. щеголиха, -и» [ОШ]. Таким образом, мы можем сделать вывод, что даже если у существительного *щеголиха* есть в словаре собственная словарная статья, у него нет в этой статье самостоятельного значения, во всех случаях это существительное женского рода к соответствующему существительному мужского рода. Кроме того, ни в одном из рассмотренных нами словарей нет никаких указаний на стилистическую маркированность существительного *щеголиха*.

В [Лопатин, Улуханов 2016: 410] слово *щеголиха* имеет грамматическое значение «лицо женского пола, принадлежащее к разряду лиц, названному (безотносительно к полу) мотивирующим существительным». Наряду со *щеголихой* этим значением обладают также слова *ткачиха*, *портниха* (см. анализ корпуса текстов 1900–1999 гг.), *пловчиха*, *повариха*¹⁹, *франтиха*, *трусиха*, *шутиха* (одуш.), *гребчиха*, причем все слова приводятся без каких-либо стилистических помет²⁰.

4.2. Корпус текстов 1800–1899 гг.

Таблица 3

Результаты поиска в текстах 1800–1899 гг.

Лемма	Без стилистических ограничений		Со стилистическими ограничениями	
	*иха, S & f & anim, r:concr & d:fem	*иха, S & f & anim	*иха, S & f & anim, r:concr & d:fem	*иха, S & f & anim
бобылиха	—	2	—	2
богачиха	—	9	—	1
городничиха	54	54	15	15
дворничиха	81	81	12	12
дьячиха	199	199	7	7
исправничиха	—	7	—	1
купчиха	557	557	113	113
лешачиха	—	13	—	4
мельничиха	39	39	16	16
повариха	43	43	11	11
портниха	165	165	25	25
ратничиха	—	3	—	1

¹⁹ Для сравнения: в БТС лексема *повариха* является частью словарной статьи *повар* и имеет помету (разг.).

²⁰ Со стилистическими пометами приводятся, например, *врачиха* (прост.), *сторожиха*, *дворничиха* (оба — разг.) [Лопатин, Улуханов 2016: 410].

Лемма	Без стилистических ограничений		Со стилистическими ограничениями	
	*иха, S & f & anim, r:concr & d:fem	*иха, S & f & anim	*иха, S & f & anim, r:concr & d:fem	*иха, S & f & anim
старостиха	178	178	1	1
сторожиха	24	24	1	1
трусиха	42	42	2	2
франтиха	36	36	8	8
целовальничиха	—	23	—	6
чудиха	—	16	—	3
шутиха	27	27	12	12
щеголиха	99	99	26	26
<i>Всего</i>	1544	1617	249	267

Как видим, в рассматриваемом корпусе текстов самым частотным является существительное *купчиха*, которое превалирует во всех типах выборки (с семантическим признаком женскости и без него, со стилистическими ограничениями и без них).

В САР существительное *купчиха* имеет собственную словарную статью, в которой содержится отсылка к соответствующему существительному мужского рода: *Купчиха, хи, с. ж. Жена купцова*. Очевидно, составителям словаря важно было описать только значение существительного *купец*. Интересен тот факт, что в словаре есть и прилагательное *купцовъ* со значением ‘принадлежащий купцу’, таким образом, при толковании интересующего нас существительного женского рода используется прилагательное с притяжательным значением. Итак, судя по данным этого словаря, существительное *купчиха* относилось к именам с общим грамматическим значением «жена лица, названного мотивирующим словом», толкование этого слова дается через семантически соотносительную пару — существительное женского рода объясняется через существительное мужского рода. В то же время в СлРЯ такое значение приведено: *Купчи́ха, и, ж. Жена купца. Пришед купца оно́го к жене, и презентовала алмазною перстень. Купчиха на презент оны прелстилас. Александр 165. {...} Един. Женщина, занимающаяся торговлей, покупками. О швеях, продавицах или купчихах модных вещей. Дом. леч. I 175*. Этот факт имеет большое значение еще и потому, что слову *купчиха* посвящена в этом словаре отдельная словарная статья. В СД слово *купчиха* приведено в статье слова *купец*: *Купчиха ж. жена купца; женщина, записанная въ гильдію, торгующая*. Таким образом, в словарной статье также содержится указание на формирование самостоятельного лексического значения у слова *купчиха* — ‘женщина, которая занимается торговлей’.

В сделанной нами выборке из НКРЯ существительное *купчиха* лишь в нескольких случаях употребляется в контексте с соответствующим существительным мужского рода, именно в этих случаях *купчиха* — это жена купца:

- (10) *Купцы, встречаясь не только с государем, но и с генералами, схватывали с головы своей шляпу, несмотря на беспрестанное повторение «не скидать»; а купчихи были и тут залитые бриллиантами!* [М. А. Дмитриев. Главы из воспоминаний моей жизни (Фрагменты). 1864].

Важно отметить, что в ряде примеров именно женское наименование выходит на первый план, существительное *купец* при этом не употребляется:

- (11) *Купчиха с супругом часто навещали этого ребенка, признавая его за своего, привозили лакомства, ласкали его и любили* [А. Н. Молчанов. В Ясной Поляне. 1890].

О том, что *купчиха* могла иметь самостоятельный социальный статус, относиться к определенному сословию, свидетельствуют многочисленные примеры, в которых на этот статус указывается:

- (12) *По происхождению я — чистая **купчиха**, ярославско-ростовско-нерехтская, но по званию не принадлежу к этому сословию; но все мои родственные связи в нём, и поэтому я не могу, мне трудно создать для себя связь с так называемой интеллигенцией* [Е. А. Дьяконова. Дневник русской женщины. 1894].

Прямого указания на то, что *купчихи* занимались торговлей, в проанализированных нами фрагментах мы не нашли, однако то, что они могли совершать покупки, сомнения не вызывает:

- (13) *Публика рыночная, как и везде, перекупки, повара и кухарки, изредка попадает заплывшая жиром **купчиха-гастрономка** да такого же содержания особа духовного чина, сугубо рачащая о плоти греховной* [Т. Г. Шевченко. Дневник. 1857–1858].

Судя по всему, *купчихи* достаточно рано становятся символом достатка, богатства, и в этом случае не имеет значения, кто наживал это богатство — купец или же сама *купчиха*:

- (14) *Румянцев с горя, да и потому, что финансовые дела в то время были у него очень плохи, задумал жениться на богатой **купчихе**. <...> Я беден, мне жить не на что, оттого и хочу жениться на богатой **купчихе*** [М. Ф. Каменская. Воспоминания. 1894].

В нескольких текстах упоминается тот факт, что именно *купчихи* носили бриллианты, что также свидетельствует об их исключительном благосостоянии:

- (15) *Бриллианты, коими наши дамы были так богаты, все попрятаны и предоставлены для ношения царской фамилии и **купчихам*** [Ф. Ф. Вигель. Записки. 1850–1860].

Наличие собственных денежных средств позволяло женщинам этого сословия чувствовать себя независимыми, они могли самостоятельно распоряжаться своим имуществом, завещать его после смерти родственникам:

- (16) *На кладбище громко говорили, что **купчиха** Конопатчикова оставила шести сынам — каждому по двадцати пяти тысяч, и трем дочерям — каждой по десяти. Да старшему сыну отказала лавку, а божие благословение разделила между всеми поровну* [М. Е. Салтыков-Щедрин. Сборник. 1875–1879].

Постепенно в языковом сознании *купчиха* начинает ассоциироваться с отсутствием вкуса, надменностью:

- (17) *Ах, как я не люблю этих неприступных медведиц, которые, желая поддержать какой-то высший тон, не замечают того, что, вместо знатных дам, они имеют всю наружность надутых **купчих*** [Н. А. Дурова. Кавалерист-девица. 1835].

Кроме того, в большинстве примеров *купчиха* предстает женщиной с избыточным весом, с ней могут сравнивать слишком большие географические объекты:

- (18) *С берега Кострома — точно русская **купчиха** расплзлась в ширину* [Е. А. Дьяконова. Дневник русской женщины. 1892].

В толковых словарях XX–XXI вв. интересующее нас слово представлено по-разному, однако только в словаре ОШ у него нет собственной словарной статьи, оно приведено в статье слова *купец*, в данном словаре *купчиха* — жена купца, т. е. богатого торговца, владельца торгового предприятия. В СУ слово *купчиха* представлено как 1) женское наименование к слову *купец* и 2) жена купца; в МАС как 1) жена купца и 2) женщина, девушка из купеческого сословия, рода; в словаре Ефремовой как 1) женщина из купеческого

сословия и 2) жена купца. Показателен тот факт, что в БТС, кроме уже приведенных значений, указано еще одно: *Пренебр. и ирон. Женщина, склонная к стяжательству. Превратиться в купчиху. // О женщине грубой, нечуткой*. Таким образом, существительное *купчиха* приведено в качестве женского наименования к существительному *купец* только в СУ и ОШ, значение ‘жена купца’ находим в СУ, МАС, Еф., БТС, значение ‘женщина, девушка из купеческого сословия, рода’ — в МАС, Еф., БТС. В последнем словаре, в отличие от остальных, содержатся данные о том, что *купчиха* — слово устаревшее, но при этом зафиксировано новое значение ‘женщина, склонная к стяжательству; грубая, нечуткая’ и стилистическая окраска (пренебр., ирон.), указывающие на негативное отношение к женщине, которую называет это слово. Именно это негативное отношение мы наблюдаем во многих примерах из выборки НКРЯ за 1800–1899 гг.

В [Лопатин, Улуханов 2016: 410] слово *купчиха* называется как производное от *купец* со значением «жена лица, названного мотивирующим словом», причем оно включено в один ряд с *городничиха, полковничиха, исправничиха, лесничиха, становиха, мельничиха, урядничиха, дьячиха, сотничиха, стрелчиха, старости́ха, кузнечиха, пономариха, бобыли́ха, скопчиха* с пометой, что все слова являются разговорными и устаревшими.

4.3. Корпус текстов 1900–1999 гг.

В текстах XX в. возрастает количество лемм с суффиксом *-иха* со значением «лицо женского пола» (всего 74 леммы²¹), поэтому корпусные данные приводятся в виде двух частотных списков:

1. Только те леммы, которые были найдены при поиске без стилистических ограничений по тэгам *иха, S & f & anim (т. е. без семантического параметра *nomina feminina*), всего 74 леммы на *-иха* со значением женскости (не включая топонимы и прозвища) — таблица 4 (с. 99). Знаком (*) обозначены те леммы (всего 18), которые в корпусе имеют также семантический признак *nomina feminina* (тэг g:concr & d:fem).
2. Только те леммы, которые были найдены при поиске со стилистическими ограничениями по тэгам *иха, S & f & anim (т. е. без семантического параметра *nomina feminina*), всего 37 лемм на *-иха* со значением женскости (не включая топонимы и прозвища) — таблица 5 (с. 100). Знаком (*) обозначены те леммы (всего 17²²), которые в корпусе имеют также семантический признак *nomina feminina* (тэг g:concr & d:fem).

Большее количество лемм на *-иха* в корпусе текстов XX в. связано с тем, что он крупнее, чем корпуса XVIII и XIX вв.: корпус текстов 1700–1799 гг. содержит 2195 документов, 6 563 517 слов (без стилистических ограничений), 1309 документов, 2 802 898 слов (с установленными нами стилистическими ограничениями), корпус текстов 1800–1899 гг. содержит 6993 документа, 73 314 948 слов (без стилистических ограничений), 4598 документов, 29 178 165 слов (с установленными нами стилистическими ограничениями), корпус текстов 1900–1999 гг. содержит 75 663 документа, 175 180 599 слов (без стилистических ограничений), 64 687 документов, 71 955 576 слов (с установленными нами стилистическими ограничениями). Для наглядности приведем графики, отражающие соотношение общего количества слов в корпусах и слов на *-иха* (с. 100–101).

²¹ В текстах XIX в. при поиске как с ограничениями, так и без них было найдено 20 лемм.

²² В выборке по стилистически ограниченным текстам (нехудожественные тексты: обиходно-бытовые, официально-деловые, публицистические) отсутствует лемма *полковничиха* (см. табл. 4).

Таблица 4

**Частотный список феминитивов на -иха в текстах 1900–1999 гг.
(без стилистических ограничений, *иха, S & f & anim)**

портниха*	703	воеводиха	9	чудачиха	3
купчиха*	383	богачиха	8	родиха ²³	3
повариха*	355	бомжиха	8	начальничиха	2
врачиха* ²⁴	299	казачиха	8	плотничиха	2
дворничиха*	271	головиха	8	подполковничиха	2
ткачиха* ²⁵	263	судыха	7	консьержиха	2
сторожиха*	249	упырих	7	герл-френдиха герлфрендиха	2
трусиха*	138	кулачиха	6	бородачиха	1
чувиха*	73	урядничиха	6	гребчиха	1
мельничиха*	53	чертих	6	кержачиха	1
франтих*	51	кавэчиха	6	королих	1
швейцариха	50	домовниха	5	людоедиха	1
щеголих*	46	жюльничиха	5	нотариусиха	1
старостиха*	45	писариха	5	скобариха	1
шутиха*	37	сырих	5	троллих	1
дьячиха*	35	земчиха	4	фричиха	1
пловчиха*	27	палачиха	4	члених	1
городничиха*	23	зубниха	4	экстрасенсиха	1
исправничиха	23	бичиха	3	крепостничиха	1
стрельчиха	15	завучиха	3	агентиха	1
попадыха	15	лекарих	3	поводырих	1
столярих	12	полковничиха*	3	слесариха	1
прасолих	11	послих	3	иконоборниха	1
лешачиха ²⁶	10	скорнячиха	3	курсиха	1
пекарих	10	целовальничиха	3		

²³ А также *неродиха* — 3.

²⁴ В корпусе текстов XX в. нами были найдены также дериваты: *ветврачиха* — 1, *главврачиха* — 5, *зубоврачиха* — 1.

²⁵ А также *ковроткачиха* — 2.

²⁶ А также *лесачиха* — 1.

Таблица 5

**Частотный список феминитивов на -иха в текстах 1900–1999 гг.
(со стилистическими ограничениями, *иха, S & f & anim)**

портниха*	233	трусиха*	14	урядничиха	1
купчиха*	146	щеголиха*	12	писариха	1
ткачиха* ²⁷	101	кавэчиха	6	сыриха	1
врачиха* ²⁸	67	шутиха*	5	палачиха	1
повариха*	64	жульничиха	5	бичиха	1
сторожиха*	52	стрельчиха	4	завучиха	1
дворничиха*	30	судьиха	4	послиха	1
дьячиха*	27	старостиха*	3	подполковничиха	1
чувиха*	24	пловчиха*	3	бородачиха	1
франтиха*	18	бомжиха	3	скобариха	1
городничиха*	18	лешачиха	1	троллиха	1
швейцариха	17	богачиха	1		
мельничиха*	15	кулачиха	1		

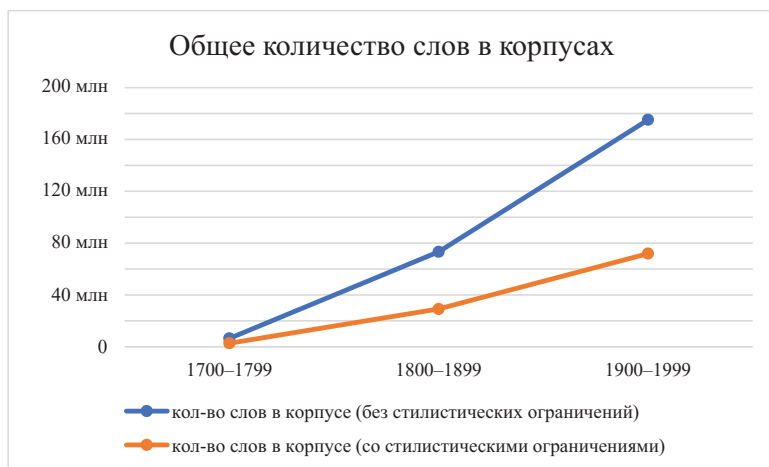


График 1

²⁷ А также *ковроткачиха* — 2.

²⁸ А также *главрачиха* — 5.

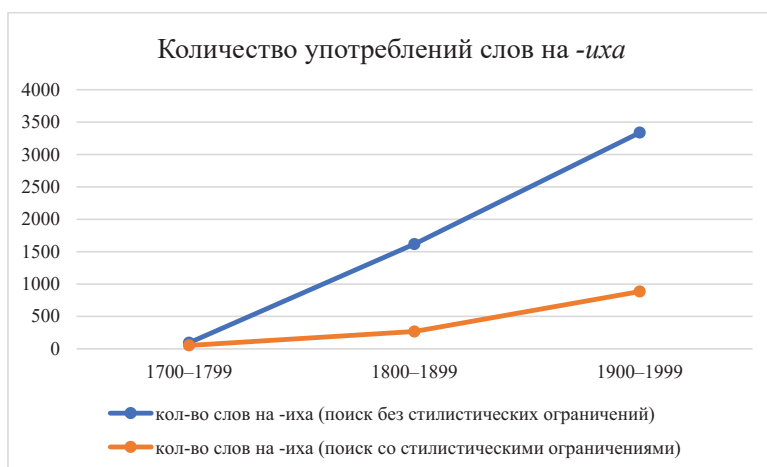


График 2

Итак, самой частотной леммой в корпусе текстов 1900–1999 гг. является *портниха*: 703 раза при поиске без стилистических ограничений, 233 раза при поиске со стилистическими ограничениями. Согласно корпусным данным, лемма *портниха* появляется уже в текстах XIX в. (зафиксирована 86 раз), первое употребление относится к 1832 г.:

- (19) В ее передней **портнихи**, башмачницы, швеи, свои или призванные от соседей, мерили, кроили, готовили приданое барышне [А. О. Корнилович. Андрей Безыменный (Старинная повесть). 1832].

Наряду с *портнихой* частотными леммами в корпусе текстов 1900–1999 гг. являются следующие (приведены первые 10 лемм):

Таблица 6

Частотный список феминитивов на *-иха* в текстах 1900–1999 гг. (первые 10 лемм)²⁹

Поиск без стилистических ограничений	Поиск со стилистическими ограничениями
портниха	портниха
купчиха	купчиха
повариха	ткачиха ↑
врачиха	врачиха
дворничиха	повариха ↓
ткачиха	сторожиха ↑
сторожиха	дворничиха ↓
трусиха	дьячиха ↑
чувиха	чувиха
мельничиха	франтиха ↑

²⁹ Знак (↑) либо (↓) обозначает повышение либо понижение частотности леммы в корпусе нехудожественных (обиходно-деловых, официально-деловых, публицистических) текстов XX в. по сравнению с корпусом текстов XX в., не ограниченных по стилистическому параметру.

В толковых словарях XX в. слово *портниха* не имеет собственной словарной статьи: в СУ, ОШ, Еф., БТС лемма *портниха* является частью словарной статьи *портной* и определяется как ‘мастер, специалист по шитью платья / одежды’, только в МАС лемма *портниха* определяется в самостоятельной словарной статье как ‘специалистка по шитью платья, преимущественно женского’.

Судя по примерам, найденным в корпусе текстов 1900–1999 гг., профессия портнихи была довольно популярной в XX в., причем портнихи делились на различные категории, о чем свидетельствуют коллокации типа *дешевая портниха*, *дорогая портниха*, *очень дорогая портниха*, *модная портниха*. У портних могли быть свои *мастерицы*:

- (20) *Жили они в последнее время в Нижнем-Новгороде у портнихи в качестве мастериц* [неизвестный. Москва. В западн (1910.09.11) // «Русское слово», 1910].

Слова *портной* и *портниха* могли употребляться в одном контексте, однако не в качестве семантически соотносительных пар³⁰, а в качестве контекстуальных антонимов, например:

- (21) *Интересно еще рассказывала одна портниха Тимковскому. Был назначен митинг портних (это еще до начала восстания). Портнихи явились разодетые, принаряженные и все посматривали на собравшихся портных и ждали, когда же начнутся танцы. А портные на портних ни малейшего внимания* [Е. Я. Кизеветтер. Революция 1905–1907 гг. глазами кадетов: (Из дневников). 1905–1907].

Лемма *портниха* используется преимущественно в стилистически нейтральных (кон)текстах, о чем свидетельствуют коллокации типа *хорошая портниха*, *лучшая портниха*, *отличная портниха*, *московская портниха*.

Интересны примеры, в которых слово *портниха* употребляется в одном ряду с другими словами, обозначающими лицо по роду деятельности:

- (22) — *Не будете вы ни портнихой, ни астрофизиком*, — говорит он, — *а будете вы археологом и еще танцовщицей* [Михаил Анчаров. Теория невероятности. 1965].

В этом примере четыре словоформы обозначают лицо женского пола по роду деятельности, но только две из них (*портниха*, *танцовщица*) имеют грамматические признаки женского рода (форманты *-иха*, *-(и)ица*), слова *астрофизик*, *археолог* используются в форме грамматического мужского рода, однако в корпусе зафиксированы феминитивы с суффиксами женского рода — *физичка* (24 раза), *археологиня* (3 раза).

- (23) *С тринадцати лет — я и кухарка, и портниха, и нянька, и доктор, и уборщица* [Александра Маринина. За все надо платить. 1995].

Ряд однородных членов здесь составлен исключительно из феминитивов с суффиксами женскости (*-ка*, *-иха*, *-ица*), только словоформа *доктор* оставлена в форме грамматического мужского рода (однако в корпусе находим примеры феминитивов с суффиксами женского рода — *докторша*, *докторица*, *докторесса*).

- (24) *Особнячок наводнили массажистки, портнихи, маникюриши и педикюриши* [Екатерина Маркова. Тайная вечеря. 1990–2000].

Здесь в ряду однородных членов видим феминитивы с соответствующими продуктивными суффиксами *-ка*, *-иха*, *-ица*³¹.

Таким образом, в корпусе текстов XX в. лемма *портниха* не связана с мотивирующим словом мужского рода, используется для обозначения лица женского пола по роду

³⁰ Термин В. В. Виноградова [1938: 18].

³¹ О продуктивности данных суффиксов в Рунете / медиапространстве см. [Гузаерова 2019; 2020; Солтыс 2020].

деятельности и не является стилистически маркированной. Однако в толковых словарях XX в. (СУ, ОШ, Еф., БТС) слово *портниха* не имеет собственной словарной статьи³².

В рамках всех текстов НКРЯ (поиск по основному корпусу без стилистических и хронологических ограничений) лемма *портниха* зафиксирована 976 раз в 528 документах (первое употребление относится к 1832 г. — см. пример (19) выше), последнее — к 2015 г., причем и в ранних употреблениях, зафиксированных в корпусе, слово *портниха* обозначает лицо женского пола по роду деятельности:

- (25) *Никакой барышни не было: приезжала просто **портниха**, которая рубашки шьет* [И. А. Гончаров. Обломов. 1859].
- (26) ***Портниха**, что надъ нами, замужъ выходить за ундера изъ окружного суда* [Н. А. Лейкин. Кухарки. 1908].

Выводы

История феминитивов с суффиксом *-их(а)* в русском языке насчитывает уже несколько столетий. Первоначально существительные женского рода с этим суффиксом в языковом сознании были тесно связаны с соответствующими существительными мужского рода, от которых они были образованы. Наше исследование показало, что имена на *-их(а)* в толковых словарях довольно редко имеют собственную словарную статью, а когда имеют, часто также объясняются через мужские наименования. Однако наличие в некоторых случаях самостоятельных лексических значений у феминитивов свидетельствует о том, что в русском языке такие имена могут функционировать независимо от соответствующих имен мужского рода. Эту мысль подтверждают и данные НКРЯ: по результатам выборки 1700–1799 гг. самым частотным словом является *щеголиха*, контекстные примеры указывают на формирование представления о щеголихе как о женщине, следующей моде, предпочитающей все новое, причем безотносительно к мужчине; примеры употребления слова *купчиха*, самого частотного в выборке 1800–1899 гг., наглядно иллюстрируют тот факт, что женщины этого сословия могли самостоятельно вести дела, заниматься коммерцией, иметь собственные денежные средства, поэтому образ купчихи далеко не всегда ассоциируется с купцом.

Как указано в разделе 4.3, в текстах XX в. было найдено 74 леммы с суффиксом *-их(а)*, включая новообразования от аббревиатур (*кавэчиха* ‘начальница культурно-воспитательной части’ от *КВЧ*) и заимствованных слов (например, *нотариусиха*, *герл-френдиха* / *герлфрендиха*). Такая словообразовательная активность суффикса *-их(а)* в текстах XX в. может быть обусловлена тем, что за формантом *-их(а)* закрепляется, специализируется СЗ женскости в рамках модификационного словообразования: (сущ., м. р.) > (сущ., м. р.)*иха* ‘тот, кто относится

³² Примечательно, что в САР слово *портниха* находится в словарной статье слова *портной* (ремесленник, упражняющийся в шитье платья), причем в качестве пары женского рода приводятся две формы — *портная* и *портниха*. В СД слово *портниха* находится в словарной статье *портно*, причем снова указываются два варианта — *портная*, *портниха* (оба — «ж. промышленный шитьем одежды; швец»), однако здесь кроме основного значения «лицо женского пола по роду деятельности» указывается и другое значение: *портниха* также жена *портного*. В качестве притяжательного прилагательного приводится форма *портнихин*. Также в СД находим интересное примечание: архаичное слово *портеница* — ткачиха, ткущая портна, холсты. Таким образом, в СД находим три формы феминитива от *портной*: *портная* (род деятельности), *портниха* (род деятельности; жена), *портеница* (ткачиха). Здесь можем наблюдать попытку разграничения двух основных значений ‘жена’ и ‘лицо женского пола по роду деятельности’.

к классу (сущ., м. р.) и отличается признаком женскости³³; данное значение в толковых словарях фиксируется как *женск. к* (сущ. м. р.). Новообразования типа *кавэчиха*, *нотариусиха* можно считать результатом словообразовательной аналогии, о которой В. Солтыс пишет следующее: «Современные тенденции словообразования, помимо переосмысления устаревших аффиксов³⁴, вновь приводят к актуализации редко употреблявшихся в последние десятилетия слов, например, *мастерица*. По аналогии с этим словом образуются с помощью суффикса *-иц-* и новые существительные: *игрица*, *человечица*, *мимокрокодилица*» [Солтыс 2020: 461].

Стоит отметить, что в текстах XX в. появляются сочетания типа *работяга-повариха*, *врачиха-невропатолог*, *пьяница-дворничиха*, *портниха-мастер*, в которых при помощи части с формантом *-иха* уточняется пол лица, обозначенного словом общего рода, либо пол лица, обозначенного словом грамматического мужского рода:

- (27) *Они подтвердили также, что никакой другой жены у Матвея Петровича не было. Судыха — нарсудья Самцова — попалась нам строгая. Думаю, ее переутонило избытие подобных дел* [Л. К. Чуковская. Прочерк. 1980–1994].
- (28) *Городская хроника Дворничиха-убийца Известная певица Раиса Саед-Шах на вечеринке газеты «Среда» рассказала корреспонденту ГИП две истории* [Говорит и показывает Москва // «Столица», 1997.12.08].

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- БТС — *Большой толковый словарь русского языка* / Гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 1998 (авт. ред. 2014). <http://www.gramota.ru/slovari/info/bts/>.
- Еф. — Ефремова Т. Ф. *Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный*. М.: Русский язык, 2000. <https://dic.academic.ru/contents.nsf/efremova/>.
- Ломоносов 1755 — Ломоносов М. В. *Российская грамматика*. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1755.
- Лопатин, Улуханов 2016 — Лопатин В. В., Улуханов И. С. *Словарь словообразовательных аффиксов современного русского языка*. М.: Издательский центр «Азбуковник», 2016.
- МАС — *Словарь русского языка: В 4-х т.* / Под ред. А. П. Евгеньевой. Изд. 4-е. М.: Русский язык, 1999. <http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp>.
- НКРЯ — *Национальный корпус русского языка*. <https://ruscorpora.ru>.
- ОШ — Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. *Толковый словарь русского языка*. Изд. 4-е. М.: ИТИ Технологии, 2006.
- РГ 1980 — *Русская грамматика: В 2-х т.* / Гл. ред. Н. Ю. Шведова. М.: Наука, 1980.
- САР — *Словарь Академии Российской*. СПб.: Императорская Академия Наук, 1789–1794. <http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=sar>.
- СД — Даль В. И. *Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т.* СПб.; Москва: Издание М. О. Вольфа, 1880–1882. <https://www.prlib.ru/item/375611>.
- СЛРЯ — *Словарь русского языка XVIII века. Вып. II* / Гл. ред. Ю. С. Сорокин. СПб.: Наука, 2000. <http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/>.
- СУ — *Толковый словарь русского языка* / Под ред. Д. Н. Ушакова. М.: Советская энциклопедия, 1935–1940. <http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/default.asp>.
- Krizanić 1666 — Krizanić J. *Gramatično izkazanje ob ruskom jeziku*, 1666. <https://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/goToPage/bsb00047449.html?pageNo=1>.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

- Азарх 1984 — Азарх Ю. С. *Словообразование и формообразование существительных в истории русского языка*. М.: Наука, 1984. [Azarkh Yu. S. *Slovoobrazovanie i formoobrazovanie sushchestvitel'nykh v istorii russkogo yazyka* [Word-formation and inflection of nouns in the history of Russian]. Moscow: Nauka, 1984.]

³³ Подробнее о родовидовых отношениях в рамках модификационного словообразования см. [Резанова 1996: 125].

³⁴ Например, *-к(а)*, *-ин(я)*, *-иц(а)*, *-иц(я)* — дополнение наше.

- Азарх 2000 — Азарх Ю. С. *Русское именное диалектное словообразование в лингвогеографическом аспекте*. М.: Наука, 2000. [Azarkh Yu. S. *Russkoe imennoe dialektnoe slovoobrazovanie v lingvogeograficheskom aspekte* [Russian dialectal nominal word-formation in the linguo-geographical aspect]. Moscow: Nauka, 2000.]
- Виноградов 1938 — Виноградов В. В. *Современный русский язык*. Вып. 2. М.: Гос. уч.-пед. изд-во Наркомпроса РСФСР, 1938. [Vinogradov V. V. *Sovremennyy russkii yazyk* [Modern Russian language]. No. 2. Moscow: RSFSR People's Commissariat for Education, 1938.]
- Виноградов 1982 — Виноградов В. В. *Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв.* Изд. 3-е. М.: Высшая школа, 1982. [Vinogradov V. V. *Ocherki po istorii russkogo literaturnogo yazyka XVII–XIX vv.* [Essays on the history of Standard Russian of the 17th–19th centuries]. 3rd edn. Moscow: Vysshaya Shkola, 1982.]
- Голев, Фаломкина 2020 — Голев Н. Д., Фаломкина И. П. Словообразовательный тип в аспекте его лексической реализации (к проблеме лакунарности словообразовательной системы русского языка). *Сибирский филологический журнал*, 2020, 2: 166–184. [Golev N. D., Falomkina I. P. Word-formation type in its lexical realization (on lacunarity of the word-formation system of Russian). *Sibirskii filologicheskii zhurnal*, 2020, 2: 166–184.]
- Гузаерова 2019 — Гузаерова Р. Р. Блогер или блогерша: русские феминитивы с формантом *-ш(a)* в современном медиапространстве. *Ученые записки Казанского ун-та. Серия Гуманитарные науки*, 2019, 5–6(161): 105–116. [Guzaerova R. R. *Bloger or blogerša*: Russian femininitives with the suffix *-sh(a)* in the modern media space. *Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya Gumanitarnye nauki*, 2019, 5–6(161): 105–116.]
- Гузаерова 2020 — Гузаерова Р. Р. Провинциальная франтиха: формант *-их(a)* в номинативном поле словообразовательной категории феминитивности. *Филология и культура*, 2020, 3(61): 24–29. [Guzaerova R. R. The suffix *-ix(a)* in the nominative field of femininity. *Filologiya i kul'tura*, 2020, 3(61): 24–29.]
- Лаппо, Малиновская 2020 — Лаппо М. А., Малиновская Н. И. Параметризация базы данных узуальных и незузуальных феминитивов. *Вопросы лексикографии*, 2020, 18: 52–72. [Lappo M. A., Malinovskaya N. I. Parametrization of the database of common and occasional femininitives. *Russian Journal of Lexicography*, 2020, 18: 52–72.]
- Потиха 1970 — Потиха З. А. *Современное русское словообразование. Пособие для учителя*. М.: Просвещение, 1970. [Potikha Z. A. *Sovremennoe russkoe slovoobrazovanie. Posobie dlya uchitelya* [Modern Russian word-formation. Teacher's guide]. Moscow: Prosveshchenie, 1970.]
- Резанова 1996 — Резанова З. И. *Функциональный аспект словообразования. Русское производное имя*. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1996. [Rezanova Z. I. *Funktsional'nyi aspekt slovoobrazovaniya. Russkoe proizvodnoe imya* [Functional aspect of word-formation. Russian derivative nominals]. Tomsk: Tomsk Univ. Press, 1996.]
- Романов 2011 — Романов А. Ю. Суффиксация при образовании жаргонных существительных в сопоставлении с деривационными процессами в нормативном русском языке. *Russian Linguistics*, 2011, 35(2): 209–244. [Romanov A. Yu. Suffixation in slang noun creation in comparison with word-formation processes in the normative Russian language. *Russian Linguistics*, 2011, 35(2): 209–244.]
- Сатола-Сташковяк, Сосновски 2019 — Сатола-Сташковяк Й., Сосновски В. Феминитивы в польском, русском и болгарском языках. *Български език*, 2019, 66(4): 124–141. [Satola-Staškowiak J., Sosnowski W. Femininitives in Polish, Russian and Bulgarian. *Bălgarski ezik*, 2019, 66(4): 124–141.]
- Солтыс 2020 — Солтыс В. К. Язык блогосферы Рунета: гендерный аспект. *Русистика*, 2020, 18(4): 454–468. [Soltys V. K. Gender issue in the Runet blogosphere language. *Russian Language Studies*, 2020, 18(4): 454–468.]
- Суперанская 2003 — Суперанская А. В. Современные русские прозвища. *Folia onomastica Croatica*, 2003, 12/13: 485–498. [Superanskaya A. V. Modern Russian nicknames. *Folia onomastica Croatica*, 2003, 12/13: 485–498.]
- Фуфаева 2020 — Фуфаева И. В. *Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция*. М.: АСТ: Corpus, 2020. [Fufaeva I. V. *Kak nazyvayutsya zhenshchiny. Femininitiv: istoriya, ustroystvo, konkurentsia* [What women are called. Femininitives: history, structure, competition]. Moscow: AST: Corpus, 2020.]
- Янко-Триницкая 1966 — Янко-Триницкая Н. А. Наименование лиц женского пола существительными женского и мужского рода. *Развитие словообразования современного русского языка*. Земская Е. А., Шмелев Д. Н. (ред.). М.: Наука, 1966, 167–210. [Yanko-Trinitetskaya N. A. Denoting women by feminine and masculine nouns. *Razvitie slovoobrazovaniya sovremennogo russkogo yazyka*. Zemskaya E. A., Shmelev D. N. (eds.). Moscow: Nauka, 1966, 167–210.]
- Horvat, Mihaljević 2019 — Horvat M., Mihaljević M. Dijakronijski pogled na mocijske imenice [A diachronic overview of feminine/masculine pairs]. *Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje*, 2019, 45(1): 27–45.
- Sosnowski, Satola-Staškowiak 2019 — Sosnowski W. P., Satola-Staškowiak J. A contrastive analysis of femininitives in Bulgarian, Polish and Russian. *Cognitive Studies / Études cognitives*, 2019, 19. <https://doi.org/10.11649/cs.1922>.

Юрий Лотман: о проблемах языка и языкознания

© 2022

Сурен Тигранович Золян

Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград, Россия;
Институт философии, социологии и права НАН Армении, Ереван, Армения;
surenzolyan@gmail.com

Аннотация: В статье предпринята попытка реконструкции лингвистической концепции Ю. М. Лотмана. «Язык» — один из наиболее часто употребляемых им терминов. Концепция Лотмана основана на постулатах сосюррианской лингвистики, преимущественно в версии пражского структурализма. Вместе с тем Ю. М. Лотман предлагает новый взгляд на решение ключевой дихотомии «язык — речь». Он намечает возможности альтернативной концепции, в которой как доминантная при передаче информации выступает функция смыслопорождения (а не смыслосохранения — как в традиционной версии). Указывая на недостаточность лингвистических методов при описании процессов текстуальной реализации языковой системы, Лотман предлагает ряд решений, создающих возможность неоструктуралистской версии лингвистики, которая продолжит традиции системно-структурного подхода к языку; формализм подобного описания будет дополнен конструктивизмом, в его динамическом сопряжении с процессами коммуникации и смыслопорождения.

Ключевые слова: история лингвистики, лингвистика в СССР, Лотман Ю. М., структурализм, язык/речь
Благодарности: Данное исследование было поддержано из средств программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» БФУ им. И. Канта.

Для цитирования: Золян С. Т. Юрий Лотман: о проблемах языка и языкознания. *Вопросы языкознания*, 2022, 1: 106–119.

DOI: 10.31857/0373-658X.2022.1.106-119

Yuri Lotman: On problems of language and linguistics

Suren T. Zolyan

Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia; Institute of Philosophy, Sociology and Law, National Academy of Sciences of Armenia, Yerevan, Armenia; surenzolyan@gmail.com

Abstract: We attempt to systemize Yu. M. Lotman's views on language and linguistics. "Language" is one of his most used terms. Lotman's vision is based on the postulates of Saussurean linguistics, mainly in the version of Prague structuralism. At the same time, Lotman offers a new look at solving the language–speech dichotomy. He outlines the possibilities of an alternative conception, where the function of meaning-generation (rather than meaning-preservation) is considered dominant in information transmission. Pointing out to the inadequacy of linguistic methods in describing the processes of textual implementation of the language system, Lotman proposes several solutions that create the possibility of a neo-structuralist version of linguistics. It develops the tradition of the system-structural approach to language; the formalism of such approach is complemented by constructivism to describe communication and meaning-production processes.

Keywords: history of linguistics, langue/parole, linguistics in the USSR, Lotman Yu. M., structuralism

Acknowledgements: This research was supported under the Russian Federal Academic Leadership Program "Priority 2030" at the Immanuel Kant Baltic Federal University.

For citation: Zolyan S. T. Yuri Lotman: On problems of language and linguistics. *Voprosy Jazykoznanija*, 2022, 1: 106–119.

DOI: 10.31857/0373-658X.2022.1.106-119

1. Юрий Лотман и современная лингвистика

22 февраля 2022 г. исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Михайловича Лотмана. Научное наследие Лотмана — это, прежде всего, семиотика, культурология, литературоведение. Однако к какой бы проблеме или теме он ни обращался, он всегда говорил о языке данной сферы — это могли быть языки мозга, культуры, поведения, науки и т. п. Поэтому, рассматривая тему «Лотман и язык», следует сделать ряд уточнений и ограничений.

Ю. М. Лотман, прекрасно владея лингвистической проблематикой, тем не менее не считал себя лингвистом, хотя среди его друзей и соавторов были выдающиеся лингвисты, с которыми он мог на равных вести профессиональный разговор. Лотман и не претендовал на собственно лингвистические изыскания, лингвистика скорее была для него эталоном точности для гуманитарных наук: «Литературовед нового типа — это исследователь, которому необходимо соединить широкое владение самостоятельно добытым эмпирическим материалом с навыками дедуктивного мышления, вырабатываемого точными науками. Он должен быть лингвистом (поскольку в настоящее время языкознание “вырвалось вперед” среди гуманитарных наук и именно здесь зачастую вырабатываются методы общенаучного характера), владеть навыками работы с другими моделирующими системами (...) Он должен приучить себя к сотрудничеству с математикой, а в идеале — совместить в себе литературоведа, лингвиста и математика» [Лотман 1967:100]. В лингвистике он видел и находил «точный» («объективный») инструментарий для описания других семиотических систем, который поможет избавить исследователя от присущего этим наукам «субъективизма»¹. Приведу показательный эпизод: когда в 1976 г. я был на стажировке у Юрия Михайловича, то его совет был — как можно меньше читать книг по теории культуры и семиотике и как можно больше изучать источники. Что же касается теории и методологии, то, по словам Лотмана, в этой области хороших книг не так уж и много — это всего около десяти фундаментальных книг по лингвистике². Нетрудно заметить, что сам Юрий Михайлович этому подходу не следовал — по его работам очевидно, что он прочел куда больше, чем десяток. Однако если говорить о тех, на которые он ссылается, рассуждая о языке в целом, а не приводя отдельные языковые факты, то этот круг, в самом деле, весьма ограничен: это Соссюр, Якобсон, в меньшей степени — Ельмслев, Бенвенист, Трубецкой, Мукаржовский, Пражская школа в целом. В своих работах, прежде всего в исследованиях по семиосфере и «самовозрастанию смысла» в процессе коммуникации, он наметил те вопросы, которые стали актуальными для лингвистики следующего поколения. Поскольку предметом нашего анализа будет концепция естественного языка, то, оставляя в стороне возможные семиотические расширения и экстраполяции, попытаемся

¹ Ср.: «Вне учета достижений современного языкознания наука о литературе не выработает своей, насущно необходимой методологии структурного изучения художественных явлений, методологии, которая позволила бы избавиться от игнорирования художественной природы словесного искусства и от субъективизма в его истолковании» [Лотман 1963: 52].

² Теоретические положения Лотман всегда подкреплял яркими сравнениями. Мое желание заняться теорией культуры он сравнил с тем, что некто придет в ресторан и вместо вкусной еды начнет есть... меню. Меню, конечно, нужно, чтобы выбрать, что именно есть. Без него посетителю придется опробовать все, что есть, пока он не поймет, чего ему хочется. «Меню» — это метод, и его даст общее языкознание. А что касается «еды» — это тексты и факты той или иной культуры. Так он охарактеризовал соотношение метода и объекта в семиотике.

рассмотреть только то из предлагаемого Ю. М. Лотманом, что непосредственно соотносится с лингвистической проблематикой.

«Язык» в терминологическом употреблении у Лотмана — одно из наиболее частотных слов, оно встречается практически в любом из его исследований, но в совершенно различных значениях — начиная от наиболее широкого, где язык понимается как любая наделенная смыслом система, даже не обязательно знаковая (например, *язык природы, истории, жизни* [Лотман 1970: 9–11; 2010: 28])³, вплоть до предельно узкого, где под языком может пониматься скорее «стиль писателя». Безусловно, все эти различные значения для Лотмана были внутренне связаны, но очевидно и то, что центральным было понятие естественного языка. В пользу этого свидетельствует и само определение вторичной моделирующей системы — как такой знаковой системы, которая базируется на первичной моделирующей системе, а в качестве таковой выступает естественный язык. При этом поэтический язык также рассматривался Лотманом как вторичная моделирующая система, пусть и наиболее тесно связанная с языком и использующая его систему означающих. Однако художественный текст Лотман считал не усложнением «обычного», а напротив, именно прототипическим проявлением языковой деятельности. Если речь идет об активной (то есть предполагающей **самовозрастание смысла**) передаче информации, тогда однозначно интерпретируемые тексты он предлагал рассматривать как частные, или вырожденные, случаи, или как экстремальные случаи «пассивной» (то есть не предполагающей изменений смысла) передачи информации.

«Не художественные тексты являются экстремальными выражениями каких-то нормальных нехудожественных текстов, а, думаю, нехудожественные тексты — это частный случай художественных (...) Генерирующая активная смыслопорождающая функция сообщения выражается наиболее полно в художественных текстах, но присуща всем текстам вообще. Точно так же, как функция пассивной передачи есть и в художественных текстах, но экстремально проявляется, наверно, в уличной сигнализации» [Лотман 1981: 8].

Тем самым возможны две лингвистики: в одной из них, традиционной, язык рассматривается как инструмент передачи информации, направленной на сохранение смысла, и тогда прототипом будет не допускающая искажений и многозначности система уличной сигнализации. Но возможна и лингвистика, основанная на альтернативной аксиоматике, и в ней основной явится функция смыслопорождения, и тогда язык будет рассматриваться как система не столько сохранения информации, сколько ее трансформации и порождения новых смыслов.

Не будучи профессиональным лингвистом, Лотман не стал разрабатывать подобной лингвистической теории, но перенес этот подход в семиотику, преимущественно отталкиваясь от версии Пражского структурализма. Поэтому, если попытаться систематизировать лотмановскую концепцию естественного языка, то это скорее будет описанием того, что сам Лотман считал его таким расширением, которое характерно для языка в поэтической функции. Тем самым, не вступая в прямую полемику с ведущими направлениями структурализма, он способствовал существенному расширению представлений о языке и его функционировании. Рассмотрению самого понятия «естественный язык» Лотман не уделял особого внимания, ограничиваясь отсылкой к трудам выдающихся лингвистов-структуралистов, указанных выше. Но, обращаясь к языку, Лотман всякий раз указывал на то, что оставалось за гранью привычного лингвистического описания и, согласно концепциям отцов-основателей структурализма и представлениям, господствующим

³ Считаем уместным привести комментарий анонимного рецензента ВЯ относительно данного положения: «Представляется, что система (в том числе и для Лотмана) может обладать значением, только если ей приписывается знаковость, даже если она не обладает ею имманентно. Даже если значение существует вне знака (кажется, для Лотмана это не так), оно “ищет” знак, чтобы выразить “себя” (означаемое в поисках означающего). При этом для Лотмана всякое означивание и переозначивание ведет к трансформации значения, и этот процесс (семиозис) в конечном итоге и становится механизмом приращения смысла».

в современной ему лингвистике, оказывалось уже за пределами языковой системы. Поэтому в дихотомии «язык — речь» его интересует речь или, точнее, реализация речи в тексте (термин «дискурс» Лотман не употребляет), то есть, не системы и структуры сами по себе, а их манифестации и трансформации в процессе коммуникации. Именно благодаря этому взгляды Лотмана на язык представляют особый интерес в первую очередь и для лингвистики, зримо представляя перспективу ее неоструктуралистской версии.

2. Слово и контекст

Вероятно, к собственно лингвистическим можно отнести только одну статью ученого — это опубликованная в «Вопросах языкознания» работа «О разграничении лингвистического и литературоведческого понятия структуры» [Лотман 1963]⁴. Однако и в этой статье Ю. М. Лотман не «посягает» на обсуждение собственно лингвистических проблем, хотя, безусловно, его подход к описанию значения во многом опережал лексикологические представления того времени (об этом см. ниже). Сам факт ее публикации в тот период, когда для ставшего на позиции структурализма Юрия Михайловича в СССР были практически закрыты иные центральные издания, был прорывом, сделавшим возможным последующие публикации и в значительной степени стимулировавшим развитие структурной лингвистической поэтики. К сожалению, в самой лингвистике она оказалась незамеченной, хотя могла открыть новую для семантики того времени тему обращения к значению слова в социальном контексте. Интерес к социальным аспектам знака (применительно к языку — слова) был для Лотмана во многом обусловлен его опытом историка литературы и общественной мысли. Для него был очевиден социальный характер языка и всех иных функционирующих в обществе знаковых систем:

«Язык — упорядоченная коммуникативная (служащая для передачи информации) знаковая система. Из определения языка как коммуникативной системы вытекает характеристика его социальной функции: язык обеспечивает обмен, хранение и накопление информации в коллективе, который им пользуется» [Лотман 1973: 4].

Это общее положение Лотман конкретизирует применительно к лексической семантике. Начиная с достаточно очевидной констатации того, что слово приобретает значение только в контексте, Лотман делает несколько необычный для лингвистов следующий шаг: он предполагает, что и контекст может оказаться недостаточным («контекст» понимается в узком значении, как непосредственное окружение лексической единицы). Опыт историка позволяет ему увидеть то, что тогда (да и до сих пор) недостаточно учитывалось в лингвистике: слово — это не только единица словаря, но и элемент некоторой идеологической системы (мировоззрения, литературного направления, научной дисциплины и т. п.). Одни и те же языковые выражения «естественное состояние», «человек», «гражданин» получают различные, подчас противоположные, толкования в политической философии и публицистике [Лотман 1963: 45–46]. Поэтому лингвистический анализ должен быть дополнен методом, названным Лотманом «структурно-идеологическим»:

«Весьма интересный материал дали бы в этом случае опыты сравнительной характеристики формально одинаковых, но семантически различных (входящих в разные системы) терминов, употребляемых разными публицистами одной эпохи. Так, например,

⁴ С некоторыми натяжками можно сюда было бы отнести статью Ю. М. Лотмана [1987], посвященную концепции Руссо о происхождении языка, но она скорее относится к философской истории идей, а также серию статей о тексте, хотя в них собственно лингвистический подход служит в основном предметом полемики, (их обзор дан в [Золян 2016]).

структурно-идеологический метод позволит вскрыть интересную разницу в употреблении одинаковых терминов близкими публицистами, например Чернышевским и Добролюбовым. Однако, подойдя к подобной работе, лингвист неизбежно столкнется с недостаточностью чисто языковедческих методов. Ему придется восстановить идеологическую структуру, взаимообусловленность составляющих ее понятий, прежде чем установить специфику терминов — знаков, служащих для их передачи» [Лотман 1963: 46].

Нетрудно увидеть, что предложенный Лотманом подход в настоящее время активно используется в лингвистике — например, это, с одной стороны, анализ концептов в когнитивной лингвистике, а с другой — методы корпусной лингвистики, а также в таких ответвлениях, как дискурс-анализ и критический дискурс-анализ. В статье можно найти и наметки того, что сегодня называют анализом фреймов — описания ситуации посредством упорядоченных отношений между ее компонентами. Лотман использует термин «структурная ситуация», объясняя, каким образом говорящий определяет нужное значение многозначного слова:

«Смысловое содержание высказывания у меня *второй стол* определяется не выраженной словами ситуацией — дело происходит в санатории. (...) из всех многочисленных связей структурного понятия “санаторий” для нас в данном случае важен лишь один признак: ситуация “санаторий” исключает все ситуации “не санаторий” и, следовательно, отсекает все избыточные значения слова *стол*» [Там же: 51].

Ю. М. Лотман ставит вопрос о том, что определенную структуру образует не только семантика языка, но и то, что он, следуя Ельмслеву, называет «аморфным материалом содержания». Это положение представляется ему настолько смелым, что он сразу же делает ряд несколько дезавуирующих его оговорок:

«Можно было бы отметить, что и система окружающего человека материального мира, и сознание человека, класса, поколения в каждый отдельный момент их существования — явления не аморфные, а связанные строгой системой отношений в структуры. Следовательно, говорить об аморфности “материала содержания” языка можно лишь с определенными оговорками. Однако следует иметь в виду и другое: эти структуры столь обширны и труднообозримы, сама их структурность столь скрыта от наивного наблюдателя, обнажаясь лишь в результате исследовательских усилий, что по отношению к зримо замкнутой системе языка они действительно выступают как разомкнутые и аморфные» [Там же: 52].

Впрочем, наметив для лингвистов ряд интересных задач, Лотман вовсе не намеревался углубляться в их рассмотрение. Его интересовали не они сами по себе, а то преобразование, которое они претерпевают:

«В словесном искусстве структура содержания реализуется через структуру языка, образуя комплексное сложное целое. Таким образом, между лингвистическим и литературоведческим понятиями структуры имеется значительное различие. Языковая структура является условием, средством передачи информации, литературная — ее целью и содержанием» [Там же: 52].

Изучение языковых структур Лотман оставляет лингвистам, он заимствует их метод. Предложенная двухкомпонентная схема, в которой языковая структура предстает как материал и условие выражения литературных структур, впоследствии генерализируется как концепция вторичных моделирующих систем, что стало главным методологическим концептом Тартуско-Московской школы.

Однако Лотман вовсе не отходит от лингвистических аспектов проблемы «плана содержания». Она продолжает быть для него актуальной и уже не только художественный

текст, но и семантика языка в целом предстает как двухступенчатая. Он разграничивает два уровня ее «объективности» (sic!): это мир внутри языка и вне языка:

«План содержания в том виде, в каком это понятие было введено Ф. де Соссюром, представляет собой конвенциональную реальность. Язык создает свой мир. Одновременно возникает вопрос о степени адекватности мира, создаваемого языком, и мира, существующего вне связи с языком, лежащего за его пределами. Таким образом, исходно предполагается существование двух степеней объективности: мира, принадлежащего языку (т. е. объективного, с его точки зрения), и мира, лежащего за пределами языка. Одним из центральных вопросов окажется вопрос перевода мира содержания системы (ее внутренней реальности) на внележащую, запредельную для языка реальность» [Лотман 1992: 8–9].

Как видим, предполагается, что существуют две семантики, две «объективности»: одна из них находится вне языка, другая — это претендующий быть ее отражением внутриязыковой план содержания. Это напоминает классическое разграничение между смыслом и значением, *Sinn und Bedeutung*, но Лотман делает заключение, прямо противоположное общепринятому: вместо поиска идеального языка, благодаря которому можно привести в соответствие объекты из этих двух сфер, делается вывод о невозможности такой операции посредством только одного языка:

«1. Необходимость более чем одного (минимально двух) языков для отражения запредельной реальности; 2. Неизбежность того, чтобы пространство реальности не охватывалось ни одним языком в отдельности, а только их совокупностью. Представление о возможности одного идеального языка как оптимального механизма для выражения реальности является иллюзией. Минимальной работающей структурой является наличие двух языков и их неспособность, каждого в отдельности, охватить внешний мир. Представление об оптимальности модели с одним предельно совершенным языком замещается образом структуры с минимально двумя, а фактически с открытым списком разных языков, взаимно необходимых друг другу в силу неспособности каждого в отдельности выразить мир» [Лотман 1992: 9–10].

3. Переосмысляя Соссюра: от структур к тексту

Соссюр — не только одно из наиболее часто упоминаемых Лотманом имен, но и постоянный объект размышлений о методологии лингвистики и семиотики. Это отношение одновременно и почтительное, и полемичное:

«Обобщение опыта развития принципов семиотической теории за все время, протекшее после того, как исходные предпосылки ее были сформулированы Фердинандом де Соссюром, приводит к парадоксальному выводу: пересмотр основных принципов решительным образом подтверждал их стабильность, в то время как стремление к стабилизации семиотической методологии фатально приводило к пересмотру самых основных принципов» [Лотман 1978: 18].

Свое отношение к теории Соссюра как к фундаменту семиотики Лотман подытожил в небольшой главе «После Соссюра» в книге «Внутри мыслящих миров» [1996]. В ней выделены те положения Соссюра, которые продолжают оставаться актуальными. Теория Соссюра — та основа, на которой возможно дальнейшее развитие семиотики. Потому Лотман, в других главах одной из своих последних книг, повторяя ранее высказанное, указывает также и на пункты, которые требуют пересмотра. Это касается, прежде всего, самого характера

знака: как обычно в полемике с Соссюром, Лотман ссылается на Романа Jakobsona и говорит, во-первых, о детерминированном характере отношения означаемого и означающего⁵, во-вторых, о необходимости внесения динамизма в синхронное описание языка как системы. Историк литературы и культуры, Лотман считает диахроническое (эволюционное) измерение настолько существенным, что в дальнейшем приходит к мысли разграничить по этому признаку понятия «код» и «язык», которые до этого он употреблял как взаимозаменяемые. Язык — это код, но обладающий историей и имманентной способностью к трансформациям:

«Подмена термина “язык” термином “код” совсем не так безопасна, как кажется. (...) Код не подразумевает истории, т. е. психологически он ориентирует нас на искусственный язык, который и предполагается идеальной моделью языка вообще. Язык — это код плюс его история» [Лотман 1992: 13].

Как нам кажется, оба эти аспекта, как они представлены у Лотмана, относятся скорее к семиотике. Наиболее близким к лингвистике видится реинтерпретация ключевой дихотомии «язык — речь» или, в других терминах, «система — текст»⁶. В до сих пор не опубликованном докладе, сделанном в марте 1981 г., этот вопрос сформулирован следующим образом:

«Не хочу ни в какой степени бросить тень на классические работы Фердинанда Соссюра, на которых мы все стоим. Но вместе с тем приходит время существенные вещи пересмотреть. В частности — отношение текста и языка. Текст представляется в этой классической схеме как некая материализация системы. И то, что в нем значимо, мыслилось как наличное в языке. Текст был, таким образом, некоторая упаковка, некий ящик, который доносил системные значения» [Лотман 1981: 6].

Однако, как уже было нами отмечено, еще в [Лотман 1963] было указано на неадекватность такого подхода, поскольку между системой и текстом располагаются обладающие известной автономией промежуточные уровни и механизмы. В лингвистике осознание этой ситуации привело к актуализации понятия дискурса (оно имелось в набросках Соссюра, но было удалено Сэше и Балли [Bouquet 2004: 210–214]), а также способствовало развитию прагматики. Кажется, что Лотмана мог бы привлечь подход Бенвениста, предложившего пути преодоления соссюрианской семиотики⁷. Можно найти немало схожего с этой программой Бенвениста, но тем не менее предлагаемое Лотманом решение иное, это не внутрисистемное усложнение, а синтез разнородных принципов. Так, художественный текст есть порождение как минимум нескольких систем, почему и то, что представляется несистемным применительно к одной системе, есть репрезентация другой системы. Начиная с [Лотман 1963] это положение формулируется достаточно осторожно, применительно только к художественному тексту, поскольку он имитирует реальность и должен создавать «иллюзию внесистемности»:

⁵ «С опытом работы с художественным языком связана чуткость Jakobsona к эстетической стороне семиотических систем. Это объясняет тот нажим, с которым он критикует Соссюра, атакуя центральный для последнего принцип условности связи между означающим и означаемым в знаке» [Лотман 1996: 22]. См. также [Автономова 2015].

⁶ Ю. М. Лотман уравнивал понятия «текст» и «речь» — как противостоящие понятиям «система / язык», тем самым совмещая дихотомии Соссюра и Ельмслева: «На следующем этапе интерес переместился на тексты (“речь” в терминологии Соссюра) и, в частности, на уникальные художественные тексты, на напряжение между повторяющимся и неповторимым» [Лотман 2010: 36].

⁷ «Это преодоление должно идти в двух направлениях: во внутриязыковом (интралингвистическом) анализе — в направлении нового измерения означивания, означивания в плане речевого сообщения (...). В надязыковом (транслингвистическом) анализе текстов и художественных произведений — в направлении разработки метасемантики, которая будет надстраиваться над семантикой высказывания» [Бенвенист 1974: 88–89], см. также [Gramigna 2013].

«Художественная литература имитирует реальность, создает из своего, системного, по самой своей сути, материала модель внесистемности. Чтобы выглядеть как “случайный”, элемент в художественном тексте должен принадлежать по крайней мере двум системам, находиться на их пересечении. То, что в нем системно с точки зрения одной структуры, будет выглядеть как “случайное” при взгляде с точки зрения другой (...) Эта способность элемента текста входить в несколько контекстных структур и получать соответственно различное значение — одно из наиболее глубоких свойств художественного текста» [Лотман 1970: 69–70].

В дальнейшем это положение обобщается — всякий текст признается порождением как минимум двух систем, почему и обладает многомерной и гетерогенной структурой, а также дополняющими друг друга дискретными и недискретными порождающими механизмами. Асимметрия левого-правого полушария мозга стала удачной экземплификацией подобной концепции (до этого Лотман ссылаясь на взаимодополнительность мифологического и логического мышления). Другим обоснованием явилось изменение объекта изучения. Традиционная семиотика занималась вопросами передачи информации, и тогда схема «один канал — один язык — одна структура» является адекватной. В случае семиотики, ориентированной на смыслопорождение, требуются уже многомерные модели:

«Теперь в поле ее [семиотики] зрения оказались два аспекта: передача уже готовых сообщений и выработка принципиально новых. Последнее ввело существенные изменения в самые основы семиотики. Если для передачи информации достаточно одного канала (и одного языка), то для выработки новой — минимальная структура требует наличия двух разных языков. Если принципиальная неадекватность перевода при пересечении двух различных языков прежде выглядела как причина помех в канале связи, то теперь она становится механизмом и основой выработки нового. Проблемы полиглотизма структур и перевода приобрели доминирующее значение» [Лотман 2010: 36].

Лотман не вступает в полемику с Соссюром относительно адекватности дихотомии «язык — речь», он как бы предлагает великому предшественнику поделить сферы интересов: Соссюра интересует язык, система, Лотмана — речь, тексты⁸:

«В системе, разработанной Соссюром и надолго определившей направление семиотической мысли, очевидно предпочтение исследованиям языка, а не речи, структуры кода, а не текста. Речь и ее ограниченная артикулированная ипостась — текст — интересуют лингвиста лишь как сырой материал, манифестация языковой структуры. Все, что релевантно в речи (resp. тексте), дано в языке (resp. коде). Элементы, присутствующие в тексте, но не имеющие соответствия в коде, носителями смысла не являются. Этому соответствует решительное заявление Соссюра: “Надо с самого начала встать на почву языка и считать его нормой для всех прочих проявлений речевой деятельности”. Принять язык за норму — означает сделать его точкой научного отсчета в определении существенного и несущественного для языковой деятельности. Естественно, что все, не имеющее соответствия в языке (коде), при дешифровке сообщения “снимается”» [Лотман 1996: 11].

Поскольку Лотман не собирался отбирать хлеб у лингвистов, то он, оставляя им «язык», выбирает тексты. С учетом сказанного очевидно, что его отход от лингвистики носит скорее терминологический, нежели методологический характер. Лингвистика речи понимается им как семиотика текста. Более того, понятие текста рассматривалось у Лотмана не как языковой феномен, а как «взаимное отношения системы, ее реализации

⁸ Примечательно, что и в этом случае Лотман прибегает к авторитету Якобсона: «На Второй школе все тот же Роман Осипович Якобсон сказал (...), что мне структурами больше заниматься неинтересно, меня интересуют тексты. И вообще, сказал он, интересно пересмотреть Соссюра с точки зрения текстов» [Лотман 1981:2].

и адресата-адресанта текста» [Лотман, Пятигорский 1968: 75]. Поэтому уже само понятие текста оказывается подвижным, это не имманентный объект, а комплексное отношение (функция в математическом смысле) между четырьмя переменными: это язык (знаковая система); состоящая из знаков композиция (т. е. текст в узком смысле слова), адресат-адресант; к ним можно добавить и четвертую переменную: контекст (подробнее см. [Золя 2016]).

Не структура, а текст оказывается исходным объектом рассмотрения, и это влечет изменение всей архитектуры лингвистической системы. По словам Пезтера Торопа, «от понимания текста как манифестации языка он [Лотман] перешел к пониманию текста, порождающего свой язык» [Тороп 1995: 228], см. также [Золя 2016; 2020; М. Лотман 1995; 2019]. В этой области ученым предложен ряд идей, разительно отличающихся от лингвистической доктрины структурализма и ставших, пожалуй, в настоящее время наиболее перспективными характеристиками Тартуско-Московской семиотической школы (ТМШ) и главным вкладом Лотмана в теорию языка. Михаил Лотман выделяет следующие идеи:

«На этом фоне ТМШ характеризуется выраженной спецификой. Этой спецификой является ее подчеркнутая текстоцентричность: не язык, не знак, не структура, не бинарные оппозиции, не грамматические правила, а текст является центром ее концептуальной системы. Даже описания языковой структуры отступают на задний план, поскольку в ТМШ подрывается сам принцип автоматической выводимости текста из языка (...) Классическая парадигма структурной лингвистики и поэтики исходит из соссюровской концепции языковой деятельности, в которой, по сути дела, нет места тексту. С точки зрения Ю. Л., язык и текст принципиально не сводимы друг к другу и в целом ряде отношений текст больше языка. Во-первых, в тексте есть целый ряд элементов, не выводимых из языка: отмеченность начала и конца (“рамка” текста), композиционные принципы и т. п. Во-вторых, текст в отличие от языка наделен смыслом и этот смысл неотделим от структуры текста; поэтому текст подлежит не только описанию, но и интерпретации, число же возможных интерпретаций в принципе не ограничено. В-третьих, почти никогда текст не является продуктом реализации лишь одного языка; в принципе, любой текст полилингвистичен, как полилингвистична и любая культура, рассматриваемая в качестве текста» [М. Лотман 1995: 214, 218].

К этому следует добавить, что неограниченная семиотическая разнородность текста мыслилась Ю. М. Лотманом как всякий раз достигаемое динамическое равновесие между различными текст-структурами, благодаря чему создается его интегральное единство: «Текст есть момент равновесия между тенденцией функционального распада его на два или несколько текстов и полной унификации как внутренне однородного» [Лотман 1982: 4]. Это же относится и к языку:

«В определенном смысле они составляют один механизм, когда мы, например, говорим: “некоторый естественный язык”, то в дальнейшем легко будет показать, что это гетерогенная система, представляющая собой смесь нескольких систем; но очень важно, что при этом он сам себя сознает как один язык, и что вот эта сложная система сама себя осознает как одну, что обеспечивает ей внутреннюю циркуляцию» [Лотман 1981: 5].

Тем самым на примере текста вводится крайне важная характеристика, недостаточно учитываемая при акцентировании гетерогенности — наличие механизмов, обеспечивающих целостность системы: «Одновременно необходимо, чтобы текст функционировал как нечто единое, не распадаясь в процессе разнообразной семиотической актуализации на части» [Лотман 1982: 3], для чего, помимо комплементарных гетерогенных языков порождения обязательным оказывается «наличие (...) объединяющей их семиотической метаструктуры. Троицизм этого механизма, то, что каждая из его частей, в определенном смысле, может функционировать как вполне самостоятельная и одновременно, все они, в другом аспекте, образуют нерасчленимое функциональное единство, представляется

фундаментальным его свойством» [Там же: 4]. Прозорливость этого замечания подтверждается практикой последнего времени, когда превратно понятое и недостаточно усвоенные процедуры деконструкции или дискурс-анализа нередко приводят к ситуации, когда может быть потеряно само понятие текста: текст как структурный и смысловой объект растворяется в аморфном интертекстуальном или контекстуальном семиозисе или же разбивается на не связанные между собой компоненты. Поэтому крайне существенно выявление механизмов внутреннего взаимодействия между гетерогенными структурами и подъязыками, но в пределах единого целого. «Отсутствующая структура» (т. е. подвижная и децентрализованная) преобразуется Лотманом в структуру интегрирующую.

4. Заключение: концепция Лотмана в парадигмах гуманитарного знания

В СССР структурализм хоть и не был под полным запретом, но, за исключением лингвистики, был предметом жесткой критики, временами переходящей в политические обвинения. Обвинения в структурализме постоянно преследовали Юрия Лотмана и были причиной запрещения издания многих его работ (подробнее см. [Пильщиков и др. 2018]). В подобной ситуации писать о тех или иных методологических проблемах, которые не могли получить решения в рамках структурализма или тем более критиковать основные догматы структурализма могло выглядеть отказом от научного подхода к исследуемому объекту и принятием официальной точки зрения. Более того, в некоторых тезисах политически идеологизированного французского постструктурализма Юрий Лотман усматривал близкие к советским критикам мотивы, а к «Тель-келям» его отношение было весьма ироничным [Салупере 2017: 19–22]⁹. Советские критики структурализма не предлагали нового, их целью было запретить подобное развитие, поэтому солидаризироваться с ними Лотман не мог. В то же время, если проанализировать предложенные Лотманом расширения, то становится очевидным, что они были именно развитием структурного метода, приданием ему многомерного и нелинейного характера, а не его отрицанием. Другое дело, что это развитие он видел не в самой лингвистике, а в семиотике и теории коммуникации.

При всей условности отграничения структурализма от постструктурализма, его начало принято связывать со знаменитой лекцией Жака Деррида. На конференции 1966 г., призванной подчеркнуть роль Клода Леви-Стросса и французского структурализма, Деррида выступил с рядом положений, в которых оказалось подвергнутому деконструкции само понятие «структуры» и связанного с ней некоторого привилегированного «центра» [Derrida 1967]. Другим сигналом произошедшей «смены вех» можно считать выход книги Умберто Эко «Отсутствующая структура», основным объектом критики в которой также становится это понятие.

В 1960-70-х гг. Лотман приложил много усилий к описанию того, что есть структурализм и структурный метод [Лотман 2018]. Однако, как ни странно, но ответ на вопрос «что есть структура» у Лотмана отсутствует — он ограничивается достаточно общими характеристиками¹⁰

⁹ Лотман избегал вступать в публичную дискуссию, но писал об этом в письмах к Б. А. Успенскому: «Я за эти дни просмотрел кое-что из дискуссий о структурализме во Франции — и там говорят то же, что Кожин и Палиевский»; «В венгерском журнале *Helikon* 1972 номер 2 (...) прорецензированы все наши Семиотики, моя книга, весь том посвящен Кристевой, тель-келям и подобной ерунде» [Успенский 2016: 128; 264]. Как уточнено публикаторами в комментарии к этому письму, «Журнал „Tel Quel“ — одно из ключевых изданий французских постструктуралистов (издавался с 1960 по 1982 год). Ю. Л. имеет в виду № 2 журнала „Helikon“ за 1971 год, большая часть которого посвящена литературным дискуссиям во Франции» [Там же: 267].

¹⁰ Ср.: «Любая характеристика отношений между элементами этого целого, вся сумма этих отношений, т. е. структура, влияет на семантику текста» [Лотман 1963: 51]. В последнем труде Лотман

или же отсылает к известной статье Эмиля Бенвениста [1974], см. [Лотман 1978: 19]. Возможно, это понятие представлялось ему интуитивно ясным и в особом рассмотрении не нуждающемся. Нет никаких указаний, что начавшаяся ревизия основных идей соссюрианского структурализма каким-либо образом повлияла на концепцию Лотмана. Между тем уже ретроспективно анализируя работы ученого, некоторые исследователи видят в нем последовательного постструктуралиста:

«Собственно, элементы постструктурализма появляются у главного вдохновителя тартуской семиотики Ю. М. Лотмана уже в 1970-е годы. Он отказывается от яacobсоновской модели коммуникации и создает свою, предполагающую непонимание и приписывающее этому непониманию творческое начало: именно неадекватность перевода обеспечивает динамику культуры (...) Позднее из этого радикального пересмотра структуралистской догматики рождается книга Лотмана “Культура и взрыв”, определенно постструктуралистская» [Живов 2009: 22].

Еще более категоричной является характеристика, данная Игорем Смирновым:

«У Лотмана в основе семиозиса лежит столкновение двух взаимонепереводимых, непримиримых языков. Какая уж тут структура! Борьба разных структур. Это и есть постструктурализм. Описание явления, когда у него нельзя найти одну и только одну структуру или сущность» [Пятигорский 1996: 330].

Можно было бы добавить и ряд других отличий от догм структурализма. Так, Лотман проблематизирует основу структурализма, задаваясь вопросом: можно ли видеть в оппозициях кардинальную характеристику самой знаковой системы или же следует рассматривать систему оппозиций как характеристику метаязыка¹¹. Уже сам термин «порождение», столь часто употребляемый Лотманом для характеристики отношения «система — текст» (вместо «манифестация», «репрезентация» и др.), предполагает выход за рамки структурализма и движение в сторону генеративизма.

Однако столь однозначная характеристика, акцентируя сходства, не учитывает значительных расхождений между концепцией Лотмана и тем, что он назвал «Кристевой, тель-келями и подобной ерундой» [Успенский 2016: 264]. Игнорировать эти различия и присваивать Лотману ранг «постструктуралиста» значило бы игнорировать позицию самого Лотмана. Сходство между ними скорее поверхностное, обусловленное проблематикой, но не предлагаемыми решениями¹². В данном случае, поскольку мы рассматриваем лингвистические аспекты, за главную точку расхождений можно принять отношение к наследию Соссюра. Уместнее видеть в концепции Лотмана особую версию структурализма, свободную как от догматизма классического типа, так и от идеологизированного волонтаризма постструктуралистов:

«Тем, кто видит в Лотмане постструктуралиста, стоит напомнить о том, что внимание к динамике есть и в ранних статьях Лотмана, а ориентация на науку и объективность

иронично самоустраняется от обсуждения этого вопроса: «Следующим необходимым шагом науки сделалось создание общей теории структур, теории, объединяющей все формы организации мира — от физических до явлений культуры. Данная задача неизбежно возникает перед наукой, однако автор предлагаемой книги не считает себя готовым для ее решения» [Лотман 2010: 37].

¹¹ Ср.: «Возникает вопрос: откуда берутся сами оппозиции? Являются ли они частью языка или нет? Возможны два основных ответа: 1) Да, противопоставления исходят из структуры самого языка, его минимальных элементов, меризмов (дифференциальные элементы в фонологии, категории в грамматике, элементарные значения в семантике). 2) Нет, они принадлежат не языку, а метаязыку, который мы используем для описания языка» [M. Lotman 2013: 248].

¹² Ср.: «Это означает, что Лотман дошел до принципиальных вопросов, лишь внешне характерных постструктурализму, и ответы на эти вопросы должны были дать поиски следующих лет» [Торроп 1995: 231].

познания присутствует и в поздних. Так, уже в ранних статьях речь идет не только о структурах, но также о структурировании как процессе, не только о функционировании знаковых систем, но и о семиозисе как общей динамике процессов означивания в культуре, только это не динамика хаоса, а динамика систем. И вместе с тем у Лотмана есть устойчивая ориентация: поиск порядка в хаосе преобладает над поиском хаоса в порядке, хотя ко всем факторам динамического нарушения системности он был образцово чуток» [Автономова 2008: 126].

Радикальной формой подобного разнobia мнений можно считать амбивалентное утверждение: «На всем протяжении своей эволюции Лотман одновременно был и не был структуралистом» [Ким 2003: 190]. Нам представляется, что анализ лингвистических взглядов Лотмана позволяет точнее определить место ученого в парадигмах современного гуманитарного знания. Нет сомнений, что Лотман оставался верен фундаментальным принципам соссюрианского структурализма, и в этом смысле, конечно, был структуралистом. Но несомненно и то, что он предвидел и в значительной мере сформулировал то развитие, которое эти принципы могут получить, если придать им динамический характер. Мы предпочитаем говорить о формировании некоторого формообразующего контекста для еще не заявившего о себе неоструктурализма, о чем впервые было заявлено в [Золян, М. Лотман 2012], см. также [Золян 2021]. В настоящее время «героем нашего времени» оказывается не фонема, любимый объект раннего структурализма, и не предложение, ба-ловень генеративизма, а текст, изучаемый как целокупность его многомерной гетерогенной смысловой структуры, множественности языков порождения и интерпретации и контекстно-обусловленных коммуникативных характеристик. Единицы языка определяются в соответствии с их функцией в организации текста и его возможных приложений (интерпретаций). Текст выступает и как структура, и как операция (действие), а языковая деятельность — как многомерная актуализация и тем самым текстуализация языковых структур в процессе коммуникации. Такой подход закладывает основы семиотики, в которой наряду со знаком в качестве основного объекта описания появляется понятие текста, а как основные подлежащие описанию процессы будут выступать текстопорождение, интерпретация и коммуникация. Основным объектом неоструктурализма может стать рассматриваемая как комплекс нелинейных функций структура в динамике ее функционирования, что достаточно естественно вычитывается из работ Ю. М. Лотмана. Тем самым создается возможность для новой, неоструктуралистской или даже неососсюрианской версии лингвистики¹³, которая продолжит традиции системно-структурного подхода к языку, где формализм подобного описания будет дополнен конструктивизмом, в его динамическом сопряжении с процессами коммуникации и смыслопорождения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

- Автономова 2008 — Автономова Н. С. Бахтин и Лотман: на подступах к открытой структуре. *Вестник культурологии*, 2008, 1(44): 123–142. [Avtonomova N. S. Bakhtin and Lotman: At the approaches to open structure. *Vestnik kul'turologii*, 2008, 1(44): 123–142.]
- Автономова 2015 — Автономова Н. С. Лотман и Якобсон: между «уроком» и «экзаменом». *Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология»*, 2015, 7(7): 11–27. [Avtonomova N. S. Lotman and Jakobson: between a “lesson” and an “examination”. *RSUH / RGGU Bulletin. Series: Literary Theory. Linguistics. Cultural Studies*, 2015, 7(7): 11–27.]

¹³ Напомним, что Лотман не имел возможности ознакомиться с опубликованными позднее архивными записями Соссюра. Оставшаяся в набросках теория языка была названа ее публикатором «семиотикой интерпретации» [Bouquet 2004: 205]. Предложенный Лотманом путь развития во многом совпадает с размышлениями Соссюра; в первую очередь, это касается вопроса о соотношении языка и речи [Saussure 2006].

- Бенвенист 1974 — Бенвенист Э. *Общая лингвистика*. М.: Прогресс, 1974. [Benveniste E. *Obshchaya lingvistika* [General linguistics]. Article collection; transl. from French. Moscow: Progress, 1974.]
- Живов 2009 — Живов В. М. Московско-тартуская семиотика: ее достижения и ее ограничения. *Новое литературное обозрение*, 2009, 4(98): 11–26. [Zhivov V. M. Moscow–Tartu semiotics: Its achievements and its limitations. *Novoe literaturnoe obozrenie*, 2009, 4(98): 11–26.]
- Золян 2016 — Золян С. Т. Юрий Лотман о тексте: Идеи, проблемы, перспективы. *Новое литературное обозрение*, 2016, 3(139): 63–96. [Zolyan S. T. Yuri Lotman on the text: Ideas, problems, perspectives. *Novoe literaturnoe obozrenie*, 2016, 3(139): 63–96.]
- Золян 2020 — Золян С. Т. *Юрий Лотман: О смысле, тексте, истории. Темы и вариации*. М.: Языки славянских культур, 2020. [Zolyan S. T. *Yurii Lotman. O smysle, tekste, istorii. Temy i variatsii*. [Yuri Lotman: On meaning, text, and history. Themes and variations]. Moscow: Yazyki Slavyanskikh Kul'tur, 2020.]
- Золян 2021 — Золян С. Т. Как примирить Лумана с Соссюром: принцип внутрисистемной дифференциации как основа неоструктуралистского подхода. *Вопросы языкознания*, 2021, 1: 121–141. [Zolyan S. T. How to reconcile Luhmann with Saussure: The principle of intrasystemic differentiation as a basis for a neo-structuralist approach. *Voprosy Jazykoznanija*, 2021, 1: 121–141.]
- Золян, М. Лотман 2012 — Золян С., Лотман М. *Исследования в области семантической поэтики акмеизма*. Acta Universitatis Tallinnensis. Таллинн: Изд-во Таллиннского ун-та, 2012. [Zolyan S., Lotman M. *Issledovaniya v oblasti semanticheskoi poetiki akmeizma* [Studies in semantic poetics of akmeism]. Acta Universitatis Tallinnensis. Tallinn: Tallinn Univ. Press, 2012.]
- Ким 2003 — Ким Су Кван. *Основные аспекты творческой эволюции Ю. М. Лотмана: «иконичность», «пространственность», «мифологичность», «личностность»*. М.: Новое литературное обозрение, 2003. [Kim Su-Kwang. *Osnovnye aspekty tvorcheskoi evolyutsii Yu. M. Lotmana: «ikonichnost'», «prostranstvennost'», «mifologichnost'», «lichnostnost'»* [Main aspects of Yuri Lotman's creative evolution: “iconicity”, “spatiality”, “mythologicality”, “personalityhood”]. Moscow: Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2003.]
- М. Лотман 1995 — Лотман М. Ю. За текстом: Заметки о философском фоне тартуской семиотики (Статья первая). *Лотмановский сборник*. Т. 1. Пермяков Е. В. (сост.). М.: ИЦ-Гарант, 1995, 214–222. [Lotman M. Yu. Behind the text: Notes on the philosophical background of Tartu semiotics (Article 1). *Lotmanovskii sbornik*. Vol. 1. Permyakov E. V. (comp.). Moscow: ITs-Garant, 1995, 214–222.]
- М. Лотман 2019 — Лотман М. Ю. Текст в контексте Тартуской школы: проблемы и перспективы. *Слово.ру: балтийский акцент*, 2019, 10(4): 45–58. [Lotman M. Yu. Text in the context of Tartu school: Problems and prospects. *Slovo.ru: Baltic Accent*, 2019, 10(4): 45–58.]
- Лотман 1963 — Лотман Ю. М. О разграничении лингвистического и литературоведческого понятия структуры. *Вопросы языкознания*, 1963, 3: 44–52. [Lotman Yu. M. Distinguishing between linguistic and literary notion of structure. *Voprosy Jazykoznanija*, 1963, 3: 44–52.]
- Лотман 1967 — Лотман Ю. М. Литературоведение должно быть наукой. *Вопросы литературы*, 1967, 1: 90–100. [Lotman Yu. M. Literary studies must be a science. *Voprosy literatury*, 1967, 1: 90–100.]
- Лотман 1970 — Лотман Ю. М. *Структура художественного текста*. М.: Искусство, 1970. [Lotman Yu. M. *Struktura khudozhestvennogo teksta* [Structure of a belletristic text]. Moscow: Iskusstvo, 1970.]
- Лотман 1973 — Лотман Ю. М. *Семиотика кино и проблемы киноэстетики*. Таллинн: Ээсти Раамат, 1973. [Lotman Yu. M. *Semiotika kino i problemy kinoestetiki* [Semiotics of cinema and issues of cinema aesthetics]. Tallinn: Eesti Raamat, 1973.]
- Лотман 1978 — Лотман Ю. М. Динамическая модель семиотической системы. *Учен. зап. Тартуского гос. ун-та*, 1978, вып. 464: 18–33. [Lotman Yu. M. Dynamic model of the semiotic system. *Uchenye zapiski Tartusкого gosudarstvennogo universiteta*, 1978, No. 464: 18–33.]
- Лотман 1981 — Лотман Ю. М. *Доклад 13 марта в Тартуском университете*. Таллиннский университет. Эстонский фонд семиотического наследия. F 1 (Ю. Лотман). Машинопись. [Lotman Yu. M. The talk delivered at March 13, 1981 in Tartu University. Unpublished transcript, stored in Tallinn Univ.]
- Лотман 1982 — Лотман Ю. М. От редакции (О семиотическом подходе к проблеме межтекстовых отношений). *Учен. зап. Тартуского гос. ун-та*, 1982, вып. 576: 3–9. [Lotman Yu. M. Editorial note (On a semiotic approach to the problem of intertextual relations). *Uchenye zapiski Tartusкого gosudarstvennogo uiversiteta*, 1982, No. 576: 3–9.]
- Лотман 1987 — Лотман Ю. М. Слово и язык в культуре Просвещения. *Век Просвещения: Россия и Франция. Материалы научной конференции «Випперовские чтения — 1987»*. Данилова И. Е. (ред.). М.: Гос. музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, 1989, 6–18. [Lotman Yu. M.

- Word and language in the Enlightenment culture. *Vek Prosveshcheniya: Rossiya i Frantsiya. Proc. of the Conf. "Vipper readings 1987"*. Danilova I. E. (ed.). Moscow: Pushkin State Museum of Fine Arts, 1989, 6–18.]
- Лотман 1992 — Лотман Ю. М. *Культура и взрыв*. М.: Гнозис, 1992. [Lotman Yu. M. *Kul'tura i vzryv* [Culture and explosion]. Moscow: Gnozis, 1992.]
- Лотман 1996 — Лотман Ю. М. *Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история*. М.: Языки русской культуры, 1996. [Lotman Yu. M. *Vnutri myslyashchikh mirov. Chelovek — tekst — semiosfera — istoriya* [Inside the thinking worlds. Human — text — semiosphere — history]. Moscow: Yazyki Russkoi Kul'tury, 1996.]
- Лотман 2010 — Лотман Ю. М. *Непредсказуемые механизмы культуры*. Подгот. текста и примеч. Т. Д. Кузовкиной при участии О. И. Утгоф. Таллинн: TLU Press, 2010. [Lotman Yu. M. *Nepredskazuyemye mekhanizmy kul'tury* [The unpredictable workings of culture]. Tallinn: TLU Press, 2010.]
- Лотман 2018 — Лотман Ю. М. *О структурализме. Работы 1965–1970 годов*. Пильщиков И. А. (ред.). Таллинн: Изд-во ТЛУ, 2018. [Lotman Yu. M. *O strukturalizme. Raboty 1965–1970 godov* [On structuralism. Works of 1965–1970]. Pilshchikov I. A. (ed.). Tallinn: TLU Press, 2018.]
- Лотман, Пятигорский 1968 — Лотман Ю. М., Пятигорский А. М. Текст и функция. *III Летняя школа по вторичным моделирующим системам: Тезисы* (Кяэрику, 1968). Лотман Ю. М. (ред.). Тарту: ТГУ, 1968, 74–88. [Lotman Yu. M., Pyatigorsky A. M. Text and function. *3rd Summer School on Secondary Modelling Systems: Abstracts* (Kääriku, 1968). Lotman Yu. M. (ed.). Tartu: Tartu State Univ., 1968, 74–88.]
- Пильщиков и др. 2018 — Пильщиков И. А., Поселягин Н. В., Трунин М. В. Проблемы генезиса и эволюции тартуско-московского структурализма в работах Ю. М. Лотмана 1960-х и начала 1970-х годов. *О структурализме. Работы 1965–1970 годов*. Лотман Ю. М. Под ред. И. А. Пильщикова. Таллинн: Изд-во ТЛУ, 2018, 7–63. [Pilshchikov I. A., Poselyagin N. V., Trunin M. V. Problems of the genesis and evolution of Tartu–Moscow structuralism in Yuri Lotman's works of 1960s and early 1970s. *O strukturalizme. Raboty 1965–1970 godov*. Lotman Yu. M. Ed. by I. A. Pilshchikov. Tallinn: TLU Press, 2018, 7–63.]
- Пятигорский 1996 — Пятигорский А. М. О времени в себе: Шестидесятые годы от Афин до ахинеи. (Беседа А. М. Пятигорского с Игорем Смирновым). *Избранные труды*. Пятигорский А. М. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996, 318–335. [Pyatigorsky A. M. On time-in-itself: The sixties from Athens to bafflegab (Alexander Pyatigorsky's conversation with Igor Smirnov). *Izbrannyye trudy*. Pyatigorsky A. M. Moscow: Shkola "Yazyki Russkoi Kul'tury", 1996, 318–335.]
- Салупере 2017 — Салупере С. *О метаязыке Юрия Лотмана: проблемы, контекст, источники*. Тарту: Изд-во Тартуского ун-та, 2017. [Salupere S. *O metayazyke Yuriya Lotmana: problemy, kontekst, istochniki* [On Yuri Lotman's metalanguage: Problems, context, sources]. Tartu: Univ. of Tartu Press, 2017.]
- Тороп 1995 — Тороп П. Тартуская школа как школа. *Лотмановский сборник*. Т. 1. Пермяков Е. В. (сост.). М.: ИЦ-Гарант, 1995, 223–239. [Torop P. The Tartu school as a school. *Lotmanovskii sbornik*. Vol. 1. Permyakov E. V. (comp.). Moscow: ITs-Garant, 1995, 223–239.]
- Успенский 2016 — Успенский Б. А. (ред.). *Ю. М. Лотман — Б. А. Успенский. Переписка 1964–1993*. Таллинн: Изд-во ТЛУ, 2016. [Uspensky B. A. (ed.). *Yu. M. Lotman — B. A. Uspenskii. Perepiska 1964–1993* [Yuri Lotman — Boris Uspensky. 1964–1993 correspondence]. Tallinn: Tallinn Univ. Press, 2016.]
- Bouquet 2004 — Bouquet S. Saussure's unfinished semantics. *The Cambridge companion to Saussure*. Sanders C. (ed.). Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2004, 205–218.
- Derrida 1967 — Derrida J. La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines. *L'écriture et la différence*. Derrida J. Paris: Seuil, 1967, 409–428.
- Gramigna 2013 — Gramigna R. Juri Lotman and Émile Benveniste. *Sign Systems Studies*, 2013, 41(2/3): 339–354.
- M. Lotman 2013 — Lotman M. Afterword: Semiotics and unpredictability. *The unpredictable workings of culture*. Lotman Ju. M. Tallinn: TLU Press, 2013, 239–277.
- Saussure 2006 — de Saussure F. *Writings in general linguistics*. Bouquet S., Engler R. (eds.). Oxford: Oxford Univ. Press, 2006.

Фонетические и фонологические свойства признака продвинутости корня языка в языках Африки

© 2022

Надежда Владимировна Макеева

Институт языкознания РАН, Москва, Россия; umuta11@yandex.ru

Аннотация: В статье содержится обзор фонетических и фонологических свойств признака продвинутости корня языка, или ATR (advanced tongue root), широко распространенного в нигеро-конголезских и нило-сахарских языках макросуданского пояса. Фонетический раздел статьи посвящен артикуляторным и акустическим коррелятам признака ATR. Обзор артикуляторной базы представлен в исторической перспективе, от первых рентгенографических исследований 1960-х годов до ларингоскопических исследований последних лет. В статье показано, как появление новых методов позволило сместить фокус внимания с движения корня языка, которому изначально отдавалась ведущая роль в создании контраста, на черпалонадгортанное сжатие и синергетическую систему механизмов гортани. Рассматриваются такие акустические параметры, связанные с ATR, как частота первой форманты, ширина полосы первой форманты, среднее спектральное, разность амплитуд первых двух формант. Также в работе уделено внимание широко обсуждавшимся в литературе сходствам и различиям между признаком ATR и признаками подъема и напряженности артикуляции. Фонологический раздел статьи включает обзор систем гармонии гласных по признаку продвинутости корня языка. Основное внимание уделено устойчивой межъязыковой тенденции, согласно которой доминантность того или иного значения признака ATR в языке зависит от инвентаря гласных: в подавляющем большинстве языков, имеющих противопоставление по признаку ATR хотя бы для верхних гласных, доминантным является значение [+ATR], тогда как значение [–ATR] является доминантным в тех языках, где контраст имеется только для гласных среднего подъема. Рассмотрены также основные паттерны распространения доминантного значения (ассимилятивная доминантность, аллофоническая доминантность, фузионная доминантность) и их дистрибуция в языках с двумя основными типами вокалической системы.

Ключевые слова: вокализм, обзор, сингармонизм, фонетика, языки Африки, ATR

Благодарности: Работа выполнена в рамках проекта РНФ 17-78-20071.

Для цитирования: Макеева Н. В. Фонетические и фонологические свойства признака продвинутости корня языка в языках Африки. *Вопросы языкознания*, 2022, 1: 120–150.

DOI: 10.31857/0373-658X.2022.1.120-150

Phonetic and phonological properties of the advanced tongue root feature in African languages

Nadezhda V. Makeeva

Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; umuta11@yandex.ru

Abstract: The paper presents an overview of the ATR (advanced tongue root) feature, which is fairly widespread among the Niger-Congo and Nilo-Saharan languages of the Macro-Sudan Belt. The phonetic section provides a description of the articulatory and acoustic correlates of the feature. The review of the articulatory basis of the feature is presented in a historical perspective, from the first cineradiographic studies of the 1960s till the laryngoscopic studies of the recent years. The paper shows how the introduction of new methods shifted attention from the tongue root movement, which had been given primacy

in production of the contrast, to aryepiglottal-epiglottal constriction and a synergistic system of laryngeal articulations. The paper provides a description of several acoustic measures that have been found to correlate with the ATR feature: the frequency of the first formant, the first formant bandwidth, the spectral center of gravity, the relative intensity of the first to the second formant. Similarities and differences between ATR, height and tenseness, which have been largely discussed in the literature, are also described in the paper. The phonological section provides an overview of ATR harmony systems. The main attention is paid to the strong crosslinguistic tendency for [+ATR] to function as the dominant value in languages with ATR contrast among high vowels, but for [-ATR] to be dominant in languages in which ATR is only contrastive for non-high vowels. The paper describes different manifestations of ATR dominance (assimilatory, allophonic, and coalescent dominance) among two major types of underlying vowel inventories.

Keywords: African, ATR, phonetics, survey, vowel harmony, vowels

Acknowledgements: The work was supported by the Russian Science Foundation (project No. 17-78-20071).

For citation: Makeeva N. V. Phonetic and phonological properties of the advanced tongue root feature in African languages. *Voprosy Jazykoznanija*, 2022, 1: 120–150.

DOI: 10.31857/0373-658X.2022.1.120-150

1. Введение

Фонологический контраст и гармония по признаку продвинутости корня языка, или ATR (advanced tongue root), впервые привлекли широкое внимание в связи с описанием языков Африки южнее Сахары и часто рассматриваются как явление, присущее исключительно языкам африканского континента. Однако контраст и гармония по признаку ATR были отмечены и за пределами Африки, например, в монгольских и тунгусо-маньчжурских языках (монгольском [Ко 2012], бурятском [Kang, Ко 2012], эвенском [Aralova et al. 2011; Aralova 2015]), а также в языке каража макросемьи макро-же [Warren 2014]. В то же время, безусловно, наибольшая концентрация языков, имеющих фонологический контраст и гармонию по признаку ATR, засвидетельствована в языках нигеро-конголезской макросемьи (прежде всего, в семьях ква, гур, кру и некоторых ветвях бенуэ-конголезской семьи) и нило-сахарской макросемьи (прежде всего, в нилотских)¹. Также она отмечена в языках сомали и тангале афразийской макросемьи [Casali 2008: 505]. В связи с этим описание контраста и гармонии по признаку ATR в этой работе будет ограничено вокалическими системами языков Африки.

Наличие фонологического контраста и гармонии гласных по признаку ATR является одной из самых ярких черт так называемой фонологической суданской зоны, или шире — макросуданского пояса, — ареальной общности языков, располагающейся в зоне саванны и более плодородных земель между Сахелем на севере, Атлантическим океаном на юге и западе, озером Альберт на юго-востоке и Эфиопским нагорьем на востоке² [Clements, Rialland 2008; Güldemann 2008; 2010] (см. рис. 1).

¹ Отметим, что термины «нигеро-конголезская макросемья» и «нило-сахарская макросемья», некогда предложенные Гринбергом [Greenberg 1963], весьма условны. Так, методы реконструкции и лексикостатистического анализа показали достаточно убедительное родство макросуданской макросемьи, в которую входят восточносуданские и центральносуданские языки, однако родство между макросуданской макросемьей и другими языками нило-сахарской макросемьи Гринберга (комузской и сахарской семьями, а также кулякской группой, группой сонгай и языком микир) доказать не удастся [Старостин 2017].

² В числе черт суданской фонологической зоны можно также назвать следующие: наличие лабиовелярных и имплозивных согласных, отсутствие глухих лабиальных смычных, фонематический



Рис. 1. Фонологические зоны Африки по [Clements, Rialland 2008: 37]:

1 — северная, 2 — восточная, 3 — суданская, 4 — центральная, 5 — южная, 6 — рифтовая.

Однако, как было показано в [Rolle et al. 2020], внутри макросуданского пояса выделяются две зоны, где практически не встречаются языки с так называемыми полными системами ATR (см. раздел 3). Первая из них — гвинейская зона — локализуется на территории Гвинеи-Бисау, Гвинеи, Сьерра-Леоне и Мали. Вторая — центральноафриканская зона — существенно превышает первую по размерам и тянется от южного Чада и Судана к северо-восточной Нигерии, простираясь также на большую часть Камеруна, Экваториальной Гвинеи и Центральноафриканской Республики. В этих двух зонах преобладают языки, не имеющие противопоставления гласных по признаку ATR, также здесь встречаются языки с неполными системами ATR [Rolle et al. 2020: 136]. Языки, имеющие полные системы ATR, также занимают довольно хорошо очерченные зоны, географически не связанные между собой, внутри макросуданского пояса. Первая из них — атлантическая зона ATR, включающая североатлантические языки Гамбии и Сенегала. Вторая зона — западноафриканская, занимающая территорию от побережья Гвинейского залива на юге до Буркина-Фасо и Мали на севере и от Кот-д’Ивуара на западе до Нигерии на востоке. И, наконец, третья зона распространения гармонии по признаку ATR — восточноафриканская, протянувшаяся от Нубийских гор на юге Судана к югу до Уганды и Кении [Rolle et al. 2020: 132–135].

Работа имеет следующую структуру. В разделе 2 будут рассмотрены фонетические свойства признака ATR: артикуляторные (2.1) и акустические (2.2) корреляты, а также сходства и различия с фонетическими свойствами других признаков, таких как подъем (2.3) и напряженность артикуляции (2.4), вызывавшие множество споров на протяжении всей истории описания языков с признаком ATR. Раздел 3 посвящен фонологическим свойствам признака, раздел 4 представляет заключительную часть.

статус назализованных гласных и отсутствие фонематического статуса у носовых согласных, противопоставление трех и более тональных уровней [Clements, Rialland 2008]. Понятие макросуданского пояса предполагает наличие не только фонологических, но и ряда общих грамматических черт, таких как логофорические показатели и порядок слов «S (AUX) O V X» [Güldemann 2008; 2010].

2. Фонетические свойства признака ATR

2.1. Артикуляторные корреляты признака ATR

Исследование языков с гармонией гласных по признаку ATR началось задолго до появления термина, используемого для обозначения данного фонологического контраста. В ранних работах гармония гласных в этих языках связывалась с различными уже известными науке артикуляторными признаками: подъемом языка [Christaller 1875; Welm-ers 1946]³, напряженностью артикуляции [Schachter, Fromkin 1968], типом фонации [Berry 1955]. В 1960-х годах, когда стало возможным проведение рентгенографических исследований, началось интенсивное изучение артикуляторной базы признака ATR, которое позволило установить его фонологическую самостоятельность, а также выявить артикуляторные движения, работающие на создание контраста.

Возникновение термина «advanced tongue root» связывается одновременно с появлением двух работ — [Ladefoged 1964] и [Stewart 1967]. В [Ladefoged 1964] впервые были представлены рентгенограммы с попарным наложением конфигураций языка при произнесении гласных двух наборов — [+ATR] /i, u, ε, o/ и [-ATR] /i, ε, a, ɔ/⁴ носителем языка игбо (< бенуэ-конго < нигер-конго) (см. рис. 2).

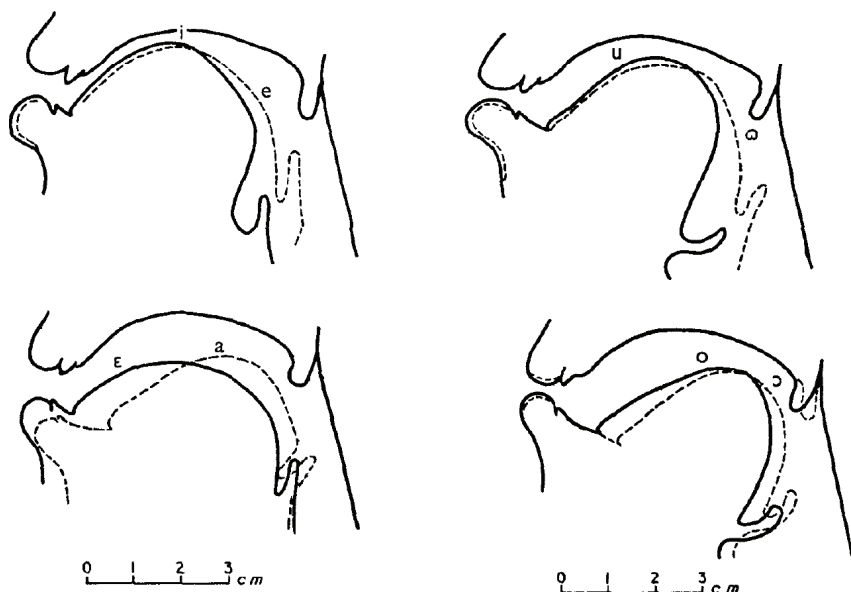


Рис. 2. Конфигурация языка при произнесении гласных языка игбо [Ladefoged 1968: 38]

³ Описания, в рамках которых признак ATR описывался как противопоставление по подъему, влекло ряд неудобств для фонологической интерпретации: в [Christaller 1875] гармония по признаку ATR описывается как гармония по четности/нечетности степени открытости гласного, в [Welmers 1946] — как гармония по супrasegmentному признаку «повышения» (“heightening”). О признаке компактности как основании сингармонизма в африканских языках см. также [Виноградов 1972].

⁴ Наиболее часто используемые символы для обозначения гласных набора [+ATR] — /i, ε, u, o/, [-ATR] — /i, ε, ɔ, a/ (см. также раздел 3). В более ранних работах, например в [Ladefoged 1964; Lindau 1975; 1979] для обозначения заднего лабиализованного гласного верхнего подъема, относящегося к набору [-ATR], использовался символ ɔ̹.

По крайней мере для некоторых пар гласных рентгенограммы оказались очень сходными, что не позволило говорить о существенных различиях ни в положении верхней точки языка, ни в месте и степени максимального сужения речевого тракта. В то же время во всех четырех случаях тело языка оказалось существенно сдвинутым назад при произнесении гласного второго набора по сравнению с гласным первого набора [Ladefoged 1968: 39–40]. В своей статье [Stewart 1967] Стюарт, еще в 1963 г. на семинаре по африканской лингвистике в Легоне (Гана) высказывавший подобные идеи с опорой на работу Пайка [Pike 1947]⁵, с учетом данных, полученных Ладефогедом, предлагает говорить о признаке продвинутости корня языка (root-unadvanced / root-advanced).

Термин «advanced tongue root / ATR» (как и пара терминов для значений признака — [+ATR] и [–ATR]⁶) вошел в научный оборот и остается основным и по сей день. Исходно подразумевалось, что корень языка играет ведущую роль в реализации данного признака. Дальнейшие многочисленные исследования показали, что движение корня языка является не единственным артикуляторным механизмом, а лишь встраивается в некоторую систему механизмов, работающих на создание контраста. Однако позже предлагавшиеся термины, более адекватно отражавшие артикуляторную базу признака, такие, например, как «covered» [Chomsky, Halle 1968: 314–315; Painter 1973] или «expanded» [Lindau 1975: 16–21], не прижились, и термин ATR остался ярлыком, используемым для данного фонологического признака с рядом оговорок⁷.

Рентгенографическое исследование [Painter 1973] на материале языка акан (< ква < нигер-конго), различные диалекты которого имеют пять гласных [–ATR] (/i, ε, a, u, o/) и четыре или пять гласных [+ATR] (/i, e, (æ), u, o/), подтвердили значимость положения корня языка для противопоставления гласных двух наборов. Кроме того, автором было предложено говорить не о положении корня языка, а шире — о ширине глотки в сагиттальной проекции [Painter 1973: 116–117]. В этом исследовании были произведены измерения целого ряда параметров, характеризующих ширину глотки (см. рис. 3):

- положение верхней части корня языка (LM — расстояние от верхней части корня языка М до перпендикуляра АНЖКЛО, проходящего через верхние резцы и спущенного от линии ABCD, проходящей через переднюю и заднюю носовые ости);
- положение нижней части корня языка (расстояние OP);
- ширина глотки в области верхней части корня языка (MN);
- расстояние между нижней частью корня языка и задней стенкой глотки (PS);
- расстояние между надгортанником и задней стенкой глотки (RS);
- ширина надгортанного желудочка (PQ).

Все параметры, за исключением последнего (ширины надгортанного желудочка), единообразно различают гласные двух наборов для верхнего и среднего подъема (/i/ vs. /i/, /e/ vs. /ε/, /u/ vs. /o/, /o/ vs. /o/): при произнесении гласных набора [–ATR] корень языка существенно отодвинут назад, за счет чего ширина глотки в сагиттальной проекции оказывается

⁵ На эту мысль Стюарта наталкивают другие обнаруженные им артикуляторные движения, работающие на увеличение ротовой полости при произнесении «поднятых» (raised) гласных, а именно комбинация высокого положения языка и низкого положения подбородка [Stewart 1967: 197]. Согласно Пайку, гласные могут приобретать более глубокое и полное звучание (а именно так могут быть импрессионистически описаны «поднятые» гласные, согласно Стюарту) за счет увеличения резонатора, которое, в свою очередь, может быть достигнуто 1) опущением гортани, 2) продвижением вперед корня языка или 3) разведением в стороны небно-язычных дужек [Pike 1947: 21–22].

⁶ Несколько реже, особенно в последнее время, используется пара терминов «advanced tongue root» — «retracted tongue root», или [ATR]/[RTR].

⁷ В [Edmondson, Esling 2006a] используется пара сходных терминов: «constricted» — «non-constricted».

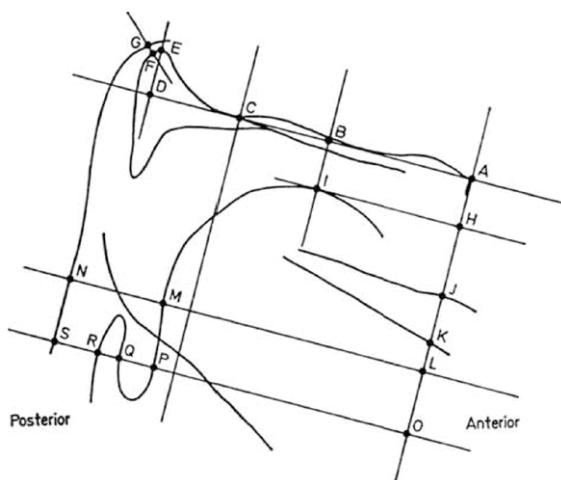


Рис. 3. Схема, используемая для измерения параметров глотки в [Painter 1973]

существенно меньшей. Гласные /a/ и /æ/ существенно различаются по всем параметрам, кроме RS. На рис. 4 приведены рентгенограммы с конфигурацией языка при произнесении гласных /o/ vs. /ɔ/.

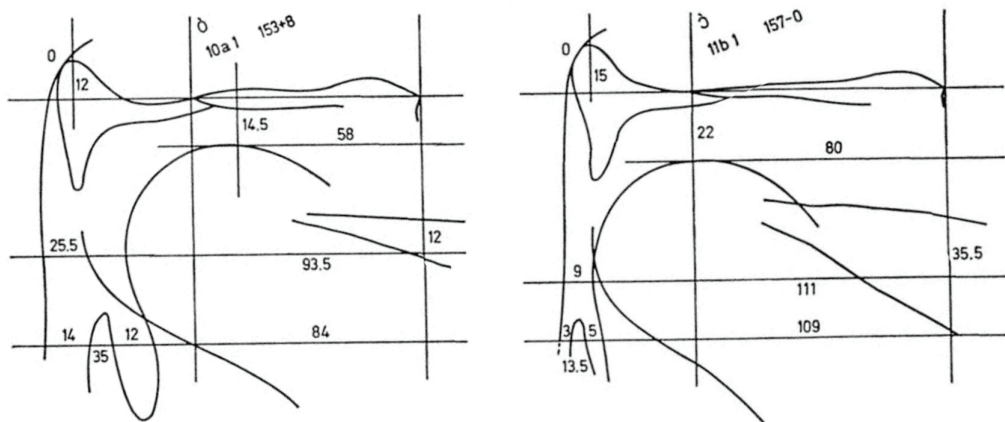


Рис. 4. Конфигурация языка при произнесении гласных /o/ (слева) vs. /ɔ/ (справа) языка акан [Painter 1973: 113]

В [Lindau 1975; 1979] на материале пяти языков нигеро-конголезской и нило-сахарской макросемей, включая акан, было продемонстрировано, что ширина глотки является не единственным артикуляторным параметром, значимым для противопоставления гласных двух разных наборов. Физиологически независимым и значимым для противопоставления оказывается также вертикальное положение гортани. На рис. 5 представлены рентгенограммы передних и задних гласных языка акан. Конфигурация языка и уровень гортани для гласных набора [+ATR] обозначены сплошной линией, а для гласных набора [-ATR] — пунктирной. Рентгенограммы убедительно показывают, что в каждой паре гласных, противопоставленных по признаку ATR, для гласного [+ATR] характерна более широкая глотка и более низкий уровень гортани, нежели для гласного [-ATR].

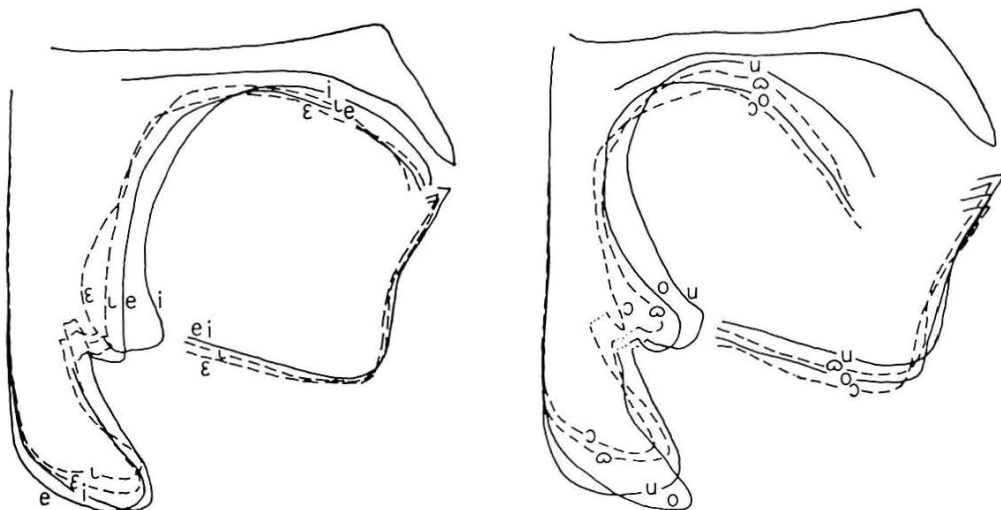


Рис. 5. Конфигурация языка и уровень гортани при произнесении гласных носителем языка акан [Lindau 1979: 169]

К сходным выводам приводит рентгенографическое исследование [Сурканова 1978] на материале языка игбо: гласные набора [–ATR] отличаются от гласных набора [+ATR] уменьшением объема глоточного резонатора за счет уменьшения расстояния между нижним отделом корня языка и задней стенкой глотки⁸, а более высокое расположение подъязычной кости на рентгенограммах для гласных набора [–ATR] предположительно свидетельствует о поднятии гортани.

В своих работах Линдау предлагает говорить о размере глотки, на изменение которого сообща работают два артикуляторных движения — изменение ширины глотки и изменение вертикального положения гортани. Она отмечает, что благодаря этой комбинации артикуляторных движений достигается максимальное различие в объеме глоточного резонатора при производстве гласных пары ATR, а значит, и максимальное акустическое различие [Lindau 1975: 115]. Эта артикуляторная комбинация напоминает комбинацию веларного сужения с огубленностью для задних гласных, создающую максимальное различие в объеме переднего резонатора для передних и задних гласных.

Выводы Линдау подтвердились и в ходе первого исследования с использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ) на материале языка акан [Tiede 1996]. В отличие от рентгенографического исследования, дающего двумерное изображение в сагиттальной проекции, МРТ позволила произвести также сканирование тканей в аксиальной проекции и получить таким образом трехмерную картину положения артикуляторных органов при производстве гласных. В исследовании измерялись три различных параметра — площадь поперечного сечения глоточного резонатора, его глубина и ширина в месте максимального растяжения — в 11 аксиальных проекциях. За нулевой уровень была принята горизонтальная прямая, идущая от ямок надгортанника к задней стенке глотки. По пять проекций располагались выше и ниже нулевого уровня соответственно с интервалом в 5 мм. Исследование показало, что площадь поперечного сечения глоточного резонатора значительно различается при артикуляции гласных двух наборов, при этом ранее не подлежавший измерению параметр ширины (от левого до правого края) вносит существенный

⁸ В исследовании [Сурканова 1978] не проводилось статистической обработки данных, однако расчеты показали, что расстояние от нижнего отдела корня языка до задней стенки глотки для гласных [+ATR] в полтора-три раза превышает это же расстояние для гласных [–ATR].

вклад наравне с параметром «глубины» (от переднего до заднего края — то, что в сагиттальной проекции будет называться «шириной»). Более того, во всех 11 аксиальных проекциях имеется положительная корреляция между шириной и «глубиной» глотки. На рис. 6 представлены МРТ-снимки речевого тракта в сагиттальной проекции при произнесении гласных /i/ vs. /ɪ/, демонстрирующие существенные различия в «глубине» глотки в двух произнесениях. На рис. 7 представлены МРТ-снимки глотки в аксиальной проекции, которые указывают на различия в «глубине», ширине и, соответственно, площади поперечного сечения глотки для этой же пары гласных.

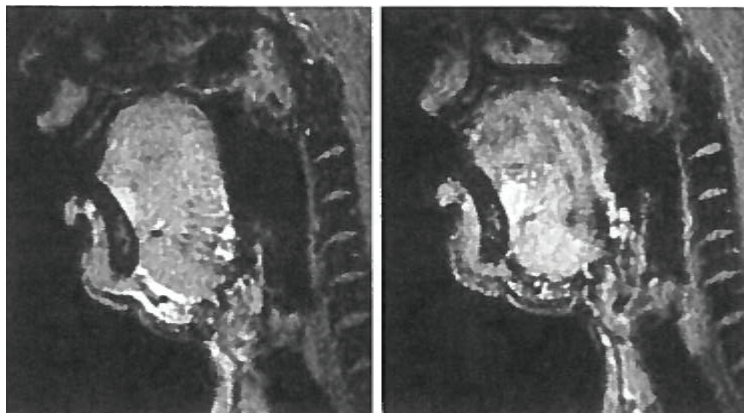


Рис. 6. МРТ-снимки речевого тракта в сагиттальной проекции при произнесении гласных /i/ (слева) vs. /ɪ/ (справа) [Tiede 1996: 410]

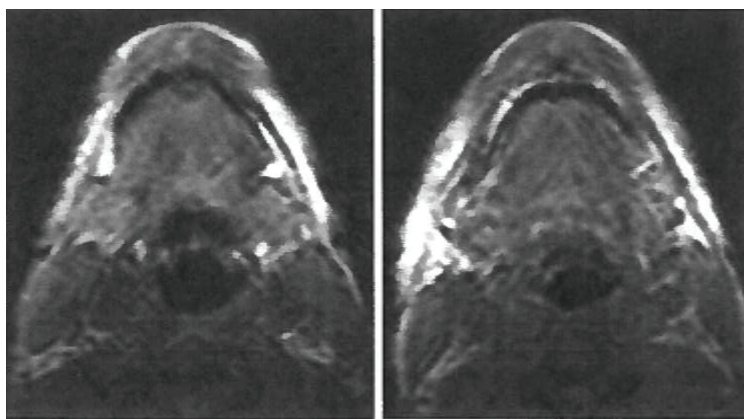


Рис. 7. МРТ-снимки глотки в аксиальной проекции на нулевом уровне (на уровне ямок надгортанника) при произнесении гласных /i/ (слева) vs. /ɪ/ (справа). Верх снимка соответствует передней стороне глотки, а низ — задней стороне глотки [Tiede 1996: 410]

В числе артикуляторных коррелятов, лежащих в основе гармонии гласных, в ряде работ упоминалась так называемая напряженность / ненапряженность речевых органов, в частности языка и глотки. Надо отметить, что напряженными в разных работах назывались гласные обоих наборов: гласные набора [+ATR] — из-за сходства в их артикуляции с напряженными гласными германских языков, гласные набора [-ATR] — благодаря сужению глотки и напряженности ее стенок [Chomsky, Halle 1968: 315; Сурканова 1978:

199–200]. В [Tiede 1996] вслед за [Hardcastle 1976] различаются два типа напряженности мышц глотки: «изотоническая» напряженность, вызывающая сфинктерическое сужение глоточного отверстия, и «изометрическая» напряженность, вызывающая напряжение стенок глотки без уменьшения прохода. Напряженность второго рода обеспечивается одновременной работой антагонистических мышц, что позволяет поддерживать постоянной величину фарингального сужения. При производстве гласных набора [–ATR] происходит изотоническое напряжение глоточного констриктора, сужающее площадь поперечного сечения глотки, тогда как при производстве гласных [+ATR] изометрическая напряженность препятствует деформации боковых стенок глотки [Tiede 1996: 419–420]. В [Fulop et al. 1998] наличие изометрической напряженности, напротив, предположительно постулируется для гласных с отодвинутым корнем языка, однако это предположение не подтверждается результатами акустического исследования. Возможно, изометрическая напряженность присутствует при производстве гласных обоих наборов [Fulop et al. 1998: 84, 94].

Существенный вклад в изучение артикуляторных коррелятов признака ATR внесли исследования методами ларингоскопии, позволившие выявить особенности работы артикуляторных органов в нижней части глотки и гортани [Esling, Harris 2005; Edmondson, Esling 2006a; Esling et al. 2019]. Ларингоскопические исследования позволили, в первую очередь, создать новый подход к изучению фонации — он был впервые освещен в [Esling, Harris 2005], где одномерная шкала по параметру закрытости / открытости голосовых связок была заменена на двухуровневую систему состояний гортани, включившую помимо голосовых связок второй — черпалонадгортанный — уровень. Новый взгляд на работу нижней части голосового тракта позволил создать более полное представление об артикуляторных коррелятах ряда других фонологических признаков, в т. ч. ATR. В [Edmondson, Esling 2006a] была представлена синергетическая система из шести клапанов, контролирующих проход воздуха через гортанную трубку. Эти клапаны работают на сужение гортанной трубки, они могут функционировать как в качестве артикуляторов, модифицирующих резонансные свойства голосового тракта, так и в качестве источников акустической энергии (прежде всего клапан 1, известный как голосовой источник, а также отчасти клапан 3). Клапаны и их функции представлены в таблице 1.

Таблица 1

Клапаны гортани и их функции [Edmondson, Esling 2006a: 159]

Клапан	Описание функций клапана
1	сведение и разведение голосовых связок
2	работа ложных голосовых связок: ложные голосовые связки частично прикрывают и заглушают колебания сведенных голосовых связок
3	сфинктерическое сжатие черпаловидных хрящей и черпалонадгортанных складок в передне-верхнем направлении при помощи комплекса щиточерпаловидных мышц
4	надгортанно-глоточное сжатие: корень языка и надгортанник оттягиваются в направлении назад и вниз за счет работы подъязычных мышц, что в предельном случае заканчивается полным соприкосновением надгортанника с задней стенкой глотки
5	поднятие гортани за счет группы надподъязычных мышц (передней и задней двубрюшной, шилоподъязычной, подбородочно-подъязычной и подъязычно-язычной мышц) и опущение при помощи группы нижних подъязычных мышц
6	глоточное сужение: внутреннее сфинктерическое сжатие стенок глотки при помощи верхних/средних/нижних констрикторов

На рис. 8 представлен ларингальный отдел речевого тракта и его клапаны при сведенных и колеблющихся голосовых связках.

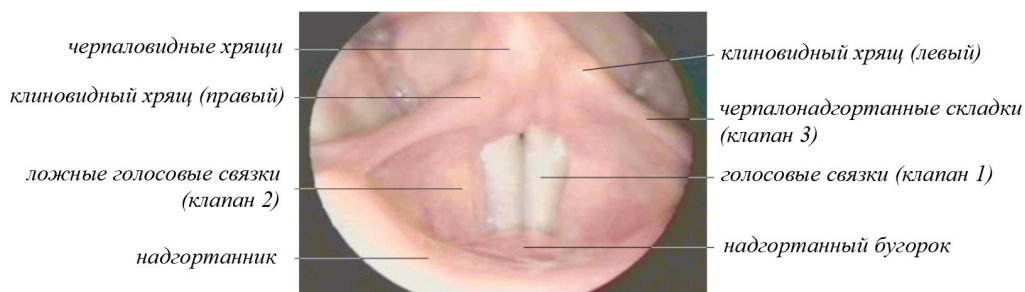


Рис. 8. Снимок ларингального отдела речевого тракта и его клапанов, сделанный у входа в фарингальную полость позади увулы и ниже вершины надгортанника [Edmondson, Esling 2006a: 163]

Исследование показало, что движение корня языка в заднем направлении (клапан 4) и поднятие гортани (клапан 5), считавшиеся артикуляторными коррелятами признака ATR, невозможны без работы клапана 3, т. е. вовлеченности в артикуляцию черпалонадгортанных складок. Более того, в [Edmondson, Esling 2006b] было показано, что работа клапана 3, т. е. сфинктерическое сжатие черпалонадгортанных складок, является основным артикуляторным механизмом, работающим на создание контраста между двумя наборами гласных, тогда как работа других клапанов является вспомогательной. Черпалонадгортанные складки подтягиваются в передне-верхнем направлении при помощи клиновидных хрящей, уплощают эпиларингальную трубку, ведущую в глотку, и сжимают таким образом проход для воздушного потока. Подобное уплощение требует вспомогательного движения корня языка в задне-нижнем направлении и сужения глотки, которые помогают надгортаннику занять удобную позицию для функционирования в качестве пассивного артикулятора [Ibid.: 3–4]. Таким образом, согласно Эдмондсону и Эслингу, изменения в положении корня языка и объеме глотки — лишь следствия основной артикуляции, осуществляемой клапаном 3.

В языке кабийе семьи гур, обладающем девятичленной вокалической системой с четырьмя гласными [+ATR] (/i, e, u, o/) и пятью гласными [–ATR] (/ɪ, ɛ, a, ʊ, ə/), гласные набора [–ATR] производятся при активной работе всех клапанов, кроме клапана 2, тогда как при произнесении гласных [+ATR] эти клапаны остаются в покое⁹ (см. рис. 9–10). Работа клапана 6 свидетельствует об очень сильном сжатии гортани, она соответствует изотонической напряженности по [Tiede 1996].

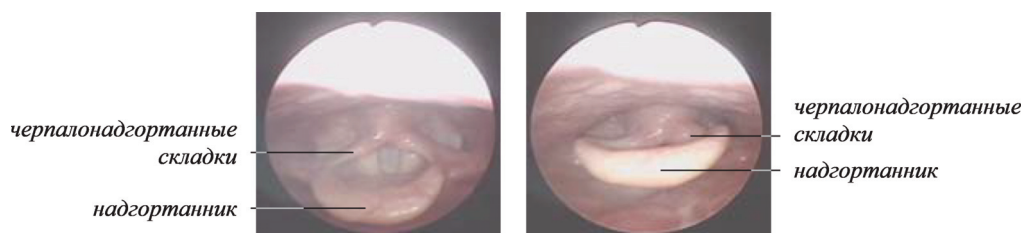


Рис. 9. Черпалонадгортанные складки и надгортанник при произнесении гласных /u/ vs. /ʊ/ в словах /tú/ ‘слон’ и /tú/ ‘пчела’ языка кабийе (< гур < нигер-конго) [Edmondson, Esling 2006a: 180]

⁹ В работах [Edmondson, Esling 2006a; Esling et al. 2019] различные состояния гортани рассматриваются в терминах привативной оппозиции таким образом, что клапаны гортани в различных комбинациях работают на ее сужение относительно нейтрального состояния. Иной взгляд представлен в исследовании [Hudu 2010], где была выдвинута гипотеза о прямом соответствии между фонологической доминантностью одного из значений признака ATR и его артикуляторной выраженностью (статистически значимым смещением корня языка) по отношению к нейтральному

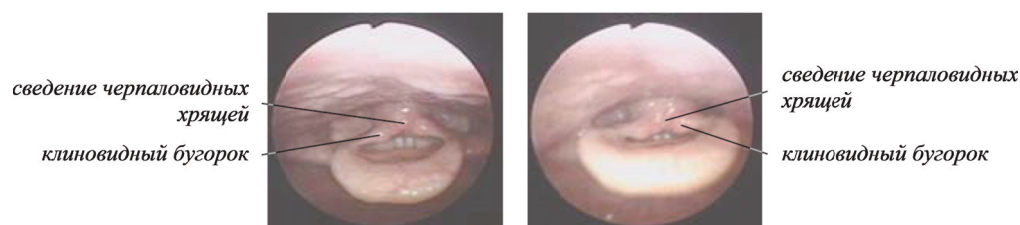


Рис. 10. Черпалонадгортанные складки и надгортанник при произнесении гласных /e/ vs. /ɛ/ в словах /lè/ ‘сушій’ и /teè/ ‘режь’ языка кабийе (< гур < нигер-конго) [Edmondson, Esling 2006a: 180]

Сходные результаты были получены при ларингоскопическом исследовании языка акан [Edmondson et al. 2007: 2067]. На рис. 11–12, иллюстрирующих состояние ларингального артикулятора при произнесении гласных, противопоставленных по признаку ATR, при помощи прямых линий обозначен угол, образуемый черпалонадгортанными складками. Если при произнесении гласных [+ATR] этот угол составляет около 90°, то при произнесении гласных [–ATR] он существенно превышает 90°, что свидетельствует о приближении складок к поверхности надгортанника.

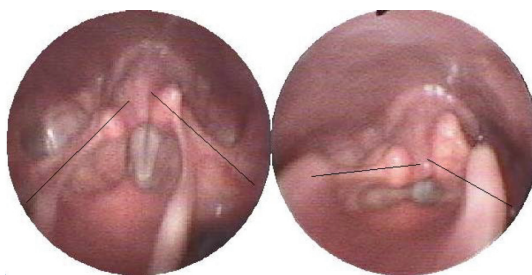


Рис. 11. Черпалонадгортанные складки и надгортанник при произнесении гласных /i/ vs. /ɪ/ в словах /mídi/ ‘я ем’ и /mídi/ ‘меня зовут’ языка акан [Edmondson, Esling 2006b: 6]

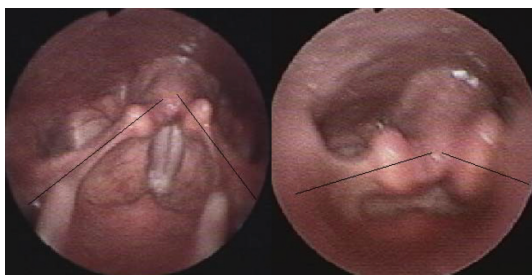


Рис. 12. Черпалонадгортанные складки и надгортанник при произнесении гласных /u/ vs. /ʊ/ в словах /tú/ ‘вырывать с корнями’ и /tʊ/ ‘кидать’ языка акан [Edmondson, Esling 2006b: 6]

Часто в исследованиях гласные [+ATR] описываются как глубокие, приглушенные, придыхательные, а гласные [–ATR] — напротив, как яркие, сдвоенные, металлические,

укладу. Ультразвуковые исследования положения корня языка относительно нейтрального уклада в языках дагбани (< гур < нигер-конго) [Hudu 2014] и йоруба (< дефоидные < бенуэ-конго < нигер-конго) [Allen et al. 2013] подтвердили данную гипотезу лишь в рамках тенденции.

скрипучие [Guion et al. 2004: 523; Olejarczuk et al. 2019: 21]. Данные слуховые впечатления могут быть связаны как с наличием дополнительных различий по типу фонации (где придыхательный, ненапряженный голос ассоциирован с продвинутой корня языка, а скрипучий, напряженный голос — напротив, с отодвинутой корня языка), так и с различиями в резонансных свойствах гортанной трубки и напряженности стенок глотки при произнесении гласных разных наборов¹⁰. Различия на слух по типу фонации отмечались для ряда диалектов акан [Berry 1955: 162], нилотских языков масаи [Tucker, Mraaye 1955], сабоат и эндо [Guion et al. 2004: 522], шиллук [Remijnsen et al. 2011: 116]. Электроглоттографическое исследование гласных одного носителя восточнонилотского языка масаи действительно показало характерные для придыхательной фонации значимо меньшие значения длительности закрытой фазы колебательного цикла для гласных [+ATR] по сравнению с гласными [-ATR].

По-видимому, в ряде языков тип фонации следует считать ведущим фонологическим признаком; такая ситуация наблюдается, например, в языке сомали (< кушитские < афразийские), где в артикуляции гласных набора [-ATR] задействованы также ложные голосовые связки [Edmondson, Esling 2006b]. В других языках можно говорить о дополнительных различиях по типу фонации, как это имеет место в эфиопском комо (< команские < нило-сахарские) [Olejarczuk et al. 2019: 33], где разность амплитуд первых двух гармоник оказывается надежным акустическим параметром, позволяющим различать гласные двух наборов (см. раздел 2.2). Также высказывались предположения о наличии физиологической связи между продвинутостью корня языка и работой голосовых связок. Одно из возможных объяснений заключается в том, что при движении корня языка вперед черпалонадгортанные складки подтягивают вперед черпаловидные хрящи, которые, в свою очередь, слегка раздвигаются, ослабляя и разводя голосовые связки [Kingston et al. 1997: 1697], сходный механизм предложен в [Halle, Stevens 1969: 214]. Такая точка зрения согласуется с обнаружением статистически значимых, но не слышных уху различий по типу фонации [Guion et al. 2004: 522, 536]. Если ненапряженная, придыхательная фонация является лишь физиологическим следствием увеличения глоточного резонатора, то можно предполагать, что со временем она может развиться в часть артикуляторного профиля гласного (об акустическом признаке «пологости» см. раздел 2.2) [Ibid.: 538]. Фонационные различия, по-видимому, могут возникать также в результате многолетних контактов с теми языками, где различия по типу фонации являются ведущими [Olejarczuk et al. 2019: 36]. Напротив, в [Esling et al. 2019: 176–177] постулируется диахроническая связь между признаком фонации и признаком продвинутости корня языка: системы гласных с противопоставлением по признаку ATR развиваются из систем с противопоставлением по типу фонации.

2.2. Акустические корреляты признака ATR

Для гласных, противопоставленных по признаку ATR, значение первой форманты (F1) обусловлено черпалонадгортанным сжатием, которое создает сужение в области пучности давления F1, а также способствует уменьшению длины гортанной трубки совместно с клапаном 5, поднимающим гортань [Edmondson, Esling 2006a; Edmondson 2008]. В связи с этим гласные [-ATR] имеют более высокие значения F1 по сравнению с гласными [+ATR]. Однако F1 является одновременно акустическим коррелятом признака подъема. Более

¹⁰ В [Edmondson, Esling 2006b] отмечается в то же время, что работы клапанов 1 и 3 часто бывает недостаточно для создания турбулентности, вызывающей эффект сдавленного голоса. Этот эффект становится выраженным на слух при включении в работу клапана 2 (ложных голосовых связок), участвующего в создании контрастов по типу фонации. При этом даже внутри одного языкового сообщества возможны различия в работе клапана 2 между разными носителями.

открытые гласные, характеризуемые меньшей степенью палатального и большей степенью фарингального сужения, имеют более высокие значения F1 по сравнению с закрытыми гласными. Недаром в первых описаниях фонологических систем языков Западной Африки признаком, контролирующим гармонию, считался признак подъема (см. [Christaller 1875; Welmers 1946]). Таким образом, при переходе от [i] к [e] за счет уменьшения палатального сужения (а также увеличения фарингального сужения) и при переходе от [i] к [ɪ] за счет черпалонадгортанного сжатия значение первой форманты будет увеличиваться, демонстрируя один и тот же акустический эффект и делая невозможным различие противопоставления по подъему и ATR только по первой форманте [Lindau 1975: 20]. В связи с этим в системах, где гласные верхнего и среднего подъема противопоставлены по признаку ATR, наблюдается значительное пересечение между значениями F1 для верхних гласных [-ATR] (/ɪ ʊ/) и средних гласных [+ATR] (/e o/), см. рис. 13–14.

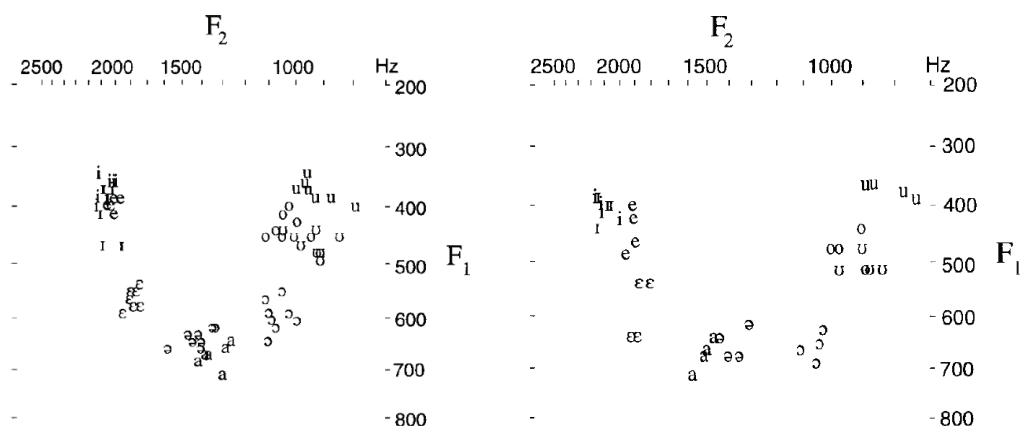


Рис. 13. Формантная картина гласных для двух носителей языка дегема (< бенуэ-конго < нигер-конго) [Fulop et al. 1998: 86]

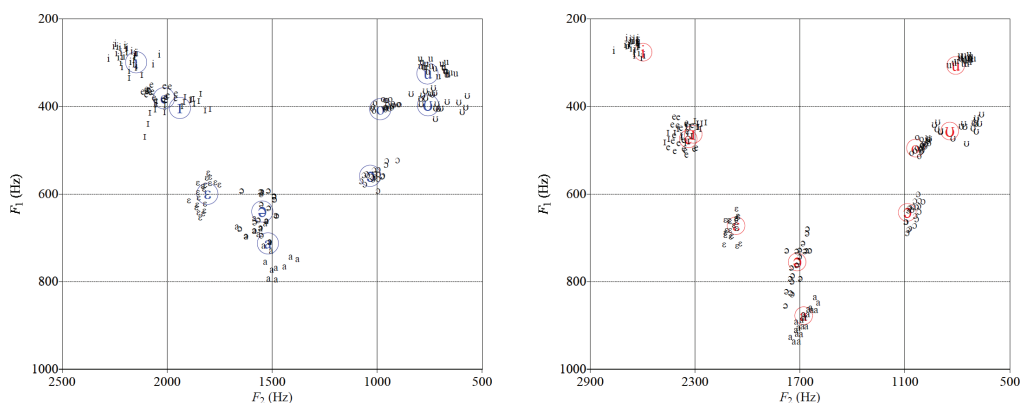


Рис. 14. Формантная картина гласных для двух носителей языка кинанде (< банту J < бенуэ-конго < нигер-конго) [Starwalt 2008: 128]

Здесь необходимо подчеркнуть, что к сходному акустическому эффекту приводят различные артикуляторные механизмы. Так, в работе [Kirkham, Nance 2017] было показано, что между значением F1 и степенью продвинутости корня языка, работающей на создание контраста по подъему, в британском английском имеется сильная корреляция, в то время

как в акан корреляция между этими параметрами слабее более чем в два раза. Это свидетельствует о том, что акан использует некоторые дополнительные механизмы, работающие на понижение F1 при производстве гласных [+ATR], такие как латеральное растяжение глотки и опущение гортани [Ibid.: 78]¹¹.

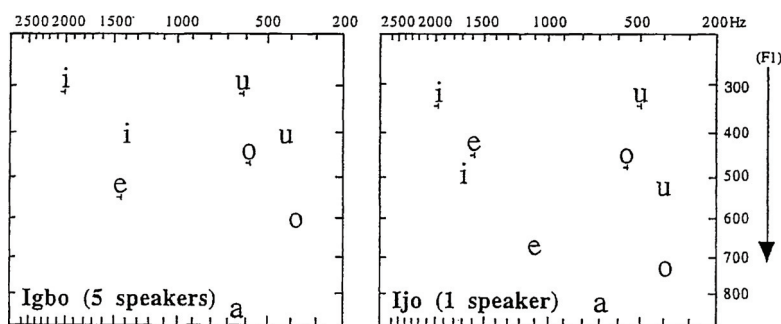


Рис. 15. Формантная картина гласных языков игбо (< игбоидные < бенуэ-конго < нигер-конго) и иджо (< иджоидные < нигер-конго) [Ladefoged, Maddieson 1996: 305]

Единодушного мнения относительно роли второй форманты (F2) как акустического коррелята признака ATR нет, и языки не демонстрируют единого шаблона в отношении величины F2. С одной стороны, смещение корня языка назад и вниз должно вызывать понижение F2 для гласных [-ATR] [Edmondson, Esling 2006a: 181–182], такая картина отмечена для шести языков в [Ladefoged, Maddieson 1996: 304–306], в том числе для игбо и иджо (рис. 15). В эфиопском комо [Olejarczuk et al. 2019], кинанде [Starwalt 2008: 134], диалектах мбонге [Ibid.: 199] и лонго [Ibid.: 209] языка ороко (< банту А < бенуэ-конго < нигер-конго), а также в акан [Kirkham, Nance 2017: 71] эта закономерность отмечена только для передних гласных (рис. 14). В некоторых языках (например, в дегема [Fulop et al. 1998: 87–88], ифе (< дефоидные < бенуэ-конго < нигер-конго) [Starwalt 2008: 168] и диболе (< банту С < бенуэ-конго < нигер-конго) [Ibid.: 179]) отмечены более периферийные значения F2 для гласных [+ATR], т. е. более высокое значение F2 для передних и более низкое значение для задних лабиализованных гласных по сравнению с их коррелятами набора [-ATR] (рис. 13). Этот последний шаблон сходен с картиной, представленной в языках с противопоставлением по признаку напряженности артикуляции (см. раздел 2.4). В [Halle, Stevens 1969] различное направление изменения величины F2 для передних и задних гласных связывается с изменением длины речевого тракта для задних гласных, являющихся также лабиализованными, а следовательно, сдвигом узлов и пучностей колебания давления стоячей волны. Движение корня языка, работающее на сужение / расширение глоточного резонатора, происходит на расстоянии 2–4 см над голосовыми связками, однако если для задних гласных этот участок входит в область максимума давления, то для передних гласных он попадает в область минимума давления. Таким образом, при образовании сужения на расстоянии 2–4 см над голосовыми связками F2 для задних гласных будет повышаться, а для передних понижаться [Ibid.: 211]. Наконец, в ряде исследований различия между выборками значений F2 гласных, противопоставленных по признаку ATR, оказались незначимыми [Guion et al. 2004: 531].

Не демонстрируют единого шаблона и различия по долготе между гласными наборов [+ATR] и [-ATR]. В [Hess 1992: 481] был обнаружен тренд к большей длительности гласных [+ATR] по сравнению с их коррелятами набора [-ATR] в языке акан, в [Kirkham,

¹¹ Корреляция между значением F1 и высотой тела языка в британском английском также сильная, а в акан корреляция между этими параметрами также ниже в два раза, что исключает компенсаторный вклад параметра высоты языка в значение F1 для акан [Kirkham, Nance 2017: 78].

Nance 2017: 72] для этого же языка аналогичные значимые различия по долготе были обнаружены только для передних гласных. Этот шаблон соответствует ситуации, представленной в языках с противопоставлением по напряженности артикуляции (см. раздел 2.4). Напротив, в диалекте акуре языка йоруба передние гласные [–ATR] в произнесении одного из носителей оказались значимо более долгими, нежели гласные набора [+ATR] [Przedziecki 2005]. Сходные различия были найдены для гласных неверхнего подъема в эфиопском комо [Olejarczuk et al. 2019: 29, 35]. В ряде других исследований значимых различий по долготе между гласными, противопоставленными по признаку ATR, не было обнаружено [Guion et al. 2004; Starwalt 2008].

Величина F1 является надежным акустическим коррелятом признака ATR, однако, как уже упоминалось выше, она же является акустическим коррелятом признака подъема. В связи с этим в качестве коррелятов предлагались и другие акустические параметры, такие как разность амплитуд первых двух формант (A1 – A2). Этот параметр связан, в первую очередь, с увеличением акустического импеданса в области сужения акустической трубы. При производстве гласных набора [–ATR] происходит сужение в области глотки, вызывающее увеличение акустического импеданса и затухание F1 [Fulop et al. 1998: 92–94]. В связи с этим вклад первой форманты в интенсивность спектра, а соответственно, и разность амплитуд первых двух формант для гласных [–ATR] оказывается меньше, чем для гласных [+ATR]. Кроме того, F1 гласных набора [+ATR] меньше подвержена затуханию благодаря изометрической напряженности стенок глотки [Guion et al. 2004: 536]¹².

Непосредственно с этим параметром связана ширина полосы первой форманты (B1), величина которой прямо пропорциональна величине акустического импеданса и обратно пропорциональна величине амплитуды F1 [Fulop et al. 1998: 91]. Как было показано в [Hess 1992; Edmondson 2008], гласные [–ATR] обладают существенно большей шириной первой форманты, нежели гласные [+ATR]¹³.

Близок к этим параметрам акустический параметр центра тяжести (center of gravity), или среднего спектрального (spectral mean), представляющий собой среднее значение частоты на всем частотно-амплитудном спектре [Edmondson 2008; Starwalt 2008]. Ожидается, что гласные [–ATR] будут иметь большее значение центра тяжести, нежели гласные набора [+ATR]¹⁴.

В то же время характер спектрального склона может говорить не только об условиях затухания первой форманты, вызванных наличием сужения в глотке или напряженности ее стенок, но и о типе фонации. Здесь возникают сразу два вопроса: 1) о чем свидетельствуют в данном конкретном языке различия по типу спектрального склона и 2) имеют ли гласные, противопоставленные по признаку ATR, дополнительные различия по типу фонации.

В исследовании [Olejarczuk et al. 2019: 33] были использованы восемь различных параметров, характеризующих спектральный склон, или степень потери энергии в области верхних частот: разности амплитуд гармоник H1 – H2, H2 – H4, разности амплитуд формант, или гармоник, близких к соответствующим формантам, A1 – A2, A1 – A3, A2 – A3, разности амплитуд первой гармоники и формант H1 – A1, H1 – A2, H1 – A3. Семь типов спектрального склона, включая разность амплитуд первых двух формант,

¹² Амплитуда форманты существенным образом зависит от ее высоты, поэтому для сравнения по параметру A1 – A2 гласных, чьи значения формант сильно различаются, значения амплитуд необходимо подвергнуть процедуре нормализации. Такая процедура была предложена в [Fulop et al. 1998: 88–91].

¹³ Как и амплитуда форманты, ширина полосы форманты зависит от ее значения. В связи с этим, прежде чем сравнивать гласные по параметру ширины полосы первой форманты, значения B1 необходимо также подвергнуть процедуре нормализации. Такая процедура предложена в [Starwalt 2008: 89–90].

¹⁴ В [Starwalt 2008: 102] предлагается сравнивать значения не центра тяжести, а разность значений центра тяжести и первой форманты.

могут свидетельствовать как о различиях в типе фонации¹⁵, так и о различиях, связанных с обсуждавшимися выше условиями изменений резонансных свойств гортанной трубки.

Разность амплитуд первых двух гармоник H1 – H2 связана, прежде всего, с типом работы голосовых связок и соотношением между открытой и закрытой фазами колебательного цикла. Этот параметр используется для выявления придыхательной фонации, которая характеризуется существенной потерей в области высоких частот и, соответственно, более крутым склоном, нежели нейтральная фонация [Guion et al. 2004: 523–524]. Различия, связанные с типом фонации, редко исследуются для языков с противопоставлением по признаку ATR, однако для ряда языков они тем не менее были обнаружены [Remijsen et al. 2011; Olejarczuk et al. 2019]. Более того, в [Kingston et al. 1997] было показано, что значение F1, являющееся коррелятом продвинутой корня языка, и характер спектрального склона, являющийся акустическим коррелятом типа фонации, объединяются в единый перцептивный ключ, который может быть охарактеризован как пологость спектрального склона («flatness»).

2.3. ATR и подъем

Признак ATR и признак подъема имеют общие артикуляторно-акустические свойства. О сходстве акустических коррелятов двух признаков см. раздел 2.2. С артикуляторной точки зрения, отношения между двумя признаками устроены довольно сложным образом. Движение корня языка вперед, при котором происходит увеличение объема глотки, осуществляется за счет сокращения мышечных пучков горизонтального отдела и задних пучков косоугольного отдела подбородочно-язычной мышцы [Sanders, Mu 2013: 1107–1108]. Однако это же артикуляторное движение является одним из трех механизмов, обеспечивающих подъем передней части языка и создающих палатальное сужение, связанное с фонологическим признаком подъема для передних гласных. Участие подбородочно-язычной мышцы в создании контраста по подъему связано с биомеханическими свойствами языка. Язык млекопитающего и человеческий язык в частности представляет собой так называемый мышечный гидростат — бескостную структуру, состоящую из мышечных групп, действующих в различных направлениях [Kier, Smith 1985; Sanders, Mu 2013]. Ключевое биомеханическое свойство мышечного гидростата состоит в том, что его объем всегда остается неизменным, в связи с чем любая деформация в одном направлении с необходимостью влечет за собой компенсаторную деформацию в других направлениях [Kier, Smith 1985: 312]. В то же время движения и изменение формы языка ограничены пространством, образуемым подъязычной костью и челюстью [Hiimae, Palmer 2003]. При сокращении задней части подбородочно-язычной мышцы корень языка притягивается в переднем направлении и сжимает язык в пределах челюсти, но так как объем языка должен оставаться постоянным, тело языка смещается вверх. Существуют также и другие артикуляторные механизмы, регулирующие высоту тела языка. Подъем языка может осуществляться также за счет работы челюстно-подъязычной мышцы, которая поднимает все тело языка вверх над нижней челюстью¹⁶. Кроме того, высота языка может контролироваться вертикальным движением нижней челюсти [Lindau et al. 1972: 78]. При речепроизводстве человек может

¹⁵ Тот или иной тип фонации при этом также предполагает работу различных артикуляторных механизмов, или клапанов, в гортанной трубке, формирующих ее резонансные свойства (см. [Esling, Harris 2005; Edmondson, Esling 2006a; Esling et al. 2019]).

¹⁶ Подъем спинки языка может также осуществляться за счет работы нижней продольной мышцы языка, однако этот способ трудно отличить от действия подбородочно-язычной и челюстно-подъязычной мышц [Ladefoged et al. 1972: 52].

задействовать один или более механизмов в различных комбинациях. Более того, эти механизмы могут работать в противоположных направлениях, компенсируя действие друг друга [Ibid.: 82].

Рентгенографическое исследование [Lindau 1975] показало, что в языках с противопоставлением гласных по признаку ATR задняя подбородочно-язычная мышца, обуславливающая движение корня языка, не работает на создание противопоставления по признаку подъема, подъем языка осуществляется при помощи других механизмов.

Различия же между гласными пары ATR по высоте языка являются лишь физиологическим следствием движения корня языка вперед, но не контролируют независимо гармонию гласных [Lindau 1975: 112]. Детальное рентгенографическое исследование [Lindau 1979] на материале языка акан показало, что положение верхней точки языка для гласных, противопоставленных по признаку ATR, полностью скоррелировано с шириной глотки, или степенью продвинуто-сти корня языка, тогда как только часть вариативности по ширине глотки обусловлена высотой положения языка.

Неавтономность признака подъема для гласных, противопоставленных по признаку ATR, подтверждается также данными ультразвуковых исследований [Allen et al. 2013; Hudu 2014]. Если между положением корня языка при произнесении гласных разных наборов наблюдается значимое различие, последовательно фиксируемое у всех обследованных носителей, то различие по подъему между гласными разных наборов оказывается значимым только для части гласных и только у некоторых носителей [Hudu 2014: 42–43; Allen et al. 2013: 194; Kirkham, Nance 2017: 76]. Более того, в ряде случаев отмечаются противоположные ожидания значимых различия по высоте языка между гласными разных наборов, такие что гласный [–ATR] произносится при более высоком положении спинки языка, нежели его коррелят [+ATR] [Hudu 2014: 42–43]. По-видимому, это связано с компенсаторными механизмами, направленными на сокращение различия по высоте языка между гласными пары ATR: подъем языка вследствие сокращения задних мышечных волокон подбородочно-язычной мышцы может частично компенсироваться автономно контролируемым сокращением передних мышечных волокон подбородочно-язычной мышцы, которая притягивает язык вперед и вниз [Tiede 1996: 419], а также за счет движения вниз подъязычной кости [Ladefoged et al. 1972: 72; Lindau et al. 1972: 82].

2.4. ATR и напряженность артикуляции

Противопоставление по признаку ATR, наблюдаемое в языках Африки, напоминает — и артикуляторно, и акустически — противопоставление по признаку так называемой напряженности артикуляции (tenseness: tense vs. lax), представленное в ряде языков — прежде всего, в германских, а также в чешском, сербохорватском, фриульском, хинди, каннада [Lindau 1975: 23; 1978: 556–557].

Проблема поиска различий осложняется тем, что на самом деле она включает два вопроса: 1) является ли напряженность артикуляции самостоятельным признаком, необходимым для описания вокалических систем, или они могут быть описаны при помощи базовых признаков подъема и ряда (и огубленности), а также долготы, как это предлагается, например, в [Ladefoged, Maddieson 1996: 303–304]; и 2) можно ли отождествить этот признак с признаком продвинуто-сти корня языка, который широко распространен в нигеро-конголезских и нило-сахарских языках?

Описание систем гласных в германских языках с учетом признака напряженности артикуляции имеет давнюю традицию. Согласно Хомскому и Халле, признак напряженности характеризует способ осуществления артикуляционного жеста при помощи надглоточной мускулатуры: напряженные гласные производятся при помощи максимально аккуратного и отчетливого артикуляционного жеста со значительным мышечным усилием, тогда как

ненапряженные гласные производятся быстро и нечетко. При производстве напряженных звуков конфигурация органов сохраняется относительно долго, тогда как артикуляционный жест ненапряженных звуков осуществляется «поверхностно» [Chomsky, Halle 1968: 324–325]. Рентгенографическое исследование [Perkell 1965] показало, что конфигурация языка в нижней глотке и ширина глотки остаются относительно стабильными в течение всего времени произнесения напряженного гласного, тогда как при произнесении ненапряженных гласных ширина глотки подвергается изменениям, а конфигурация языка довольно свободна и подвергается существенному коартикуляционному влиянию соседних звуков.

МРТ-исследование немецких гласных [Pouprier et al. 2004] показало существенные различия в моделях сокращения-растяжения задней части подбородочно-язычной мышцы при производстве напряженных и ненапряженных гласных. При артикуляции ненапряженных гласных задняя подбородочно-язычная мышца немедленно начинает растягиваться, тогда как при производстве напряженных гласных растяжению мышцы предшествует период покоя или сжатия в среднем на 2–4 % [Ibid.: 53]. Точечное отслеживание траектории движения языка показало, что при произнесении напряженных гласных корень языка, прежде чем начать двигаться в переднем или заднем направлении, совершает движение в противоположном направлении либо остается в покое в течение некоторого времени, в то время как при произнесении ненапряженных гласных корень языка сразу начинает движение. Тело и кончик языка ведут себя сходным образом. Все обнаруженные различия связаны, по-видимому, с большей длительностью напряженных гласных [Ibid.: 46].

С акустической точки зрения напряженные гласные имеют не только существенно большую длительность, нежели ненапряженные: напряженность может сопровождаться также дифтонгизацией, как в английском языке [Lindau 1978: 557]. В [Halle, Stevens 1969: 213] отмечается понижение F1 и уменьшение амплитуды частот в области второй и третьей формант для напряженных гласных английского языка по сравнению с ненапряженными. Кроме того, ненапряженные гласные оказываются сдвинутыми к центру форматной картины по сравнению со своими напряженными коррелятами [Lindau 1975: 23; Ladefoged, Maddieson 1996: 306].

При производстве напряженных гласных, как правило, происходит увеличение глоточного резонатора подобно тому, как это происходит при производстве гласных набора [+ATR], а при артикуляции ненапряженных гласных объем глоточного резонатора уменьшается, как и при артикуляции гласных [–ATR]. Именно это позволило предполагать наличие единого фонетического механизма в основе двух данных признаков [Halle, Stevens 1969; Perkell 1971]. В ряде работ, таких как [Painter 1973], обосновывается различие между механизмами артикуляции, лежащими в основе двух данных признаков, однако предлагается не проводить различия между двумя признаками на уровне фонологии [Ibid.: 118–119], так как два данных признака не могут сосуществовать в одном языке. Вопрос о том, имеем ли мы дело с одним и тем же признаком в германских языках, с одной стороны, и в языках Африки, с другой стороны, вызывал многочисленные дискуссии и споры, немало исследований посвящено сравнению артикуляторных механизмов, лежащих в основе двух данных признаков: [Lindau et al. 1972; Painter 1973; Tiede 1996]. Тем не менее инструментальные исследования показали, что а) движение корня языка не является независимым артикуляторным механизмом, создающим противопоставление по признаку напряженности артикуляции; б) между признаками напряженности артикуляции и ATR имеются и другие существенные различия.

Радиорентгенографическое исследование передних гласных английского языка [Ladefoged et al. 1972] показало, что работа подбородочно-язычной мышцы, вызывающей движение вперед корня языка, является лишь одним из механизмов, обеспечивающих противопоставление по признаку напряженности артикуляции (наравне с положением челюсти и работой челюстно-подъязычной мышцы), и используется только частью носителей. Данные электромиографии для трех пар гласных английского языка, противопоставленных

по напряженности артикуляции [Raphael, Bell-Berti 1975], также не продемонстрировали единого для всех информантов шаблона работы мышц для создания противопоставления: только для двух информантов из трех (в разных комбинациях) при произнесении напряженных гласных подбородочно-язычная и нижняя продольная мышцы показали более высокое и длительное напряжение, чем при произнесении ненапряженных гласных. В немецком языке корень языка при произнесении задних ненапряженных гласных оказывается в более заднем положении, чем при производстве напряженных гласных, тогда как для передних гласных ситуация обратная: ненапряженные гласные имеют более продвинутый корень языка. Это позволяет предполагать, что положение корня языка не является артикуляторным коррелятом противопоставления по напряженности артикуляции [Ladefoged, Maddieson 1996: 304]. В то же время в различных работах [Tiede 1996; Lindau 1978; Kirkham, Nance 2017] было продемонстрировано, что гласные, противопоставленные по напряженности, различаются высотой языка; при этом, как правило, наблюдается сильная корреляция между высотой языка и степенью продвинутости корня языка (для немецкого языка — [Lindau 1978: 557–558], для британского английского — [Kirkham, Nance 2017: 76–77]), что свидетельствует о том, что движение корня языка не является независимым артикуляторным механизмом, но работает на создание противопоставления по подъему.

С акустической точки зрения, как и с артикуляторной, признак напряженности артикуляции также не имеет единого самостоятельного коррелята. Это позволяет считать, что в основе противопоставления напряженных и ненапряженных гласных лежит признак подъема, а различия по долготе и дифтонгизация напряженных гласных могут рассматриваться как сопутствующие различительные средства [Ladefoged, Maddieson 1996: 304]. В [Lindau 1978: 558], впрочем, вслед за [Stockwell 1973] предлагается говорить о признаке периферийности, так как на формантной картине подсистема ненапряженных гласных располагается «внутри» подсистемы напряженных гласных.

Если мы продолжим рассматривать признак напряженности как самостоятельный, то так или иначе обнаружим ряд существенных отличий от признака ATR. В отличие от напряженности артикуляции, для противопоставления по признаку ATR подъем языка не является ведущим артикуляторным механизмом: различия по высоте языка отсутствуют или незначимы ([Ladefoged, Maddieson 1996: 304; Tiede 1996: 411]; см. также раздел 2.3), а корреляция между высотой языка и продвинутостью его корня является очень слабой [Kirkham, Nance 2017: 76–77]. Хотя движение вперед корня языка выталкивает вверх спинку языка, различия по высоте (частично) компенсируются за счет работы передней подбородочно-язычной мышцы [Tiede 1996: 419] или движения подъязычной кости [Ladefoged et al. 1972].

Существенные различия лежат в области ниже надгортанника. В отличие от гласных [+ATR], напряженные гласные характеризуются отсутствием изометрической напряженности и деформацией боковых стенок глотки, что говорит о меньшей сложности контраста по напряженности с артикуляторной точки зрения [Tiede 1996: 420]. Бóльшая сложность вокалических систем с противопоставлением по признаку ATR по сравнению с системами германских языков подтвердилась статистическими исследованиями конфигураций языка в сагиттальной плоскости. Факторный анализ рентгенограмм гласных английского языка [Harshman et al. 1977] показал, что конфигурация языка при произнесении гласных (включая пары, противопоставленные по напряженности) может быть полностью предопределена моделью, учитывающей только два параметра. Аналогичное исследование [Jackson 1988] показало, что для спецификации конфигураций языка в акан оптимальная модель должна включать три фактора.

Акустические корреляты признаков ATR и напряженности артикуляции также имеют различия. Если ненапряженные гласные стабильно сдвинуты к центру формантной картины по сравнению со своими напряженными коррелятами, то гласные ATR не демонстрируют единого шаблона в отношении величины второй форманты (см. 2.2). Как отмечает

Линдау, противопоставление по напряженности лежит на горизонтальной оси между периферией и центром, в то время как противопоставление по признаку ATR лежит на вертикальной оси значений первой форманты [Lindau 1978: 558].

3. Фонологические свойства признака ATR

Среди вокалических систем с противопоставлением по признаку ATR можно выделить несколько типов с точки зрения количества гласных фонем и взаимодействия признака ATR с признаками подъема и ряда (см. таблицу 2). Самый полный вариант представлен системой типа 2IU-2EO, где противопоставление по признаку ATR имеет место для гласных как верхнего, так и среднего подъема. В семичленных системах ATR противопоставляет гласные либо только верхнего (2IU-1EO), либо только среднего подъема (1IU-2EO). Во всех трех типах может также присутствовать второй центральный гласный, который, как правило, выступает в качестве [+ATR] коррелята гласного /a/, относящегося, в свою очередь, обычно к набору [–ATR].

Таблица 2

Типы вокалических систем с противопоставлением по признаку ATR
по [Casali 2003]

		а. 2IU-2EO			б. 2IU-1EO		в. 1IU-2EO		
Верхние	+ATR	i		u	i	u	i		u
	–ATR	ɪ		ʊ	ɪ	ʊ			
Средние	+ATR	e	(ə)	o		(ə)	e	(ə)	o
	–ATR	ɛ		ɔ	ɛ	ɔ	ɛ		ɔ
Нижние		a			a		a		

Девятичленные системы, несмотря на несимметричность, встречаются гораздо чаще, нежели симметричные десятичленные, и широко представлены в языках нигеро-конголезской и нило-сахарской макросемей. Вокалические системы типа 1IU-2EO также чрезвычайно распространены, хотя несколько чаще встречаются на территории Западной и Центральной Африки. Напротив, системы типа 2IU-1EO в целом распространены меньше¹⁷.

О признаке ATR обычно говорят в связи с гармонией гласных, однако не во всех языках, имеющих фонологический контраст по признаку ATR, имеется гармония. В типологическом исследовании [Rose 2018], основанном на выборке из 419 языков нигеро-конголезской макросемьи и 105 языков нило-сахарской макросемьи, входящих в макросуданский пояс [Clements, Rialland 2008; Güldemann 2008; 2010], гармония гласных по признаку ATR была обнаружена лишь в 302 языках, что составляет около 58 % выборки. В работе были обнаружены ареально-генетические паттерны, с одной стороны, и зависимость наличия гармонии в языке от инвентаря гласных — с другой. Результаты исследования [Rose 2018] представлены в таблице 3.

¹⁷ Помимо систем, где передние и задние гласные представлены симметрично, существуют системы, где один из передних (реже задних) гласных отсутствует. В качестве примера можно привести языки игбо и каба (< центральносуданские < нило-сахарские), имеющие системы типа 2IU-2EO и 1IU-2EO соответственно, в обеих из которых отсутствует гласный /ɛ/. Однако подобные лакуны не влияют, как правило, на поведение системы в отношении гармонии по признаку ATR [Casali 2003: 309].

Таблица 3

Инвентарь гласных 524 нигеро-конголезских и нило-сахарских языков, имеющих или не имеющих гармонию гласных по признаку ATR [Rose 2018: 7]

	2IU-2EO	2IU-1EO	1IU-2EO	1IU-1EO	Всего
Гармония есть					
Нило-сахарские	46	19	0	0	65
Нигеро-конголезские	139	16	82	0	237
Всего	185	35	82	0	302
Гармонии нет					
Нило-сахарские	1	0	18	21	40
Нигеро-конголезские	4	1	125	52	182
Всего	5	1	143	73	222

В подавляющем большинстве языков типа 2IU-2EO имеется гармония гласных по признаку ATR, тогда как в языках типа 1IU-1EO она не представлена¹⁸. Языки типа 2IU-1EO с гармонией гласных характерны, прежде всего, для нило-сахарской макросемьи, но встречаются также в нигеро-конголезских языках, находящихся с первыми в тесном контакте, — кордофанских, убангийских и банту зон J и D [Rose 2018: 6]. Языки типа 1IU-2EO представлены в нило-сахарской макросемье в том же количестве, что и языки типа 2IU-1EO, однако ни в одном из них не отмечена гармония. В нигеро-конголезской макросемье этот тип широко представлен, однако только в 40 % языков этого типа имеет место гармония по признаку ATR. Более того, очень немногие из этих языков демонстрируют паттерны активной гармонии, подавляющее большинство относятся к так называемым неполным в терминологии [Rolle et al. 2020] системам ATR [Rose 2018: 6].

Как и другие типы гармонии гласных, гармония по признаку ATR может существовать в двух видах. Первый вид реализуется через ограничения фонотактического характера внутри морфемы (в т. ч. внутрикорневая гармония), запрещающие сочетаться внутри морфемы гласным, различающимся по признаку ATR. Другая манифестация гармонии — чередования: если две морфемы имеют на глубинном уровне различные значения признака ATR, когда они оказываются рядом, одна из них подвергается гармонии и на поверхностном уровне получает значение признака другой морфемы. Гласный, подвергающийся ассимиляции, называют мишенью, а гласный, вызывающий ассимиляцию, — триггером гармонии [Olejarczuk et al. 2019: 19]. Как правило, если в языке гласные аффиксов подвергаются гармонии по признаку ATR, то в нем присутствует и внутрикорневая гармония по этому признаку [Casali 2008: 537]. В то же время необходимо добавить, что в языках с гармонией по признаку ATR, как правило, встречаются некоторые исключения из общего правила: некоторые из аффиксов могут не подвергаться гармонии, а некоторые корни могут содержать гласные противоположных наборов [Ibid.: 501]. Согласные обычно не влияют на систему гармонии гласных: гармония соблюдается вне зависимости от того, какие согласные располагаются между гласными. Пожалуй, единственный часто встречающийся случай взаимодействия согласных с признаком гласных ATR — это реализующийся в некоторых

¹⁸ В [Casali 2003; 2008] приводятся редкие примеры языков с пятичленными системами /i, [e], e, a, o, [o], u/ и гармонией гласных по признаку ATR. К ним относятся пулар [Дье 2015: 28–29], тсонга и зулу [Casali 2003: 338; Casali 2008: 503–504]. В таких языках зафиксирована аллофоническая гармония по признаку ATR, которая заключается в том, что средние гласные, фонетически реализующиеся как [–ATR], в ряде случаев в соседстве с верхними гласными выступают в виде аллофонов [+ATR].

нило-сахарских языках шаблон, согласно которому гласные, смежные с полугласными [j] и/или [w], получают значение [+ATR] [Ibid.: 504]¹⁹.

Инвентарь гласных и особенности манифестации гармонии легли в основу упомянутой выше классификации [Rolle et al. 2020]. В этом исследовании основное различие проводится между полными (complete) и неполными (incomplete) системами ATR. Под полными понимаются системы гласных типа 2IU-2EO с наличием как внутриморфемных ограничений на сочетаемость гласных, так и регулярных чередований в морфемах по признаку ATR. К этому же типу относятся системы, имеющие аналогичный инвентарь гласных только на поверхностном уровне, т. е. такие, где гласные [i, u] или, напротив, [e, o] являются аллофонами гласных того же подъема, но имеющих противоположное значение признака ATR. Под неполными системами понимаются такие системы типа 2IU-1EO и 1IU-2EO, где гармония реализуется, прежде всего, через ограничения на сочетаемость гласных внутри корня; если имеют место чередования по признаку ATR, то они затрагивают только те гласные, которые имеют данный контраст на фонологическом уровне.

Вокалические системы с гармонией по признаку ATR (как полные, так и неполные) с типологической точки зрения могут различаться по ряду параметров.

Языки различаются по параметру фонологического домена, в пределах которого активно действуют процессы гармонии: обычно это фонологическое слово целиком (корень / корни, аффиксы, возможно, также клитики), но иногда гармония может действовать только на соседнем слоге, а иногда, напротив, и через границу словоформы.

По параметру источника ассимиляции выделяют гармонию, контролируемую основой или корнем, и доминантно-рецессивную гармонию. В первом случае можно говорить о симметричной гармонии, для которой важным оказывается противопоставление между корнем и аффиксами, а значение признака ATR оказывается нерелевантным, так как ассимиляция осуществляется одинаково вне зависимости от того, какое из значений признака ATR имеет триггер гармонии — гласный корня. Во втором случае одно из значений признака ATR является доминантным, а другое — рецессивным: это значит, что гласные, обладающие рецессивным значением, будут подвергаться ассимиляции в пределах домена, получая доминантное значение признака. Для таких языков, напротив, существенно, какое из значений признака является доминантным, и нерелевантно, каким морфемам — корневым или аффиксальным — принадлежат гласные, являющиеся триггерами и мишенями гармонии.

Однако такая дихотомия является довольно грубой. В [Casali 2003; 2008] было убедительно показано, что между языками этих двух типов гораздо больше сходства, чем это представляется на первый взгляд. Во-первых, в языках обоих типов префиксы ведут себя абсолютно одинаково: гласный префикса всегда уподобляется по признаку ATR корневой морфеме и никогда не навязывает ей свое значение признака. Иными словами, в языках с доминантно-рецессивной гармонией триггер не может располагаться в префиксе.

Во-вторых, симметричная гармония оказывается не столь симметричной, как может показаться на первый взгляд. Помимо распространения доминантного признака ATR через морфемную границу, существуют и другие не менее распространенные схемы проявления доминантности того или иного значения: распространение доминантного значения

¹⁹ Следует отметить, что упоминания об особенностях фонетической реализации согласных в соседстве с гласными разных наборов ATR встречаются в литературе крайне редко. Тем не менее подобные случаи были описаны для некоторых языков. В [Laver 1965] для языка хиги (< чадские < афразийские) отмечается дентальная реализация переднеязычных согласных перед гласными набора [-ATR] и (пост)альвеолярная перед гласными набора [+ATR]. Сходная вариативность по месту образования согласных перед гласными разных наборов отмечена для идиома туген языка календжин (< южнонилотские < восточносуданские < нило-сахарские) [Local, Lodge 2004], здесь же описаны и некоторые другие особенности реализации согласных в контексте гласных разных наборов: различия по способу образования в интервокальной позиции, по длительности (для финальных фрикативных согласных) и др.

через границу словоформы, сохранение доминантного значения при фузии гласных, относящихся к разным наборам, аллофоническая доминантность и др. Системы гармонии многих языков, которые принято описывать как симметричные, обладают по крайней мере некоторыми признаками доминантности того или иного значения ATR.

В [Casali 2003] на выборке из 85 нигеро-конголезских и 25 нило-сахарских языков была выявлена очень сильная межязыковая тенденция, согласно которой доминантность того или иного значения признака ATR зависит от инвентаря гласных, а именно от наличия противопоставления по признаку ATR для гласных верхнего подъема. Вокалические системы с гармонией по признаку ATR можно поделить на два типа: те системы, где имеется фонематическое противопоставление гласных /i, u/ и /ɪ, ʊ/, и те, где верхний подъем представлен двумя гласными: /i, u/. К первому типу относятся девяти- и десятичленные системы гласных, а также системы с семью и восемью гласными, где противопоставление по признаку ATR отсутствует для гласных среднего подъема (типы 2IU-2EO и 2IU-1EO). Ко второму типу относятся семи- и восьмичленные системы с наличием противопоставления по признаку ATR только для гласных среднего подъема (тип 1IU-2EO). Вслед за [Casali 2008] мы будем обозначать эти два типа вокалических систем 2IU и 1IU соответственно. В системах 2IU, как правило, доминантным является значение [+ATR], при этом преобладает регрессивная гармония, а в качестве триггеров выступают преимущественно гласные суффиксов. Доминантность проявляется, прежде всего, через чередования и аллофоническое варьирование. В языках 1IU доминантным значением является, как правило, [–ATR], однако доминантность проявляется, прежде всего, через сохранение значения [–ATR] при фузии.

Рассмотрим более подробно классификацию типов доминантности, разработанную в [Casali 2003]. Для языков, где доминантным значением является [+ATR], выделяется несколько типов проявления доминантности. Самый яркий из этих типов — распространение значения [+ATR] на гласный корневой морфемы, такой тип в [Casali 2003] предложено называть сильной ассимилятивной доминантностью. Этот тип, в свою очередь, делится на три подтипа в зависимости от источника распространения значения [+ATR]: распространение может происходить через границу словоформы (1), через морфемную границу в сложных словах с гласного одного корня на гласный другого корня (2), через морфемную границу с гласного суффикса на гласный корня (3):

(1) НАУРИ (< ква < нигер-конго) [Casali 2003: 321]

а. /ɔ-si wija/ → [osuwiɔ]

3SG-отец владеец
'тот, чей отец жив'

б. /ɛ-kɔɔli a-fulee/ → [ekoolaaɔfulee]

3SG.PROG-получать NC-деньги
'Он собирает деньги'.

(2) НАУРИ (< ква < нигер-конго) [Casali 2003: 321]

а. /ga-tʃu-tuu/ → [gətʃutuu]

NC-вода-бросать
'возлияние воды'

б. /ɔ-dɪ-bojii-pu/ → [odibojiipu]

NC-сон-разбивать-AGT
'сплетник'

(3) МАСАИ (< восточнонилотские < восточносуданские < нило-сахарские) [Guion et al. 2004: 521]

а. á-tʃ-dʃr-ɔ̃
1SG-PF-быть.красным-PFV
'Я покраснел'.

б. á-dór-ù
1SG-быть.красным-INCEP
'Я стану красным'.

в. *è-té-bél-í'á*

3-PFV-ломать-PFV

‘Он сломал это’.

г. *é-té-bél-íé*

3-PFV-ломать-APPL.PFV

‘Он использовал это, чтобы сломать’.

Второй тип проявления доминантности значения [+ATR] — аллофоническая доминантность. Она заключается в том, что фонема, относящаяся к серии [–ATR], следуя /предшествуя гласному [+ATR], выступает в виде аллофона [+ATR]. Такому варьированию подвергается, прежде всего, гласный /a/. Также в языках с системой гласных типа 2IU-1EO средние гласные /ɛ/ и /ɔ/, относящиеся к набору [–ATR], в соседстве с гласными [+ATR] выступают в виде аллофонов [+ATR] /e/ и /o/ соответственно. В эфиопском комо, нило-сахарском языке команской семьи, имеющем семичленную систему гласных типа 2IU, встречаются оба типа аллофонической доминантности: гласные /ɛ, a, ɔ/ перед гласными [+ATR] /i, u/ реализуются как [e, ə, o]:

(4) Комо (< команские < нило-сахарские) [Olejarczuk et al. 2019: 20]

/pāti/ [pāti] ‘печень’

/gòdùṃ/ [gòdùṃ] ‘свинья’

/bèzí/ [bèzí] ‘быть худым’

Третий тип — фузионная доминантность — заключается в том, что при фузии гласных, имеющих на глубинном уровне противоположные значения признака ATR, гласный, возникающий в результате фузии, имеет значение [+ATR]:

(5) Гичоде (< ква < нигер-конго) [Casali 2003: 321]

а. /a+i/ → e

/diga idʒo/ → [dɪgedʒo] ‘ямс молодого мужчины’

б. /ɛ+i/ → e

/atanatʃisɛ itʃɪŋ/ → [atanatʃisetʃɪŋ] ‘вены близнецов’

в. /o+i/ → e

/dʒono ilo/ → [dʒonelo] ‘раны собаки’

Наконец, четвертый тип, называемый в [Casali 2003] слабой ассимилятивной доминантностью, заключается в том, что гласные аффиксов в некоторых контекстах уподобляются по признаку ATR гласному корня, при этом в тех случаях, когда уподобления не происходит, аффиксы выступают в варианте [–ATR]. Таким образом, гласные аффиксов имеют значение [–ATR] на глубинном уровне, тогда как на поверхностном в сочетании с корнями [+ATR] они получают также значение [+ATR]. В примере (6а) представлены формы ближайшего будущего времени языка икпосо (< ква < нигер-конго), образуемые при помощи показателя *à/è*²⁰, гармонирующего по признаку ATR с гласным корня. В примере (6б) представлены формы предиктива, который образуется при помощи показателя ближайшего будущего и показателя *bà/bè*. В глагольной словоформе, имеющей более одного показателя вида, времени, модальности и отрицания, гармония распространяется влево на один слог от корня, а показатели, находящиеся на большем расстоянии от корня, выступают в своей дефолтной /глубинной форме. Как видно из примера (6б), ассимиляции подвергается гласный показателя *bà/bè*, тогда как показатель ближайшего будущего выступает в дефолтной [–ATR] форме *à*²¹.

²⁰ Икпосо имеет десятичленную систему гласных типа 2IU-2EO, где фонологическим коррелятом гласного /a/ по признаку ATR является /ə/. В то же время гласный /ə/ не появляется в аффиксах, где коррелятом набора [+ATR] для гласного /a/ выступает /e/ [Starwalt 2008: 23–24].

²¹ Иначе ведут себя субъектные показатели: все они, кроме 3PL, уподобляются (за исключением ряда специальных случаев) следующим за ними видо-временным показателям и отрицательным показателям [Soubrier 2013: 21], в частности — показателю ближайшего будущего в (6а–б).

(6) Икпосо (< ква < нигер-конго) [Anderson 1999]

а. <i>mi-à-tʃi</i> 2PL-FUT-резать ‘вы будете резать’	<i>mi-è-mli</i> 2PL-FUT-вставать ‘вы встанете’
<i>mi-à-ló</i> 2PL-FUT-нести ‘вы понесете’	<i>mi-è-bó</i> 2PL-FUT-выкорчевывать ‘вы будете выкорчевывать’
б. <i>mi-à-bá-tʃi</i> 2PL-FUT-PRED-резать ‘вы будете резать (однажды)’	<i>mi-à-bé-mli</i> 2PL-FUT-PRED-вставать ‘вы встанете (однажды)’
<i>mi-à-bá-ló</i> 2PL-FUT-PRED-нести ‘вы понесете (однажды)’	<i>mi-à-bé-bó</i> 2PL-FUT-PRED-выкорчевывать ‘вы будете выкорчевывать (однажды)’

В языках, где доминантным значением является [–ATR], также обнаруживаются все четыре типа доминантности, однако ситуация отнюдь не зеркальная. Два типа доминантности широко засвидетельствованы в этих языках: фузионная доминантность (7) и слабая ассимилятивная доминантность (8). Два других типа в выборке [Casali 2003] засвидетельствованы только в одном-двух языках²².

(7) Овон АФА (< дефоидные < бенуэ-конго < нигер-конго) [Casali 2003: 326]

а. /da iwe/ → [dewe] ‘купи книгу’
б. /da opu/ → [dɔ:pu] ‘купи собаку’
в. /dɔ iwe/ → [dewe] ‘сожги книгу’
г. /da ehwe/ → [dɛhwe] ‘купи книги’
д. /da ɟu/ → [dɔɟu] ‘купи толченый ямс’

(8) Комо (< банту D < бенуэ-конго < нигер-конго) [Casali 2003: 314]

а. <i>mo</i> ²³ - <i>sephe</i> ‘рыба’
<i>mo-coca</i> ‘быстрина’
<i>mɔ-mɛrɔ</i> ‘вражда’
<i>mɔ-gɔgɔ</i> ‘баран’
б. <i>e-seŋge</i> ‘плод’
<i>e-somba</i> ‘обряд’
<i>e-gembe</i> ‘гигантский панголин’
<i>e-bɔkɔti</i> ‘поколение’
в. <i>mo-ganda</i> ‘подросток’
<i>e-daka</i> ‘язык’

²² Надо отметить, что встречаются языки, в которых присутствуют явления, говорящие о доминантности обоих значений признака ATR. В выборке [Casali 2003] таких языков девять и все они имеют вокалическую систему типа 2IU. В этих языках [+ATR] демонстрирует регулярные и продуктивные паттерны доминантности, а доминантность значения [–ATR] ограничена некоторым числом специфических контекстов [Ibid.: 345]. К этим примерам можно добавить эфиопский комо, также относящийся к типу 2IU, где аллофоническая доминантность значения [+ATR] (пример (4)) сосуществует со слабой ассимилятивной доминантностью [–ATR], при которой как триггерами, так и мишенями могут выступать только гласные [–ATR] верхнего подъема [Olejarzuc et al. 2019: 20].

²³ *mo/mɔ* и *e/ɛ* являются префиксальными показателями именных классов.

Различия между двумя типами систем проявляются и в особенностях устройства внутрикорневой гармонии. Во многих языках типа 1IU в последовательности типа V_1CV_2 внутри корня дозволены по крайней мере некоторые (а иногда и все) комбинации гласных верхнего подъема /i/ и /u/, с одной стороны, и гласных [–ATR] среднего подъема /e/ и /o/ — с другой. Такая ситуация распространена, например, в языках банту зоны С. В языках 2IU, напротив, такие комбинации запрещены [Casali 2016: 109–112].

Как было показано в [Casali 2016], доминантное значение признака ATR является также маркированным. В языках 2IU значение [–ATR] является не только рецессивным, выступая в качестве мишени ассимиляции, но и в некотором роде дефолтным значением, имея более широкую дистрибуцию, нежели противоположное. Так, например, во многих вокалических системах Западной Африки, относящихся к типу 2IU-2EO, различаются аффиксальные субъектные и объектные показатели, входящие в глагольную словоформу, и независимые личные местоимения, которые могут употребляться в контекстах, где гармония не действует, в частности в однословных ответах на вопрос. Если первые обычно уподобляются по признаку ATR глагольному корню, то последние всегда выступают в форме, содержащей гласный [–ATR], в подавляющем большинстве случаев — верхнего подъема. Помимо личных местоимений, такую избирательность в отношении признака ATR могут проявлять также демонстративы, детерминативы, адлоги, союзы и другие служебные слова. Позиция нейтрализации может быть представлена также клитиками и аффиксами, на которые не распространяется гармония, и в этой позиции всегда будут находиться гласные набора [–ATR].

Напротив, в языках 1IU в позиции нейтрализации, по-видимому, будут выступать гласные набора [+ATR]. Это вопрос остается малоизученным, однако в языках банту зоны С, имеющих вокалические системы типа 1IU, наблюдается систематическая нейтрализация противопоставления по ATR между гласными среднего подъема, и в этой позиции нейтрализации выступают гласные [+ATR] /e/ и /o/.

Нижние центральные гласные также ведут себя несколько по-разному в системах 2IU и 1IU. Во всех системах с противопоставлением по признаку ATR имеется нижний гласный /a/. В системах типа 2IU он ведет себя как гласный набора [–ATR]: имеет широкую дистрибуцию и высокую частотность; появляясь в корне, требует [–ATR] алломорфов гармонирующих аффиксов. В языках 1IU возможны два шаблона. Первый повторяет шаблон, работающий в языках 2IU, согласно которому гласный /a/ функционирует как гласный набора [–ATR], требуя [–ATR] алломорфов гармонирующих аффиксов. Вторая схема засвидетельствована почти во всех языках банту зоны С и некоторых других. Здесь гласный /a/, согласно правилам внутрикорневой гармонии, появляется только в окружении верхних гласных и средних гласных набора [+ATR] и требует [+ATR] алломорфов гармонирующих аффиксов [Casali 2016: 126] (см. пример (8в)).

Помимо нижнего центрального гласного /a/, который, как правило, относится к набору [–ATR], в некоторых языках встречается также его коррелят набора [+ATR], который может относиться как к нижнему подъему, так и к среднему. В выборке из 681 языка [Rolle et al. 2020] такая ситуация отмечена в 69 языках, которые имеют распространение в пяти компактных зонах. Первая зона занимает побережье Атлантического океана на территории Сенегала и Гамбии, вторая тянется от Буркина-Фасо до южной Ганы. Третья зона находится в регионе Дельты на юге Нигерии, четвертая представлена языками группы мбам в центральном Камеруне. Наконец, пятая зона находится в Восточной Африке и занимает территорию Судана и Южного Судана [Ibid.: 144].

Этот гласный не всегда имеет фонематический статус, как в языках дегема [Fulop et al. 1998] или икпосо [Anderson 1999], но может выступать в качестве аллофона гласного /a/ в соседстве с гласными набора [+ATR], если [+ATR] является доминантным значением признака, как в кинанде [Gick et al. 2006] или навури [Casali 2002]. В связи с этим наличие аллофона /a/ набора [+ATR] ожидается, прежде всего, в языках /2IU/. Действительно, в языках типа 1IU, для которых не характерна доминантность значения [+ATR], такие

аллофоны не отмечены [Casali 2016: 123]; если [+ATR] коррелирует для гласного /a/ присутствует в языке этого типа, то он имеет фонематический статус. При этом, как правило, речь идет о центральном гласном среднего, а не нижнего подъема, который имеет некоторые признаки немаркированности: высокая частотность и широкая дистрибуция, высокая встречаемость в местоимениях и служебных словах [Ibid.: 125–126].

Системы гласных с противопоставлением по признаку ATR, где центральный гласный не являлся бы [+ATR] коррелятом для нижнего гласного /a/, встречаются очень редко. Столь же редко встречаются системы ATR, имеющие два и более центральных ненижних гласных. В [Rolle et al. 2020] было показано, что наличие гармонии по признаку ATR и наличие внутренних, или периферийных²⁴, гласных (в т. ч. центральных) являются двумя антагонистическими характеристиками вокалических систем в языках макросуданского пояса. В выборке из 681 языка только 29 языков, обладающих полной системой ATR, показали наличие периферийных гласных, имеющих фонематический статус и не являющихся коррелятами набора [+ATR] для гласного /a/ [Ibid.: 148]. Более того, обширная центральноафриканская зона, характеризующаяся отсутствием полных систем ATR, показала существенное пересечение с зоной, где располагается большинство языков, имеющих периферийные гласные [Ibid.: 165].

Языки, совмещающие две противоборствующие схемы, представлены точечно внутри макросуданского пояса: на юге Кот-д’Ивуара, на границе Ганы и Того, в юго-восточной Нигерии, западном Чаде, а также в Восточной Африке [Rolle et al. 2020: 147]. Среди них — некоторые языки кру — бете, годье, койо [Marchese 1983], кпоколо [Kaye et al. 1985]; язык акебу семьи ква [Makeeva 2021]; язык тима кордофанской семьи и язык канембу сахарской семьи [Rolle et al. 2020: 146].

4. Заключение

В данной работе был представлен обзор фонетических и фонологических черт признака продвинутости корня языка, или ATR (advanced tongue root), создающего фонологический контраст в большинстве нигеро-конголезских и нило-сахарских языков макросуданского пояса. Более половины языков, фонологическая система которых включает признак ATR, демонстрируют также различные паттерны вокалической гармонии по данному признаку. Основным параметром, который характеризует эти паттерны, является доминантность / маркированность того или иного значения признака ATR. Существует очень сильная межязыковая тенденция к доминантности того или иного признака в зависимости от инвентаря гласных. Так, в подавляющем большинстве языков, имеющих противопоставление по признаку ATR хотя бы для верхних гласных, доминантным является значение [+ATR], тогда как значение [–ATR] является доминантным в тех языках, где контраст имеется только для гласных среднего подъема. Данные два типа языков различаются не только тем, какие значения признака ATR являются в них доминантными, но также и самими паттернами распространения доминантного значения.

Артикуляторно-акустические свойства признака ATR, в отличие от фонологических свойств, остаются изученными довольно скудно, несмотря на пристальное внимание к ним со стороны исследователей с начала 1960-х гг. Ларингоскопические исследования последних лет показали, что основным артикуляторным коррелятом признака ATR является черпалонадгортанное сжатие, тогда как постулированные ранее параметры позиции корня языка, объема глотки и вертикального положения гортани являются сопровождающими

²⁴ Под периферийными в [Rolle et al. 2020] понимаются не только ненижние центральные гласные, но также и передние лабиализованные и ненижние задние нелабиализованные гласные: у у о ө и и ц э э о э э в ш ʊ ʌ.

механизмами в рамках единой синергетической системы ларингального артикулятора. Основным и наиболее надежным акустическим коррелятом признака ATR остается частота первой форманты, которая одновременно является коррелятом признака подъема, что не позволяет уверенно различать эти два признака на практике при описании малоизученных языков. Другие акустические корреляты, такие как ширина полосы первой форманты, разность амплитуд первых двух формант и среднее спектральное, показывают менее надежные результаты.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

1, 2, 3 — 1-е, 2-е, 3-е лицо

AGT — агентив

APPL — аппликатив

FUT — будущее время

INCEP — инцептив

NC — показатель именного класса

SG — единственное число

PFV — перфектив

PL — множественное число

PRED — предиктив

PROG — прогрессив

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

- Виноградов 1972 — Виноградов В. А. Типология сингармонических тенденций в языках Африки и Евразии. *Проблемы африканского языкознания*. Охотина Н. В., Успенский Б. А. (отв. ред.). М.: Наука, 1972, 125–163. [Vinogradov V. A. Typology of vowel harmony tendencies in the languages of Africa and Eurasia. *Problemy afrikanskogo yazykoznaniiya*. Okhotina N. A., Uspenskii B. A. (eds.). Moscow: Nauka, 1972, 125–163.]
- Старостин 2017 — Старостин Г. С. *Языки Африки. Опыт построения лексикостатистической классификации*. Т. 3: *Нило-сахарские языки*. М.: Издательский дом «ЯСК», 2017. [Starostin G. S. *Yazyki Afriki. Opyt postroeniya leksikostatisticheskoi klassifikatsii* [Languages of Africa: An attempt at a lexicostatistical classification]. Vol. 3: *Nilo-sakharskie yazyki* [Nilo-Saharan languages]. Moscow: YaSK Publishing House, 2017.]
- Сурканова 1978 — Сурканова И. М. О некоторых артикуляторно-акустических характеристиках вокализма языка ибо. *Проблемы фонетики, морфологии и синтаксиса африканских языков*. Охотина Н. В. (ред.). М.: Изд-во Московского ун-та, 1978, 166–204. [Surkanova I. M. On some articulatory-acoustical properties of Igbo vocalism. *Problemy fonetiki, morfologii i sintaksisa afrikanskikh yazykov*. Okhotina N. V. (ed.). Moscow: Moscow Univ. Press, 1978, 166–204.]
- Allen et al. 2013 — Allen B., Pulleyblank D., Ajibóyè O. Articulatory mapping of Yoruba vowels: An ultrasound study. *Phonology*, 2013, 30: 183–210.
- Anderson 1999 — Anderson C. G. ATR vowel harmony in Akposso. *Studies in African Linguistics*, 1999, 28: 186–214.
- Aralova et al. 2011 — Aralova N., Grawunder S., Winter B. The acoustic correlates of tongue root vowel harmony in Even (Tungusic). *Proc. of the 17th International Congress of Phonetic Sciences*. Vol. 1. Lee W.-S., Zee E. (eds.). Hong Kong: City Univ. of Hong Kong, 2011, 240–243.
- Aralova 2015 — Aralova N. *Vowel harmony in two Even dialects: Production and perception*. Ph.D. diss., Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC), 2015.
- Berry 1955 — Berry J. Some notes on the phonology of the Nzema and Ahanta dialects. *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 1955, 17(1): 160–165.
- Casali 2002 — Casali R. F. Nawuri ATR harmony in typological perspective. *Journal of West African Languages*, 2002, 29(1): 3–43.
- Casali 2003 — Casali R. F. [ATR] value asymmetries and underlying vowel inventory structure in Niger-Congo and Nilo-Saharan. *Linguistic Typology*, 2003, 7: 307–382.
- Casali 2008 — Casali R. F. ATR harmony in African languages. *Language and Linguistics Compass*, 2008, 2: 496–549.
- Casali 2016 — Casali R. F. Some inventory-related asymmetries in the patterning of tongue root harmony systems. *Studies in African Linguistics*, 2016, 45: 95–140.

- Christaller 1875 — Christaller J. G. *A grammar of the Asante and Fante language called Tshi (Chwee, Twi)*. Gold Coast: Basel German Evangelical Mission, 1875.
- Chomsky, Halle 1968 — Chomsky N., Halle M. *The sound pattern of English*. New York: Harper and Row, 1968.
- Clements, Rialland 2008 — Clements G. N., Rialland A. Africa as a phonological area. *A linguistic geography of Africa*. Heine B., Nurse D. (eds.). Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2008, 36–85.
- Dye 2015 — Dye A. *Vowel harmony and coarticulation in Wolof and Pulaar: An ultrasound study*. Ph.D. diss., New York Univ., 2015.
- Edmondson, Esling 2006a — Edmondson J. A., Esling J. H. The valves of the throat and their functioning in tone, vocal register and stress: Laryngoscopic case studies. *Phonology*, 2006, 23: 157–191.
- Edmondson, Esling 2006b — Edmondson J. A., Esling J. H. The laryngeal basis for the feature [–ATR]. Paper for delivery at the *Annual Conf. on African Linguistics* (Eugene, Univ. of Oregon, 2006).
- Edmondson et al. 2007 — Edmondson J. A., Padayodi C. M., Hassan Z. M., Esling J. H. The laryngeal articulator: Source and resonator. *Proc. of the 16th International Congress of Phonetic Sciences*. Trouvain J., Barry W. J. (eds.). Saarbrücken: Universität des Saarlandes, 2007, 2065–2068.
- Edmondson 2008 — Edmondson J. A. *Correspondences between articulation and acoustics for the feature [ATR]: The case of two Tibeto-Burman languages and two African languages*. Manuscript, 2008.
- Esling, Harris 2005 — Esling J. H., Harris J. G. States of the glottis: An articulatory phonetic model based on laryngoscopic observations. *A figure of speech: A Festschrift for John Laver*. Hardcastle W. J., Beck J. M. (eds.). Mahwah (NJ): Erlbaum, 2005, 347–383.
- Esling et al. 2019 — Esling J. H., Moisik S. R., Benner A., Crevier-Buchman L. *Voice quality: The laryngeal articulator model*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2019.
- Fulop et al. 1998 — Fulop S. A., Kari E., Ladefoged P. An acoustic study of the tongue root contrasts in Degema vowels. *Phonetica*, 1998, 55: 80–98.
- Gick et al. 2006 — Gick B., Pulleyblank D., Campbell F., Mutaka N. Low vowels and transparency in Kinande vowel harmony. *Phonology*, 2006, 23: 1–20.
- Greenberg 1963 — Greenberg J. H. The languages of Africa. *International Journal of American Linguistics*, 1963, vol. 29, no. 1, part 2.
- Guion et al. 2004 — Guion S. G., Post M. W., Payne D. L. Phonetic correlates of tongue root vowel contrasts in Maa. *Journal of Phonetics*, 2004, 32: 517–542.
- Güldemann 2008 — Güldemann T. The Macro-Sudan Belt: Towards identifying a linguistic area in northern sub-Saharan Africa. *A linguistic geography of Africa*. Heine B., Nurse D. (eds.). Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2008, 151–185.
- Güldemann 2010 — Güldemann T. Sprachraum and geography: Linguistic macro-areas in Africa. *Language and space: An International handbook of linguistic variation*. Vol. 2: *Language mapping*. Lameli A., Kehrein R., Rabanus S. (eds.). Berlin: Mouton de Gruyter, 561–585, 2901–2914 (maps).
- Halle, Stevens 1969 — Halle M., Stevens K. N. On the feature Advanced Tongue Root. Massachusetts Institute of Technology, Research Laboratory of Electronics, *Quarterly progress report*, 94 (1969), 209–215.
- Hardcastle 1976 — Hardcastle W. J. *Physiology of speech production*. New York: Academic Press, 1976.
- Harshman et al. 1977 — Harshman R., Ladefoged P., Goldstein L. Factor analysis of tongue shapes. *Journal of the Acoustical Society of America*, 1972, 62: 693–707.
- Hess 1992 — Hess S. Assimilatory effects in a vowel harmony system: An acoustic analysis of advanced tongue root in Akan. *Journal of Phonetics*, 1992, 20: 475–492.
- Hiiemae, Palmer 2003 — Hiiemae K. M., Palmer J. B. Tongue movements in feeding and speech. *Critical Reviews in Oral Biology & Medicine*, 2003, 14(6): 413–429.
- Hudu 2010 — Hudu F. *Dagbani tongue-root harmony: A formal account with ultrasound investigation*. Ph.D. diss., Univ. of British Columbia, 2010.
- Hudu 2014 — Hudu F. [ATR] feature involves a distinct tongue root articulation: Evidence from ultrasound imaging. *Lingua*, 2014, 143: 36–51.
- Jackson 1988 — Jackson M. T. Phonetic theory and cross-linguistic variation in vowel articulation. *Working Papers in Phonetics*, 71. Los Angeles: Univ. of California, 1988.
- Kang, Ko 2012 — Kang H., Ko S. In search of the acoustic correlates of tongue root contrast in three Altaic languages: Western Buriat, Tsongol Buriat, and Ewen. *Altai Hakpo*, 2012, 22: 179–203.
- Kaye et al. 1985 — Kaye J. D., Lowenstamm J., Vergnaud J.-R. The internal structure of phonological elements: A theory of charm and government. *Phonology Yearbook*, 1985, 2: 305–328.
- Kier, Smith 1985 — Kier W. M., Smith K. K. Tongues, tentacles and trunks: The biomechanics of movement in muscular-hydrostats. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 1985, 83(4): 307–324.

- Kingston et al. 1997 — Kingston J., Macmillan N. A., Dickey W. A., Thorburn R., Bartels C. Integrality in the perception of tongue root position and voice quality in vowels. *Journal of the Acoustical Society of America*, 1997, 101: 1696–1709.
- Kirkham, Nance 2017 — Kirkham S., Nance C. An acoustic-articulatory study of bilingual vowel production: Advanced tongue root vowels in Twi and tense/lax vowels in Ghanaian English. *Journal of Phonetics*, 2017, 62: 65–81.
- Ko 2012 — Ko S. *Tongue root harmony and vowel contrast in Northeast Asian languages*. Ph.D. diss., Cornell Univ., 2012.
- Ladefoged 1964 — Ladefoged P. *A phonetic study of West African Languages: An auditory-instrumental survey*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1964.
- Ladefoged 1968 — Ladefoged P. *A phonetic study of West African languages*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1968.
- Ladefoged et al. 1972 — Ladefoged P., DeClerk J., Lindau M., Papcun G. An auditory-motor theory of speech production. *UCLA Working Papers in Phonetics*, 1972, 22: 48–75.
- Ladefoged, Maddieson 1996 — Ladefoged P., Maddieson I. *The sounds of the world's languages*. Oxford: Blackwell, 1996.
- Laver 1965 — Laver J. D. M. Some observations on alveolar and dental consonant-articulations in Higi. *Journal of West African Languages*, 1965, 2(1): 59–61.
- Lindau et al. 1972 — Lindau M., Jakobson L., Ladefoged P. The feature Advanced Tongue Root. *UCLA Working Papers in Phonetics*, 1972, 22: 76–94.
- Lindau 1975 — Lindau M. [Features] for vowels. *UCLA Working Papers in Phonetics*, 1975, 30: 1–155.
- Lindau 1978 — Lindau M. Vowel features. *Language*, 1978, 54: 541–563.
- Lindau 1979 — Lindau M. The feature expanded. *Journal of Phonetics*, 1979, 7: 163–176.
- Local, Lodge 2004 — Local J., Lodge K. Some auditory and acoustic observations on the phonetics of ATR harmony in a speaker of a dialect of Kalenjin. *Journal of the International Phonetic Association*, 2004, 34(1): 1–16.
- Makeeva 2021 — Makeeva N. Central vowels in the vowel system of Akebu (Kwa). *XV Международная конференция африканистов. Судьбы Африки в современном мире. Тезисы*. Жерлицына Н. А. (отв. ред.). М.: Ин-т Африки РАН, 2021, 428–429. [Makeeva N. Central vowels in the vowel system of Akebu (Kwa). *15th International Conf. of African scholars. Book of abstracts*. Zherlitsyna N. A. (ed.). Moscow: Institute of Africa, 2021, 428–429.]
- Marchese 1983 — Marchese L. *Atlas linguistique kru*. Abidjan: Institut de Linguistique Appliquée, Université d'Abidjan & Agence de Coopération Culturelle et Technique, 1983.
- Olejarczuk et al. 2019 — Olejarczuk P., Otero M. A., Baese-Berk M. M. Acoustic correlates of anticipatory and progressive [ATR] harmony processes in Ethiopian Komo. *Journal of Phonetics*, 2019, 74: 18–41.
- Painter 1973 — Painter C. Cineradiographic data on the feature 'covered' in Twi vowel harmony. *Phonetica*, 1973, 28: 97–120.
- Perkell 1965 — Perkell J. S. Cineradiographic studies of speech: Implications of a detailed analysis of certain articulatory movements. *Report to the 5th International Congress of Acoustics, I*, A 32. Université de Liège, 1965.
- Perkell 1971 — Perkell J. Physiology of speech production: A preliminary study of two suggested revisions of the features specifying vowels. Research Laboratory of Electronics, Massachusetts Institute of Technology, *Quarterly Progress Report*, 102 (1971), 123–139.
- Pike 1947 — Pike K. L. *Phonemics*. Ann Arbor (MI): Univ. of Michigan Press, 1947.
- Poupplier et al. 2004 — Poupplier M., Buchwald A., Stone M. A tagged cine-MRI and ultrasound study of the German vowel system. *Working Papers and Technical Reports*, Vocal Tract Visualization Laboratory, Univ. of Maryland Dental School, Baltimore, 2004 (6): 18–55.
- Przedzicki 2005 — Przedzicki M. A. *Vowel harmony and coarticulation in three dialects of Yoruba: Phonetics determining phonology*. Ph.D. diss., Cornell Univ., 2005.
- Raphael, Bell-Berti 1975 — Raphael L. J., Bell-Berti F. Tongue musculature and the feature of tension in English vowels. *Phonetica*, 1975, 32: 61–73.
- Remijsen et al. 2011 — Remijsen B., Avoker O. G., Mills T. Shilluk. *Journal of the International Phonetic Association*, 2011, 41(1): 111–125.
- Rolle et al. 2020 — Rolle N., Faytak M., Lionnet F. Areal patterns in the vowel systems of the Macro-Sudan Belt. *Linguistic Typology*, 2020, 24(1): 113–179.
- Rose 2018 — Rose S. ATR vowel harmony: new patterns and diagnostics. *Proc. of the Annual Meetings on Phonology*, 2018, 5: 1–12.

- Sanders, Mu 2013 — Sanders I., Mu L. A three-dimensional atlas of human tongue muscles. *The Anatomical Record*, 2013, 296(7): 1102–1114.
- Schacter, Fromkin 1968 — Schachter P., Fromkin V. A phonology of Akan: Akuapem, Asante and Fante. *UCLA Working Papers in Phonetics*, 1968, 9: 1–268.
- Soubrier 2013 — Soubrier A. *L'ikposso uwi phonologie, grammaire, textes, lexique*. Ph.D. diss., Université Lumière Lyon 2, 2013.
- Starwalt 2008 — Starwalt C. G. A. *The acoustic correlates of ATR harmony in seven- and nine-vowel African languages: A phonetic inquiry into phonological structure*. Ph.D. diss., Univ. of Texas at Arlington, 2008.
- Stewart 1967 — Stewart J. M. Tongue root position in Akan vowel harmony. *Phonetica*, 1967, 16: 185–204.
- Stockwell 1973 — Stockwell R. P. Problems in the interpretation of the Great English Vowel Shift. *Studies in linguistics in honor of George L. Trager*. Smith M. E. (ed.). The Hague: Mouton, 1973, 344–362.
- Tiede 1996 — Tiede M. K. An MRI-based study of pharyngeal volume contrasts in Akan and English. *Journal of Phonetics*, 1996, 24: 399–421.
- Tucker, Mpaayei 1955 — Tucker A. N., Mpaayei J. T. O. *A Maasai grammar with vocabulary*. London: Longmans, Green, and Co, 1955.
- Welmers 1946 — Welmers W. E. A descriptive grammar of Fanti. *Language*, 1946, 22: 3–78.
- Warren 2014 — Warren R. *An acoustic analysis of the feature Advanced Tongue Root in Karajá*. MA thesis. California State Univ., Fresno, 2014.

Получено / received 13.05.2021

Принято / accepted 21.09.2021

[Рец. на: / Review of:] **I. Kraska-Szlenk (ed.). *Body part terms in conceptualization and language use***. (Cognitive Linguistic Studies in Cultural Contexts, 12.) Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2020. vii + 311 p. ISBN 9789027204806 (print), 9789027261663 (e-book).

Дарья Александровна Рыжова

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Москва, Россия;
daria.ryzhova@mail.ru

Daria A. Ryzhova

HSE University, Moscow, Russia;
daria.ryzhova@mail.ru

Мария Викторовна Кюсева

Университет Суррея, Гилфорд, Великобритания

Maria V. Kyuseva

University of Surrey, Gilford, UK

Благодарности: Работа частично поддержана
грантом РФФ № 19-78-10139.

Acknowledgements: The work was partially supported by RSF grant No. 19-78-10139.

DOI: 10.31857/0373-658X.2022.1.151-168

Введение

Сборник статей «Концептуализация и употребление наименований частей тела» под редакцией Ивонны Краска-Шленк опубликован по результатам одноименного воркшопа, проведенного в Варшавском университете 8–9 декабря 2017 г. Книга призвана внести вклад в так называемую «культурную лингвистику» (Cultural Linguistics): раздел лингвистики, который занимается эффектами взаимодействия языка и культуры [Sharifian 2011; 2017; Yu 2009b]. Работы, представленные в рецензируемом сборнике, анализируют эти эффекты на материале слов, обозначающих части тела в разных языках.

Как отмечает И. Краска-Шленк во вводной статье, наименования частей тела — один из самых исследованных пластов лексики в языках мира. Связано это с уникальной природой тела и его частей. С одной стороны, человеческое тело устроено более или менее одинаково у носителей разных языков и культур. С другой стороны, восприятие тела и, как следствие, употребление слов, которые называют его части, находится под сильным влиянием культурных традиций общества. Такая двойственная природа наименований частей тела делает их идеальным объектом исследования лексической типологии. Начиная с конца 70-х — начала 80-х годов XX в. эти исследования ведутся в двух направлениях.

Первое направление — анализ категоризации частей тела в разных языках. Работы этого направления отвечают на вопросы, сколько наименований частей тела используется в языке и какую именно часть тела каждое слово (или выражение) описывает. Эти исследования начались с работ Эмили Андерсен [Andersen 1978] и Сесиль Браун [Brown 1976] и получили особенное распространение в 1990-х–2000-х годах; ср. работы [van Staden 2006; Wilkins 1996; Evans, Wilkins 2001; Wierzbicka 2007; Majid 2010] и в особенности сборник под редакцией Ника Энфилда, Асифы Маджид и Мириам ван Стаден «Введение в межкузыковую категоризацию частей тела» [Enfield et al. 2006], который целиком посвящен типологии языковых систем наименования частей тела.

Второе направление изучает семантические переносы слов, обозначающих части тела, и берет истоки из классической работы Джорджа Лакоффа и Марка Джонсона «Метафоры, которыми мы живем» [Lakoff, Johnson 1980]; см. также [Lakoff, Johnson

1999; Johnson 1987; Lakoff 1987]. Одно из центральных понятий этой работы — «воплощение» (embodiment), т. е. восприятие мира через призму человеческого тела. Исследуя этот феномен в рамках теории когнитивной лингвистики, Лакофф и Джонсон показали, как самые разные абстрактные идеи обозначаются в языке словами, тем или иным образом связанными с человеческим телом. Эта работа вдохновила целый пласт исследований феномена воплощения в языке и, в том числе, его роли в метафорических и метонимических переносах слов. Ряд этих исследований посвящен непосредственно наименованиям частей тела. Так, возможные мишени (goals) метафорических переносов слов, обозначающих тело и его части, обсуждаются в работах [Enfield, Wierzbicka 2002; Heine 1997; 2014; Hilpert 2007; Kövecses 2000; 2005; Kraska-Szlenk 2014a; Svorou 1994]. Рецензируемый сборник написан в этом ключе и представляет собой коллекцию статей, в которых исследуются семантические расширения наименований частей тела в разных языках. Важная особенность этого сборника состоит в том, что он объединяет теорию концептуальной метафоры с упомянутой выше «культурной лингвистикой»: статьи сборника посвящены не только универсальным метафорам воплощения, таким как «ЗНАТЬ — значит ВИДЕТЬ» или «ТЕЛО — это вместилище ЭМОЦИЙ» [Lakoff, Johnson 1980], но и лингвоспецифичным семантическим переносам, обусловленным культурными моделями, характерными для того или иного языкового сообщества. В таком объединении подходов сборник следует работам [Sharifian et al. 2008; Sharifian 2011; 2017; Yu 2009a; Maalej, Yu 2011; Brenzinger, Kraska-Szlenk 2014; Kraska-Szlenk 2019]. Новизна сборника состоит, во-первых, в анализе новых данных (включая малоисследованные африканские и южноамериканские языки), а во-вторых, в новых методах анализа уже исследованных языков (в первую очередь это корпусные технологии), которые позволяют выдвинуть новые гипотезы об устройстве этого и связанных с ним семантических полей.

Рецензируемый сборник состоит из краткого введения и 13 статей, которые объединены в три раздела. Первый раздел представляет работы, в которых обсуждаются разные теоретические и сравнительные аспекты феномена воплощения в языках мира; второй раздел посвящен стратегиям грамматикализации наименований частей тела; наконец, третий раздел представляет лексические исследования семантических расширений наименований частей тела в разных языках.

Часть 1. Общие и сопоставительные исследования

Первый раздел книги, который носит название «Общие и сопоставительные исследования», включает наиболее разнообразные работы общетеоретического характера: каждая из входящих в этот раздел глав строится вокруг главной теоретической идеи, которая иллюстрируется примерами из двух и более языков. Первая глава подчеркивает важность количественных исследований в дополнение к качественным, вторая и четвертая предлагают классификации типов переносных употреблений наименований частей тела, третья, напротив, рассматривает, какие семантические поля могут служить источником (source) для обозначения частей тела, и, наконец, в пятой главе анализируются особенности использования наименований частей тела в европейской музыкальной терминологии. Ниже мы рассмотрим каждую главу более подробно.

Итак, **первая глава** раздела написана Нином Юй, специалистом по когнитивной лингвистике, автором целой серии работ, посвященных феномену воплощения в китайском и других языках; см. [Yu 1998; Sharifian et al. 2008; Maalej, Yu 2011] и др. Глава продолжает предыдущие исследования автора [Yu 2009a; 2009b], направленные на анализ семантического потенциала слов, обозначающих лицо и сердце в китайском языке (*liǎn*, *miàn* ‘лицо’ и *xīn* ‘сердце’), на фоне их английских аналогов *face* и *heart*. Основной фокус делается

на количественном анализе китайских слов: по данным обширного корпуса текстов определяется их частотность, а также частотность компаундов (двуслогов) и коллокаций, включающих эти слова в абстрактных значениях. В дополнение к этому автор вручную просматривает первые 200 примеров из сплошной выдачи по тому или иному компаунду, включающему наименование части тела в переносном значении, с целью определить, насколько разнообразны конструкции, в которых он употребляется. Китайские корпусные данные затем сопоставляются с аналогичными сведениями об употреблении английских слов *face* и *heart*. В работе показано, что китайские слова намного частотнее своих английских переводных эквивалентов, что связано именно с большей продуктивностью и большим разнообразием их переносных значений: например, метафора «ДОСТОИНСТВО — это ЛИЦО» реализуется в китайском языке в разнообразных конструкциях и частотных коллокациях, в то время как в английском она прослеживается буквально в нескольких выражениях (ср. *to have face*, *to lose face* и нек. др.).

Важнейший вывод заключается в том, что для полноценного сопоставления моделей воплощения в разных языках необходимо не только фиксировать наличие / отсутствие того или иного типа употребления в каждом из рассматриваемых языков, но и определять, насколько это употребление распространено: грубо говоря, сохранилось ли оно только в одной застывшей устаревающей идиоме, или же это переносное значение поддерживается множеством разнообразных частотных коллокаций. В последнем случае можно предполагать, что метафора культурно значима, поскольку она надежно закреплена в языке и передается из поколения в поколение вместе с языком — частью культурного и когнитивного наследия.

Нин Юй также высказывает предположение, что частотная культурно значимая языковая метафора может формировать концептуальную метафору, т. е. влиять на представления носителей языка об окружающей действительности. Однако эта идея никак не доказывается, и остается неясным, как вообще ее можно было бы доказать или опровергнуть.

Вторая глава написана Барбарой Левандовской-Томашик — крупным когнитивным лингвистом, автором целого ряда ставших классическими трудов по корпусной лингвистике, семантике просодии, лексической полисемии. Последнее из перечисленных направлений получает развитие и в рассматриваемой главе, которая представляет собой классификацию семантических сдвигов, отправным пунктом для которых служат ментальные представления частей тела. Помимо английского и польского, которые становятся главными источниками иллюстративного материала, к анализу привлекаются разнообразные данные целого ряда других, значительно более экзотических языков: ладакхского (сино-тибетский), мистепекского миштекского (ото-мангский), хауса (чадский), языков семьи кхое и нек. др.

Анализ семантических переходов опирается на понятие «radial category», известное в отечественной традиции как радиальная модель полисемии. Радиальная модель предполагает, что у исходного значения выделяется несколько аспектов, каждый из которых может стать базой для развития нового, переносного значения. Так, например, английское слово *head* обозначает часть тела, находящуюся наверху (отсюда *the head of the stairs*) или впереди (отсюда *the head of the attack*) и являющуюся центром познавательных и мыслительных процессов (отсюда *the head of the whole operation*). Тем самым, семантические сдвиги могут происходить на разных основаниях: на базе внешнего или функционального сходства, пространственной и другого рода смежности и т. д.

Поскольку части тела — это объекты, с которыми человек постоянно имеет дело, которые участвуют в любой нашей деятельности и являются посредниками в нашем восприятии действительности, их семантические представления чрезвычайно богаты — и, как следствие, могут служить источниками для очень широкого круга переносов.

Б. Левандовска-Томашик выделяет несколько типов семантических сдвигов, в которых участвуют наименования частей тела. Помимо общеизвестных переходов, таких как

метонимия (ср. ‘помыть волосы’ — ‘помыть голову’), грамматикализация (‘спина’ → пространственный маркер ‘сзади’, временной маркер ‘назад, ранее’, ср. англ. *back*) или метафора (*the head of the pin* ‘головка булавки’), Б. Левандовска-Томашик выделяет и менее стандартные виды семантической деривации: «метафтонимия» (ср. *I couldn't get his words out of my head*: метонимия ‘голова’ — ‘память’ и одновременная метафора ‘память’ — ‘контейнер’; подробнее о метафтонимии см. [Gossens 1990]), использование терминов портманто (ср. неологизм Джеймса Джойса *shuit*, ассоциативно связанный со словами *suit, shirt, shoes, shoot, shit*), межъязыковые соответствия, а также культурные концептуализации и реконцептуализации, которые в этой семантической зоне особенно значимы: с частями тела связано множество верований, традиций, ритуалов и систем табуирования.

Между тем термины портманто кажутся чрезвычайно маргинальными и скорее искусственно создаваемыми, а не развивающимися в языке естественным образом. А межъязыковые соответствия, будучи, несомненно, очень важным показателем границ вариативности того или иного типа сдвига, сами по себе сдвигом не являются, поскольку часто задействуют слова, не имеющие общего происхождения.

Глава 3, написанная африканистом Хельмой Паш, хоть и строится в основном на материале африканских языков, посвящена общетеоретическому, типологически ориентированному и необычному для исследований наименований частей тела сюжету: моделям семантических переходов, для которых части тела являются мишенью, а не источником.

Х. Паш справедливо отмечает, что части тела человека неизбежно участвуют в его деятельности, и наше восприятие частей тела очень тесно связано с тем, какие функции они обычно выполняют. Отсюда, по мнению автора, и возможность использовать для обозначения частей тела наименования некоторых артефактов, в первую очередь инструментов.

Несмотря на то, что наименования частей тела обычно относят к базовой, непроизводной и наиболее консервативной лексике любого языка (см., например, список Сводеша), нередко встречаются и отклонения от этого идеала. Х. Паш отмечает, что в африканском креольском языке санго слова ‘рука’, ‘спина’, ‘зуб’ являются заимствованиями, для английского слова *trunk*, вероятнее всего, первично значение ‘ствол (дерева)’, а значение ‘человеческий торс’ производно, а слово ‘голова’ в целом ряде европейских языков, по-видимому, восходит к обозначению котелка или глиняного горшка (ср. франц. *tête*, ит. *testa*, нем. *Kopf*).

Х. Паш выделяет несколько семантических источников обозначений частей тела:

- 1) другие, более заметные и более значимые части тела (ср. санго *li-maboko* ‘палец’, букв. ‘голова-рука’);
- 2) обозначения растений и их частей (ср. русск. *адамово яблоко*, франц. *prunelle de l'œil* ‘зрачок, зеница ока’, букв. ‘чернослив глаза’, ср. также упоминавшееся выше англ. *trunk* ‘ствол; торс’);
- 3) некоторые обозначения частей тела животных (ср. *грива*);
- 4) слова, обозначающие ту или иную геометрическую форму: англ. *eyeball* ‘глазное яблоко’ (от *ball* ‘шар’), нем. *Handfläche* ‘ладонь’ (букв. ‘поверхность руки’), нидерл. *knieschijf* ‘коленная чашечка’ (от ‘колено’ + ‘диск’), франц. *coude* ‘локоть’ (вероятно, от ‘изгиб, поворот’);
- 5) посуда и другая домашняя утварь, ср. русск. *лопатка, коленная чашечка*, суахили *kombe la bega* ‘лопатка’ (букв. ‘плечевая миска’), упоминавшиеся выше обозначения головы во французском, итальянском и немецком и др.

Модель образования названий частей тела от имен артефактов (пункт 5) кажется наиболее распространенной (хотя полномасштабного типологического исследования этой проблематики, насколько нам известно, еще не проводилось). Концептуальная близость частей тела с артефактами поддерживается и более широко обсуждаемыми метафорами, действующими в обратном направлении (от частей тела к артефактам): в статье приводится множество примеров из африканских языков (ср. ‘дверь’ как ‘рот дома’ в санго или

занде (нигер-конго)), в которых этот феномен распространен даже в большей степени, чем в языках средневропейского стандарта.

Интересно, что функциональной нагруженностью частей тела Х. Паш объясняет и некоторые примеры грамматикализации: например, переход слова ‘спина’ в пространственный маркер ‘верх’ в нигер-конголезском языке бака она связывает с традицией переносить грузы на спине, наклонившись вперед — так, что спина при этом действительно оказывается сверху.

Заметим, однако, что, при неоспоримой значимости частей тела как квазиинструментов, почти за всеми рассмотренными в статье примерами стоит не функциональное, а зрительное, чисто внешнее сходство — в первую очередь, по форме, чего Х. Паш никак не отмечает. Продолжение исследований в этом направлении представляется нам чрезвычайно перспективным.

Глава 4 написана редактором сборника Ивоной Краска-Шленк, специалистом по когнитивной, корпусной и культурной лингвистике, африканским языкам. Глава посвящена проблеме широкой типологии моделей семантических переходов, связанных с наименованиями частей тела. Несмотря на то, что очень многое в этом направлении уже сделано и накоплен очень богатый материал самых разных языков, у этой области еще много перспектив и точек роста.

Один из насущных путей развития — широкое использование ставших доступными корпусных данных, которые позволят улавливать не только качественные, но и количественные различия между языками. Аналогично автору первой статьи сборника Нину Юй, И. Краска-Шленк утверждает, что важно фиксировать не просто наличие / отсутствие той или иной метафоры, но и ее частотность и степень продуктивности (т. е. то, каким количеством разнообразных выражений она поддерживается).

Другое направление связано с расширением языковой выборки: если бы можно было проверить наличие или отсутствие каждого из возможных типов сдвигов в как можно большем количестве разнообразных языков, это дало бы основания для отнесения одних типов переносов к универсальным явлениям, связанным с особенностями человеческого мышления, а других — к явлениям культурноспецифичным.

Однако прежде, чем начать осуществлять столь широкомасштабную исследовательскую программу, необходимо, по мнению И. Краска-Шленк, установить допустимые границы вариативности, т. е. строго определить, какие из многочисленных различий между языками считаются значимыми, а какие — пренебрежимыми флуктуациями. В этой связи она рассматривает уже засвидетельствованные расхождения между языками в зоне наименований частей тела на разных уровнях.

Так, многочисленные межъязыковые различия наблюдаются уже на уровне категоризации частей тела, т. е. в зоне буквальных употреблений соответствующих слов. Этой проблеме посвящена обширная литература, см., в первую очередь, [Enfield et al. 2006]. Однако если в сборнике [Enfield et al. 2006] принята экспериментальная парадигма сбора материала, в рамках которой носителей разных языков и культур просят закрашивать на картинке фрагменты человеческого тела, соответствующие разным словам их родного языка, и затем сравнивают между собой закрашенные области, И. Краска-Шленк предлагает соизмерять объемы понятий на основе сопоставления контекстов, в которых употребляются соответствующие слова. Такая идеология согласуется с отечественной традицией лексико-семантических исследований [Апресян 1974; Рахилина, Резникова 2013], однако выводы, которые делает на основе такого анализа И. Краска-Шленк, для нас как адептов этого подхода кажутся неожиданными. И. Краска-Шленк предполагает, что расхождения между наименованиями частей тела в разных языках не очень значимы и сводятся к метонимическим (слово обозначает некоторый фрагмент тела целиком или только его часть, ср. англ. *hand* и *arm*, очень приблизительно соответствующие русским *кисть* и *рука*), в то время как их семантические прототипы (т. е. большинство контекстов их употребления) совпадают. Между тем подробный анализ сочетаемости наименований частей тела почти неизменно

выявляет весьма существенные различия: в частности, известно, что русское слово *кисть* лишь в очень ограниченном числе контекстов соответствует английскому *hand*¹ (ср. **держатъ ребенка за кисть*, **надеть на кисть перчатку* и т. п.), и таких примеров можно привести множество. Типология семантических сдвигов наименований частей тела, на наш взгляд, должна эти различия аккуратно учитывать, поскольку в большинстве случаев они отражаются и на результирующих переносных значениях (что показано, в том числе, в статьях Х. Паш и С. Робер в рецензируемом сборнике). Аналогичное затруднение, как справедливо отмечает и сама И. Краска-Шленк, связано с неполной эквивалентностью переносных значений, границы различий между которыми устанавливать еще сложнее.

Особый акцент в статье делается на структурные различия между языками, которые также могут стать препятствием для прямого сопоставления наименований частей тела и их семантических расширений. И. Краска-Шленк показывает, что один и тот же с чисто семантической точки зрения сдвиг в одном языке может сопровождаться словообразовательными процессами, в другом — словосложением, а в третьем не влечет за собой никаких изменений на морфосинтаксическом уровне. Автор предлагает принимать во внимание все перечисленные типы процессов, но при этом указывает на необходимость разработки иерархии структурных разновидностей таких сдвигов, от требующих минимальных усложнений исходной формы до предполагающих максимальное число изменений и минимально прозрачных для носителей соответствующего языка. При успешной реализации такой исследовательской программы в дальнейшем можно будет поставить вопрос о том, какие переходы когнитивно более доступные (требуют меньше усилий и дополнительных маркеров), а какие — более сложные.

Заметим, что в отечественной традиции эта проблематика уже обсуждалась, прежде всего — в рамках проекта под руководством Анны А. Зализняк по разработке Каталога семантических переходов², см. [Zalizniak et al. 2012]. Основные принципы отбора материала для Каталога включают перечень структурно различных типов сдвигов, которые учитываются в Каталоге на равных правах: синхронная полисемия, диахроническая семантическая эволюция, морфологическая деривация, семантические различия на уровне когнатов или заимствований. В свою очередь, морфологическая сложность в контексте лексической и семантической типологии, созвучная идеям, высказываемым И. Краска-Шленк, обсуждается в статье [Kibrik 2012]. Однако эти работы не учтены в ее исследовательской программе.

Пятая глава сборника значительно отличается от остальных глав первого раздела, которые рассматривают общетеоретические вопросы, связанные с наименованиями частей тела и их семантическими расширениями. Она посвящена узкой семантической зоне, которой не уделялось большого внимания в лексической типологии: музыкальной терминологии. Автор главы — Саня Киш Жувела, специалист по теории музыки и исследователь музыкальной терминологии из Университета Загреба. Она обсуждает использование наименований частей тела для обозначения музыкальных инструментов и их частей, частей музыкальных произведений, а также элементов системы музыкальной нотации в нескольких европейских языках.

Это направление исследований нестандартно для когнитивной лингвистики, поскольку выходит далеко за пределы собственно лингвистической проблематики. В статье рассматривается очень интересный материал, обычно остающийся за рамками лингвистических исследований в силу своей культурной специфики, и в то же время не входящий в сферу интересов специалистов по теории и истории музыки, поскольку не имеет прямого отношения к музыке.

¹ Справедливости ради отметим, что в рамках этой статьи И. Краска-Шленк не рассматривает ситуации конкурирования двух терминов (ср. русск. *кисть* и *рука*), отсылая читателя к своей работе [Kraska-Szlenk 2014b].

² <http://datsemshift.ru/>

Между тем С. Киш Жувела показывает, что наименования частей тела используются в музыкальной терминологии довольно широко, причем значение их может меняться — вместе с изменениями музыкальной традиции в рамках той или иной культуры. В этом аспекте интереснее всего наблюдение автора о том, что по мере развития музыковедения как науки, а также общей «академизации» европейской музыкальной традиции, наименования частей тела постепенно уходят из этой зоны и сменяются менее прозрачной терминологией. Так, например, наименование компонента, который присутствовал в обозначении ноты с самого начала, — нотной головки — во всех рассмотренных автором языках восходит к слову с исходным значением ‘голова’; а более позднее нотационные символы, такие как ребро, обнаруживают большее разнообразие в обозначениях, не связанных с частями тела, ср. англ. *beam* ‘луч; балка’, нем. *Balken* ‘перекладина, балка’, итал. *tratto / linea* ‘черта, линия’. Это наблюдение закономерно и согласуется, по нашему мнению, с явлением перехода от иконичных систем к более символическим по мере развития языка: по этому закону развивается лексика в жестовых языках [Frishberg 1975; Pyers, Senghas 2020], ему же следует реформа китайской иероглифической системы письменности и мн. др. Строго говоря, это вектор развития любой знаковой системы: на начальном этапе ее функционирования все знаки максимально понятны, но чем больше они используются, тем меньше остается необходимости в их внутренней прозрачности, и они либо схематизируются, либо заменяются на другие, непрозрачные.

Часть 2. Грамматикализация

Второй раздел книги посвящен исследованиям путей грамматикализации слова ‘тело’ в чадском языке перо (глава 6), ‘голова’ в нигеро-конголезском языке волоф (глава 7), а также слов ‘спина’, ‘лицо’, ‘рот’ и ‘тело’ в муруйском уитотском (глава 8).

Известно, что наименования частей тела систематически развивают грамматические значения в самых разных языках, и модели таких переходов в основном хорошо описаны. Так, например, фиксированное и универсальное расположение частей тела относительно друг друга позволяет использовать их в качестве системы пространственных координат, где слово ‘спина’ становится локативным маркером со значением ‘сзади’ или ‘сверху’, ‘лицо’ или ‘глаз’ маркирует расположение ‘спереди’, ‘голова’ — ‘сверху’, ‘живот’ — ‘внутри’ и т. д.; см. [Heine 2014]. На основе пространственных употреблений формируются временные, ср. англ. *three years back* и многочисленные другие примеры в [Kuteva et al. 2019]. Существительные, исходно обозначающие тело целиком или голову как наиболее значимую его часть, нередко становятся маркерами различных параметров аргументной структуры ситуации, функционируя как показатели рефлексива, медиа, реципрока, антипассива; см., например, [Evseeva, Salaberri 2018; Heine 2000; Kuteva et al. 2019]. Данные и их анализ, представленные во второй части рецензируемого сборника, в целом не противоречат результатам предыдущих исследований и обобщений, но и не всегда полностью в них укладываются.

Глава 6, написанная Зигмунтом Фрайзингером, специалистом по теории грамматикализации, грамматической типологии и афроазиатским языкам, посвящена особым употреблением слова *cíg* ‘тело’ в языке перо. Помимо «стандартной» функции показателя рефлексива, этот элемент выполняет необычную роль в некоторых высказываниях, маркируя, по предположению автора, слабую вовлеченность объекта в ситуацию (т. н. *object non-affectedness*).

Гипотеза выводится на основе корпусного анализа лексического наполнения конструкций с *cíg* ‘тело’: показано, что этот элемент маркирует прежде всего одушевленные объекты (в большинстве случаев присоединяется к обозначениям людей) при глаголах, не предполагающих изменения целостности, формы, экзистенциального статуса или

местоположения объекта, ср. *mójó* ‘обнимать’, *báanò* ‘искать’, *wè* ‘видеть’, *bínà* ‘мыть’, *káwò* ‘собирать’ и некоторые другие.

Эта идея поддерживается тем, что в конструкциях с участниками, не названными полной именной группой, слово *cíg* ‘тело’ в комбинации с притяжательными местоимениями может использоваться в функции личного местоимения 3 лица, причем в тех же самых условиях, в каких оно выступает в качестве показателя слабой вовлеченности при имени. Во всех остальных случаях участники 3 лица не получают никакого маркирования.

Таким образом, З. Фрайзингер предполагает, что в перо особым образом маркируется слабо вовлеченный в ситуацию объект-человек. Однако, как отмечает сам автор, гипотеза нуждается в дополнительной проверке, прежде всего потому, что исследование проводилось на ограниченном материале. Некоторые иллюстрации, приводимые в статье, вызывают вопросы. Так, например, в роли объекта в конструкции с *cíg* ‘тело’ могут выступать также слова *jòk* ‘стул’ и *digè* ‘горшок, котелок’, и неизвестно, насколько на самом деле широк круг наименований неодушевленных объектов, способных заполнять этот слот. Возможно, что и набор характерных для данной конструкции глаголов в действительности тоже шире: так, в примере (22) на с. 125 фигурирует глагол со значением ‘согреть’ (‘солнце согревает людей’), который, как кажется, все-таки предполагает изменение внутреннего состояния своего объекта.

В качестве фона в статье привлекаются данные двух других чадских языков — мина и леле. В обоих языках также встречаются в той или иной степени грамматикализованные сочетания существительного с исходным значением ‘тело’ с притяжательными местоимениями, но их функции отличаются от тех, что характерны для перо. Так, в мина эти формы маркируют сильно вовлеченных участников, а в леле — участников, чье «внутреннее состояние» (internal state) претерпевает изменения.

Параллели из мина и леле позволяют предположить, что для чадских языков в целом характерно грамматическое выделение разных фрагментов шкалы вовлеченности (в терминах [Beavers 2011]). Однако напрашивается помещение этого явления и в более широкий типологический контекст. Возможность использования слова ‘тело’ для обозначения той или иной степени вовлеченности объекта не указывается в каталоге моделей грамматикализации [Kuteva et al. 2019]. В связи с этим имело бы смысл осветить, как данные чадских языков соотносятся с другими стратегиями маркирования вовлеченности объекта, зафиксированными в языках мира.

Глава 7, написанная африканистом и специалистом по когнитивной лингвистике Стефан Робер, представляет собой очень подробное описание разных типов употреблений, в первую очередь грамматических, слова *bopp* ‘голова’ в нигеро-конголезском языке волоф. Отдельным достоинством этой статьи, с нашей точки зрения, является внимание к **семантической смежности** — взаимосвязям между разными значениями рассматриваемого слова и, шире, между разными лексическими и грамматическими категориями.

Слово *bopp* ‘голова’ в волоф означает соответствующую часть тела одушевленного существа и не встраивается в систему пространственных предлогов, в отличие от таких наименований частей тела, как, например, ‘лицо’ или ‘спина’. С. Робер предполагает, что расположение головы относительно других частей тела не является ее салиентной чертой в волоф. Голова считается центром управления социальной и ментальной жизнью человека, местом, где сосредоточено его «я», и эта ее функциональная нагруженность оказывается важнее пространственного расположения.

Восприятие головы как своего рода носителя индивидуальности своего обладателя закономерным образом позволяет существительному *bopp* ‘голова’ (в сочетании с притяжательными местоимениями) использоваться в качестве маркера кореферентности субъекта и объекта — рефлексива. Конструкция с *bopp* конкурирует в этой зоне с медиальной конструкцией (показатель медиа *-i-* на глаголе, блокирующий заполнение при этом глаголе валентности объекта). Сферы употребления рефлексивной и медиальной конструкций

определяются семантикой глагола: в тех случаях, когда речь идет о действии, прототипически направляемом субъектом на самого себя (ср. ‘умываться’, ‘причесываться’), используется медиальная конструкция с устранением объекта, а при глаголах, обозначающих действие, прототипически направляемое на другого участника (‘любить’, ‘обвинять’), неожиданное совпадение референтов субъекта и объекта маркируется рефлексивной конструкцией с *borp*.

Помимо кореферентности субъекта и объекта, сочетание существительного *borp* ‘голова’ с притяжательным местоимением может маркировать совпадение референтов субъекта и косвенного участника с ролью бенефицианта, реципиента или комитатива. Кроме того, с помощью такой же конструкции может вводиться участник с ролью инструмента, кореферентный субъекту, что дает эмфатический эффект (букв. «он сделал это с помощью своей головы = самого себя»). Элемент *borp* может также маркировать кореферентность посессоров внутри именной группы, что снова приводит к эмфазе, ср. букв. «мой дом головы» = ‘мой собственный дом’.

Помимо рефлексивных употреблений, существительное *borp* ‘голова’ в составе предложной конструкции *ci borp-POSS*, букв. ‘в (чьей-то) голове’, используется в качестве приименного интенсификатора в значениях агентивной эмфазы (ср. *Он сделал это сам*), эмфатической идентичности (ср. *Сам директор пришел на праздник*) и скалярного максимизатора (ср. *Даже Вася уже приехал*).

С. Робер показывает, что многочисленные и разнообразные употребления слова *borp* ‘голова’ естественным образом связаны между собой. Из восприятия головы как наиболее значимой, салиентной части тела вытекает использование наименования этой части тела в качестве рефлексивного показателя в целом ряде конструкций, от классической переходной с кореферентностью субъекта и объекта до более специфических случаев, включая кореферентность участников внутри генитивной именной группы. Заметим, что уже в классических рефлексивных конструкциях в волоф есть эмфатический элемент: они маркируют только случаи неожиданного, непрототипического совпадения субъекта и объекта. В других конструкциях идея кореферентности становится все менее значимой и на первый план выходит функция эмфазы, которая для приименных конструкций оказывается уже единственной.

Семантическая смежность, как на грамматическом, так и на лексическом уровне, представляется нам актуальным и перспективным направлением исследований. Наш опыт работы с лексикой показывает, что границы семантических полей проницаемы; см., например, [Ryzhova et al. 2019]. Статья С. Робер наглядно демонстрирует, что и грамматические категории не изолированы друг от друга: границы между ними подчас очень расплывчаты. Однако на сегодняшний день лингвистика располагает лишь обрывочными сведениями о том, какие именно категории являются смежными и какие эффекты происходят на их границах. Статья С. Робер — значимый шаг в сторону ликвидации этого пробела.

Наконец, **глава 8**, последняя в разделе, посвященном грамматикализации наименований частей тела, исследует грамматические употребления слов ‘спина’, ‘лицо’, ‘рот’ и ‘тело’ в муруйском уитотском. Ее автор — Катажина Войтыляк, специалист по амазонским языкам и контактными явлениям в лингвистике.

В главе рассматривается широкий круг явлений, затрагивающих наименования частей тела и подпадающих под определение грамматикализации. Часть таких переходов зафиксирована в новом издании словаря грамматикализации [Kuteva et al. 2019]; другие, однако, еще не получили подробного описания в лингвистической литературе.

Существительное *emodo* ‘спина’ формирует целую цепочку грамматических употреблений, начиная от локативного значения ‘над’ и временного ‘после’, заканчивая более специфическими функциями показателя компаратива. Кроме того, лексема *emodo* может выступать в роли особого грамматического элемента в числительных от шести до девяти (букв. «один / два / три / четыре **после** пяти»).

Существительное *uieko* ‘лицо’ формирует типичные для слов с такой исходной семантикой пространственные употребления ‘впереди, перед’ и временные ‘до, перед’. В аналогичной пространственной функции, согласно [Kuteva et al. 2019], могут использоваться и элементы, исходно обозначающие рот. В муруйском уитотском *fiue* ‘рот’ тоже функционирует как маркер пространственной ориентации, но не грамматический, а лексический, и обозначает не переднюю часть, а кромку (край) некоторых неодушевленных объектов (ср. ‘край, берег реки’). Кроме того, существительное *fiue* ‘рот’ подвергается фонетической эрозии и превращается в суффикс *-fiue* — классификатор, присоединяющийся к существительным, обозначающим некоторый нарратив, устную историю.

Наконец, существительное *abi* ‘тело’ может входить в состав рефлексивных конструкций (хотя и не является главным средством рефлексивизации), а также используется в качестве маркера повторяемости ‘опять’. Исходное лексическое значение слова *abi* ‘тело’ при этом выветривается, однако результирующая форма не грамматикализуется полностью и функционирует скорее как адverbial, нежели как морфема с рефактивным значением (так, например, она сочетается со словом *dane* ‘один, однажды’, и все сочетание интерпретируется как ‘еще раз’). Для обозначения этого маркера К. Войтыляк использует глоссу *again*, никак не соотносит его с граммемами рефактива или фреквентатива и не рассматривает подробно границы его применимости.

В отличие от автора главы 7 С. Робер, К. Войтыляк не обсуждает семантические связи между разными значениями исходно одного и того же элемента. Она обращает внимание читателя на другую особенность процесса грамматикализации. Все рассмотренные наименования частей тела в муруйском уитотском грамматикализируются в разных формах: без каких-либо дополнительных маркеров (как *abi* ‘тело’ в функции рефлексива), в комбинации с показателями локатива (как *emodo* ‘спина’ во всех своих грамматических употреблениях) или инструменталиса (как, например, *abi* ‘тело’ в значении ‘опять’). Анализ возможной связи между формой слова и путем ее грамматикализации К. Войтыляк считает перспективным направлением для дальнейших исследований.

Часть 3. Лексические исследования

Последняя часть сборника объединяет работы, которые посвящены анализу семантических расширений конкретных слов, обозначающих части тела в разных языках. В этой части проанализирована выборка языков из разных групп и семей: тюркской, уральской, чадской, славянской и иранской. Несмотря на такое разнообразие языкового материала, структурно главы очень похожи. Все они фокусируются на одной части тела (или телесной зоне), для которой очерчивается круг наименований в исследованном языке. Затем по результатам анализа словарей или корпусных данных авторы составляют список возможных семантических расширений слов. Эти расширения группируются согласно концептуальным метафорам Лакоффа и Джонсона и обсуждаются в свете основного исследовательского вопроса сборника: как универсальные эффекты воплощения взаимодействуют с культурно обусловленными моделями.

Глава 9, написанная когнитивным лингвистом и специалистом в области метафоры Мелике Баш, анализирует наименования частей голосового тракта и связанных с ним зон в турецком языке. Основной исследовательский вопрос статьи: как с помощью этих слов концептуализируется абстрактное понятие ‘язык’ (language). Этот вопрос мотивирован работой Гюнтера Раддена [Radden 2001], который постулирует когнитивную метонимическую цепочку, связывающую язык с органами голосового тракта. Согласно этой цепочке, слово, обозначающее орган речи (1), может начать обозначать процесс речи (2), затем расширить свои употребления на результат речи, высказывание (3), и, наконец, стать обозначением человеческого языка как системы (4). Мелике Баш ставит

перед собой задачу проверить, применима ли эта концептуальная цепочка к материалу турецкого языка.

Материал исследования представляет собой 431 идиоматическое выражение, включающее в себя одно из пяти слов: *ağız* ‘рот’, *dil* ‘язык’, *çene* ‘подбородок’, *dudak* ‘губы’ и *ses* ‘голос’. Выбор лексем обусловлен, во-первых, причастностью вышеперечисленных частей тела к артикуляции речи (за исключением слова *ses* ‘голос’), а во-вторых, разветвленной сетью переносных значений, которыми они обладают в турецком языке. В процессе анализа идиомы были сгруппированы по семантическим зонам, проанализированы согласно концептуальным метафорам, которые лежат в их основе, и сопоставлены с метонимической цепочкой Раддена.

Результаты анализа показали, что, помимо речи, мишени метафорических переносов слов, обозначающих части голосового тракта, включают семантические поля питания и эмоций. Например, выражение *dudak ısırarak* ‘кусать свою губу’ выражает восхищение, *ağız bükmek* ‘скривить рот’ — неприязнь, а *dilini değdirmemek* ‘не коснуться своего языка’ означает ‘не поест’. Наиболее распространенной мишенью семантических расширений при этом является речь. Данные М. Баш показывают, что эти расширения укладываются в метонимическую модель Раддена. Так, если у наименования части тела есть только один перенос в рассматриваемую зону, то слово при этом переносе будет обозначать процесс речи (второе звено в цепочке). Такая ситуация наблюдается у слов *çene* ‘подбородок’, *dudak* ‘губы’ и *ses* ‘голос’. В этом отношении лексема *çene* ‘подбородок’ наиболее примечательна: она демонстрирует такие непривычные для носителя русского языка употребления, как *çenesi düşmek* (букв. ‘подбородок упал’) ‘разговаривать’ и *çenesi bıçak açmak* (букв. ‘даже ножом подбородок не открыть’) ‘быть не в состоянии говорить от горя’. Слова *ağız* ‘рот’ и *dil* ‘язык’ выражают всю цепочку метонимий: помимо процесса речи, они могут обозначать продукт речи и, собственно, язык.

Таким образом, автор показала применимость модели Раддена к материалу турецкого языка и подтвердила фундаментальную роль наименований рта и языка в концептуализации абстрактного понятия ‘язык’ (language). Универсальность этой метонимической цепочки, как отмечает М. Баш, уравнивается лингвоспецифичным характером конкретных употреблений, которые в эту цепочку попадают. Так, например, выражение *dili zifir* (букв. ‘язык-смола’) ‘резко, грубо выражаться’ является примером универсальной метонимии ‘орган речи’ → ‘процесс речи’. При этом отрицательная коннотация этого выражения культурно обусловлена и связана с тем, что смола и черный цвет олицетворяют злобность в турецкой культуре.

Как нам представляется, одним из возможных направлений для дальнейшего исследования может послужить расширение выборки слов для анализа. Помимо других частей тела, участвующих в производстве речи (таких, как зубы или щеки), эта выборка могла бы включать в себя элементы, связанные со слухом. Например, в типологической базе данных коллексификаций CLICS³ есть примеры объединения в одной лексеме значений ‘язык’ (language) и ‘звук / шум’. Отметим также, что М. Баш в своей работе опирается на очень широкое понимание метонимии. Так, например, само слово *çene* ‘подбородок’ в процитированных выше примерах ‘подбородок упал’ и ‘даже ножом подбородок не открыть’ не обозначает процесс речи. Скорее, все словосочетание, которое включает в себя слово ‘подбородок’, обозначает ситуацию, которая имеет отношение к процессу речи. Такое прочтение не является прототипическим для теории семантических переносов, и поэтому результаты исследования нужно интерпретировать с осторожностью.

Автор главы 10 — Юдит Бараньине Коци, профессор Университета Святого Иштвана, специализирующаяся на когнитивной семантике, метафорических переносах и культурно обусловленных моделях языка. В главе исследуются метафорические и метонимические переносы слова *szem* ‘глаз’ в венгерском языке. Автор ставит перед собой амбициозную

³ <https://clics.clld.org/>

задачу определить, все ли употребления этой лексемы относятся к универсальным метафорам воплощения, постулированным Лакоффом и Джонсоном (таким, как «ГЛАЗ — ИНСТРУМЕНТ видения / знания / понимания»), или некоторые из них демонстрируют культурно мотивированные концептуализации.

На основе словарных данных автор составила список метафорических употреблений слова *szem* ‘глаз’ и производных от него лексем и сгруппировала эти употребления согласно концептуальным метафорическим схемам, таким как «ГЛАЗ — ЛОКУС ЭМОЦИЙ», «ГЛАЗ — ЛОКУС ИНТЕЛЛЕКТА», «ГЛАЗ — ЛОКУС МОРАЛИ» и т. д. Эти кластеры послужили основой для радиальной схемы метафорических употреблений лексемы. В отличие от схем семантических переносов, принятых в русской традиции, модель Ю. Бараньине Коци классифицирует употребления лексемы *szem* не в соответствии с механизмами сдвига, а согласно так называемым базовым функциям глаза, которые проявляются в конкретном употреблении. Так, в венгерском языке слово *szem* демонстрирует такие функции глаза, как ‘быть центром личностных характеристик’ (глаза как показатели порядочности), ‘быть инструментом межличностных взаимоотношений’ (взгляд как проявление власти и контроля, а также как инструмент сглаза), ‘быть инструментом действия’ (проявление внимания к чему-либо за счет удержания взгляда на этом предмете), ‘обладать внешним эффектом’ (изменение формы и цвета глаз из-за какой-либо эмоции), ‘обладать внутренним эффектом’ (глаза как инструмент восприятия информации). Автор утверждает, что в наборе этих функций, который в разных языках разный, проявляется культурная обусловленность феномена воплощения. Отметим, однако, что структурно базовые функции похожи на концептуальные метафоры. При этом Ю. Бараньине Коци не проводит четкого разграничения между этими двумя понятиями.

В дополнение к словарному анализу, автор проводит небольшое сравнительное исследование выражений *szemébe* ‘в глаза’ и *szeme közé* ‘между глаз’ на основе данных Национального корпуса венгерского языка⁴. Как показывают эти данные, несмотря на то что оба выражения обозначают смежные пространственные ситуации, они получают разное метафорическое осмысление. Пространство между глаз концептуализируется как уязвимое место, поэтому любое действие (словесное или физическое), направленное на это место, воспринимается как серьезное нарушение личного пространства, имеющее разрушительный эффект. Например, фразу ‘сказать ему в лицо все, что ты думаешь’, можно перевести на венгерский язык как с использованием *szemébe* (букв. ‘сказать ему в глаза’), так и с использованием *szeme közé* (букв. ‘сказать ему между глаз’). При этом во втором случае будет подразумеваться более неприятный эффект для адресата. Этот сравнительный анализ показывает необходимость использования корпусных методов для выявления тонких различий между метафорическими употреблениями лексем и выражений.

Как отмечает сама Ю. Бараньине Коци, ее анализ представляет собой не первое исследование, посвященное метафорическим переносам слова ‘глаз’ в языках мира; см., например, [Occhi 2001; Vainik 2011; Baş 2015]. При таком разнообразии данных представляется полезным сравнивать новый материал с уже имеющимися результатами. Однако в рассматриваемой статье такое сравнение сведено к минимуму. В том числе остается непонятным, какие из употреблений слова ‘глаз’ в венгерском языке являются для него уникальными. Единственная метафора, которая обусловлена культурной традицией, а не когнитивными процессами, и, следовательно, могла бы быть уникальной, связывает глаза с наведением порчи (ср. русск. *сглаз*, англ. *evil eye*). Однако она также была отмечена в персидском языке. Возможно, на лингвоспецифичность претендуют обсуждаемые выше метафорические употребления выражения *szeme közé* ‘между глаз’, но Ю. Бараньине Коци не рассматривает этот вопрос подробно.

Задача разграничения универсальных и культурноспецифичных метафор слова очень непростая и требует большого количества материала и комплексных методов его анализа.

⁴ http://corpus.nyttud.hu/mnsz/index_eng.html

Как нам кажется, статья Ю. Бараньине Коци показывает важные результаты первых шагов в этом направлении.

Глава 11 также посвящена анализу слова ‘глаз’, но на этот раз в малоизученном с точки зрения когнитивной лингвистики языке хауса (чадская группа). Для этого анализа автор статьи Ахмаду Шеху совмещает данные мини-корпуса языка хауса [Will 2005] и словарей. Как показывают эти данные, лексема *ido* ‘глаз’ является распространенной в хауса и встречается как в физических, так и в абстрактных употреблениях. Интересная особенность первых заключается в том, что цвет, которым могут характеризоваться глаза в хауса, бывает красным или белым. Это связано с тем, что носители языка характеризуют с точки зрения цвета конъюнктиву (белочную оболочку), а не радужную оболочку. Такая сочетаемость распространяется за пределы языка хауса и противопоставляет африканскую и европейскую культурные модели.

Слово *ido* ‘глаз’ обладает разветвленной схемой переносных значений. Они составляют 70 % анализируемых употреблений и могут быть основаны на разных аспектах глаза. Так, визуальный аспект мотивирует переносы, в результате которых лексема *ido* начинает обозначать другие части тела. Эти переносы могут сопровождаться словосложением. Например, компаунд *ido-n-kafa* (букв. ‘глаза ноги’) обозначает кости щиколотки, а компаунд *ido-n-hannu* (букв. ‘глаза руки’) — закругленные концы запястья. Источником метафорических переносов на основе внешнего вида могут служить не только человеческие глаза, но и глаза животных. Например, сложное слово *ido-n-doki* (букв. ‘глаза лошади’) обозначает каштан.

Абстрактные области метафорических переносов слова *ido* основаны на функциональном аспекте глаз. Так, ряд употреблений в корпусе связан с концептуализацией глаз как основного инструмента, с помощью которого человек смотрит / видит. Эта концептуализация далее метафорически распространяется на ситуацию знания (в соответствии с универсальной метафорой «ВИДЕТЬ — значит ЗНАТЬ»). Помимо этого, глаза в языке хауса могут концептуализироваться как инструмент внимания, локус эмоций, а также носитель характерных черт человека.

По итогам анализа А. Шеху заключает, что лексема *ido* ‘глаз’ представляет собой важный концепт в языке хауса и широко употребляется в переносных значениях. Несмотря на то, что автор не проводил подробного сравнительного анализа своих данных с материалами других языков, он отметил, что в хауса глаза являются наиболее значимой частью человеческого тела в отличие от, например, английского, где на это звание претендует слово *face* ‘лицо’. Так, английской фразе *meet face to face* ‘встретиться лицом к лицу’ соответствуют фразы хауса *hada ido* (букв. ‘соединить глаз’) и *yi ido* (букв. ‘сделать глаз’).

Глава 12 посвящена нетипичной для лингвистических исследований в области частей тела зоне кишок. В отличие от других статей в третьем разделе сборника, эта глава, написанная профессором Варшавского университета Малгожатой Вашневской, представляет сравнительный анализ наименований этой части тела в двух языках — польском и английском. Анализ выполнен на основе данных Корпуса современного американского английского (COCA)⁵ и Национального корпуса польского языка (NKJP)⁶ и дополнен информацией, почерпнутой из этимологических словарей. Последняя добавляет в анализ диахроническую перспективу.

Согласно данным этимологических словарей, сердце не всегда было основным локусом эмоций в западноевропейской культуре. В античности эту роль выполняли кишки, так как они находятся в геометрическом центре человеческого тела. Автор приводит множество примеров из ранних переводов Библии на английский язык, которые представляют кишки (лексема *gut*) местом, где хранятся как позитивные (жалость, сострадание, нежность), так

⁵ <https://www.english-corpora.org/coca/>

⁶ <http://nkjp.pl/index.php?page=0&lang=1>

и негативные эмоции (стресс, злость, раздражение). Отрицательные эмоции, как предполагает М. Вашневска, связаны с неприятными ощущениями в области живота, которые часто возникают в момент сильного эмоционального расстройства.

В современном английском языке такая концептуализация кишок практически исчезла, но зато широко распространены употребления, в которых кишки воспринимаются как хранилище знания, в особенности иррационального, ср. *my guts tell me* (букв. 'мои кишки мне говорят'), *I had a gut feeling* (букв. 'у меня было чувство кишок'), *it was a gut instinct* (букв. 'это был инстинкт кишок'). Помимо этого, кишки в современном английском ассоциируются с проявлением смелости, решительности, ср. *it takes guts to do this* (букв. 'чтобы это сделать, нужны кишки'), *he doesn't have the guts to run for president* (букв. 'у него нет кишок баллотироваться в президенты'). Помимо человека, английская лексема *guts* 'кишки' может характеризовать неодушевленные объекты, обозначая их внутренности: *the guts of a volcano* 'внутренности вулкана', *kayak's guts* 'внутренности каяка' и т. д.

Сравнительный анализ с наименованиями кишок в польском языке (в первую очередь, с лексемами *flaki*, *kiszki* и *bebeczy*) показывает значительное количество пересечений с английским эквивалентом. Так, в польском языке кишки тоже являются местом негативных эмоций, хранилищем бессознательного знания и могут обозначать внутренности неодушевленных объектов. В отличие от английского языка, однако, 'кишки' в польском не связаны с идеей смелости. Зато польское слово *bebeczy* может употребляться в значении материального имущества — метафора, отсутствующая в английском языке.

По результатам сравнительного анализа М. Вашневска заключает, что большое количество пересечений в метафорических употреблениях английского слова *gut* с польскими переводными эквивалентами может свидетельствовать об универсальности роли этой части тела в концептуальной системе человека. Однако для проверки этой гипотезы необходимо проанализировать материал других языков, желательно генетически, ареально и культурно далеких от польского и английского.

Последняя глава сборника (глава 13) написана сотрудником Университета Монаша (Мельбурн, Австралия) Вахеде Носрати и посвящена анализу лексемы *nawsk* 'живот' в курдском языке. Работа выполнена при помощи методологии культурной лингвистики [Sharifian 2011]. Примеры употребления слова *nawsk* в живой речи (интернет-источники, словари, опросы носителей) дополняются отрывками из курдской литературы. Оба типа данных, как утверждает В. Носрати, свидетельствуют об исключительной роли, которое понятие 'живот' играет в курдском языке и культуре.

Морфологически слово *nawsk* состоит из двух корней, первый из которых, *naw*, передает значение 'внутри', а второй, *sk*, — собственно 'живот'. Корень *sk* может употребляться отдельно и в этом случае обозначает только живот как физический объект. Например, именно его употребит носитель, если захочет сказать, что у него болит живот или живот полон еды. В соединении с корнем *naw* это слово начинает передавать метафорические значения.

По свидетельству В. Носрати, слово *nawsk* обладает разветвленной сетью метафорических сдвигов. В первую очередь, живот в курдском является основным местом хранения эмоций. Так, например, *nawsk-m agri grd* 'мой живот горит' обозначает ненависть, *nawsk-m da kaft* 'мой живот упал' — страх, а *dard-t kafet la nawsk-m* 'твоя боль упала в мой живот' — любовь и страсть. Помимо чувств, *nawsk* хранит черты характера. Например, если у человека 'живот разорван', то это значит, что он жадный и меркантильный, если у него 'в животе боль', то он порочный, а если у него 'кислый живот', то он жестокий и часто причиняет людям боль (осознанно или неосознанно).

Среди литературных источников В. Носрати находит множество примеров концептуализации живота как центра мирских развлечений. Например, в одной из поэм курдского поэта Махви живот девушки 'полон мятежа', что свидетельствует о ее страстной натуре, а поэт Шерко Беркас сравнивает голодный живот с волком, который останется равнодушным к творчеству самых известных курдских литераторов, если его не покормить.

Многочисленные примеры концептуализации живота как центра наиболее важных эмоций и качеств человека В. Носрати связывает с культурными традициями курдов. Так, согласно религиозным представлениям «мистерий Митры» — политеистической системы верований, которая была распространена в Иране до прихода Заратустры, — жизненные события, как счастливые, так и трагические, должны отмечаться танцами и торжественными пирами. Совместная еда и питье были основным способом ритуально отметить свершившееся событие. Помимо религии, о важной роли живота свидетельствует система врачевания курдов. Как утверждает автор, традиционно курды считают, что живот является причиной любой болезни, поэтому в качестве лекарства они часто принимают внутрь лечебные травы, которые растут на окрестных горах.

С теоретической точки зрения эта статья представляет несомненный интерес. В ней предпринимается смелая попытка совместно проанализировать литературные и языковые метафоры слова, объединить в одном анализе язык, религию и культуру. Таким образом, она удачно подводит итог всему сборнику, главной целью которого было представить междисциплинарные исследования такого типа. Однако именно в этой статье видны наиболее слабые места этого направления исследований. Так, связи, которые В. Носрати проводит между языковыми употреблениями слова *nawsk* и религиозно-культурными традициями, представляются крайне умозрительными. А значит, перед культурной лингвистикой, которая является новым направлением исследований, стоит задача не только поиска связей между языком и культурой, но и разработки методов доказательства выдвинутых теорий.

Заключение

Рецензируемый сборник содержит обширный и разнообразный материал: от частных исследований лексических или грамматических употреблений отдельных слов в конкретном языке (например, грамматикализация слова ‘тело’ в языке волоф или лексическая полисемия слов со значением ‘глаз’ в венгерском и хауса) до общетеоретических работ по классификации семантических сдвигов, в которых участвуют наименования частей тела в языках мира. Разнообразные по структуре и материалу статьи объединяет когнитивная парадигма: все они представляют анализ, выполненный в рамках теории концептуальной метафоры, и рассматривают взаимодействие универсального феномена воплощения (*embodiment*) и культурно обусловленных моделей полисемии.

Материал, представленный в сборнике, позволяет сделать ряд нетривиальных обобщений (которых, однако, почти нет во вводной главе). Так, по нескольким главам прослеживается тенденция использования для наименования частей тела названий объектов, похожих на них по форме; но в то же время функциональные, а не формальные особенности самих частей тела играют ключевую роль в семантических сдвигах на их основе.

В целом сборник показывает, что типология семантических изменений стоит на пороге нового этапа развития. Исследовательские вопросы о разграничении универсального и культурно обусловленного, которые ставят перед собой авторы сборника, очень глобальны, и в большинстве случаев давать на них аргументированные ответы можно только имея в своем распоряжении очень широкий и при этом тщательно и всесторонне изученный типологический материал.

Наименования частей тела — подходящая область для решения таких задач: этот пласт лексики изучен с разных точек зрения в большом количестве языков, и едва ли можно найти семантическую зону, которая к настоящему моменту успела бы получить столько же внимания со стороны лингвистического сообщества. Однако, как показывают главы этого сборника, единого каркаса, на который можно было бы накладывать данные каждого изучаемого языка, по-прежнему не хватает. Даже в рамках одной книги материал разных глав

не всегда напрямую сопоставим, ср., например, статьи о концептуализации понятия ‘глаз’ в венгерском и хауса, которые почти не имеют отсылок друг к другу.

Чтобы обеспечить подробное сопоставление материала и тем самым выйти на новый уровень обобщений, необходимо, по-видимому, разработать единую базу данных, в которую входили бы известные прямые и переносные значения наименований частей тела, обогащенную при этом различными культурными и историческими сведениями. Примерно об этом говорит и редактор сборника И. Краска-Шленк в главе 4.

Задача составления такой базы сама по себе является крайне амбициозной, однако уже существует немало успешных наработок, см. Каталог семантических переходов Анны А. Зализняк DatSemShift 2.0, типологическую базу колексификаций CLICS, базу данных заимствованных слов WOLD⁷, когнитивный и этимологический словарь романских языков DECOLAR⁸ и нек. др. Накопленный богатый материал по наименованиям частей тела, представленный в рецензируемом сборнике и более ранних работах, вкупе с уже имеющимся опытом структуризации такого рода данных может стать основой для новых, более глобальных исследований в этой области.

На наш взгляд, такая генерализация и масштабирование проектов и составляют на сегодняшний день общий вектор развития лексической типологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

- Апресян 1974 — Апресян Ю. Д. *Лексическая семантика (синонимические средства языка)*. М.: Наука, 1974. [Apresjan Yu. D. *Leksicheskaya semantika (sinonimicheskie sredstva yazyka)* [Lexical semantics: Synonymic means of language]. Moscow: Nauka, 1974.]
- Рахилина, Резникова 2013 — Рахилина Е. В., Резникова Т. И. Фреймовый подход к лексической типологии. *Вопросы языкознания*, 2013, 2: 3–31. [Rakhilina E. V., Reznikova T. I. Frame-based approach to lexical typology. *Voprosy Jazykoznanija*, 2013, 2: 3–31.]
- Andersen 1978 — Andersen E. S. Lexical universals of body-part terminology. *Universals of human language*. Greenberg J. H. (ed.). Stanford: Stanford Univ. Press, 1978, 335–368.
- Baş 2015 — Baş M. *Conceptualization of emotion through body part idioms in Turkish: A Cognitive Linguistic study*. Ph.D. diss., Hacettepe Univ., 2015.
- Beavers 2011 — Beavers J. On affectedness. *Natural Language & Linguistic Theory*, 2011, 29(2): 335–370.
- Brezinger, Kraska-Szlenk 2014 — Brenzinger M., Kraska-Szlenk I. (eds.). *The body in language: Comparative studies of linguistic embodiment*. Leiden: Brill, 2014.
- Brown 1976 — Brown C. H. General principles of human anatomical partonomy and speculations on the growth of partonomic nomenclature. *American Ethnologist*, 1976, 3: 400–424.
- Enfield et al. 2006 — Enfield N., Majid A., van Staden M. (eds.). Parts of the body: Cross-linguistic categorisation. *Language Sciences*, 2006, 26(2–3): 137–360.
- Enfield, Wierzbicka 2002 — Enfield N., Wierzbicka A. (eds.). *The body in description of emotion (= Pragmatics and Cognition, 2002: Special issue)*.
- Evans, Wilkins 2001 — Evans N., Wilkins D. P. The complete person: Networking the physical and the social. *Forty years on: Ken Hale and Australian languages*. Simpson J., Nash D., Laughren M., Austin P., Alpher B. (eds.). Canberra: Pacific Linguistics, 2001, 493–521.
- Evseeva, Salaberri 2018 — Evseeva N., Salaberri I. Grammaticalization of nouns meaning “head” into reflexive markers: A cross-linguistic study. *Linguistic Typology*, 2018, 22(3): 385–435.
- Frishberg 1975 — Frishberg N. Arbitrariness and iconicity: Historical change in American Sign Language. *Language*, 1975, 51(3): 696–719.
- Goossens 1990 — Goossens L. Metaphonymy: The interaction of metaphor and metonymy in expressions for linguistic action. *Cognitive Linguistics*, 1990, 1(3): 323–340.
- Heine 1997 — Heine B. *Cognitive foundations of grammar*. Oxford: Oxford Univ. Press, 1997.
- Heine 2000 — Heine B. Polysemy involving reflexive and reciprocal markers in African languages. *Reciprocals: Forms and functions*. Frajzyngier Z., Curl T. S. (eds.). Amsterdam: John Benjamins, 2000, 1–29.

⁷ <https://wold.clld.org/>

⁸ <https://decolar.uni-paderborn.de/>

- Heine 2014 — Heine B. The body in language: Observations from grammaticalization. *The body in language. Comparative studies of linguistic embodiment*. Brenzinger M., Kraska-Szlenk I. (eds.). Leiden: Brill, 2014, 13–32.
- Hilpert 2007 — Hilpert M. Chained metonymies in lexicon and grammar: A cross-linguistic perspective on body-part terms. *Aspects of meaning construction*. Radden G., Köpcke K.-M., Berg T., Siemund P. (eds.). Amsterdam: John Benjamins, 2007, 77–98.
- Johnson 1987 — Johnson M. *The body in the mind: The bodily basis of meaning, imagination and reason*. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1987.
- Kibrik 2012 — Kibrik A. A. Toward a typology of verbal lexical systems: A case study in Northern Athabaskan. *Linguistics*, 2012, 50(3): 495–532.
- Kövecses 2000 — Kövecses Z. *Metaphor and emotion: Language, culture and the body in human feeling*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2000.
- Kövecses 2005 — Kövecses Z. *Metaphor in culture: Universality and variation*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2005.
- Kraska-Szlenk 2014a — Kraska-Szlenk I. Semantic extensions of body part terms: Common patterns and their interpretation. *Language Sciences*, 2014, 44: 15–39.
- Kraska-Szlenk 2014b — Kraska-Szlenk I. *Semantics of body part terms: General trends and a case study of Swahili*. Munich: LINCOM Europa, 2014.
- Kraska-Szlenk 2019 — Kraska-Szlenk I. *Embodiment in cross-linguistic studies: The 'head'*. Leiden: Brill, 2019.
- Kuteva et al. 2019 — Kuteva T., Heine B., Hong B., Long H., Narrog H., Rhee S. *World lexicon of grammaticalization*. 2nd edn. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2019.
- Lakoff 1987 — Lakoff G. *Women, fire and dangerous things: What categories reveal about the mind*. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1987.
- Lakoff, Johnson 1980 — Lakoff G., Johnson M. *Metaphors we live by*. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1980.
- Lakoff, Johnson 1999 — Lakoff G., Johnson M. *Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenge to Western thought*. New York: Basic Books, 1999.
- Maalej, Yu 2011 — Maalej Z., Yu N. (eds.). *Embodiment via body parts: Studies from various languages and cultures*. Amsterdam: John Benjamins, 2011.
- Majid 2010 — Majid A. Words for parts of the body. *Words and the mind: How words capture human experience*. Malt B. C., Wolff Ph. (eds.). Oxford: Oxford Univ. Press, 2010, 58–71.
- Occhi 2011 — Occhi D. A cultural-linguistic look at Japanese 'eye' expressions. *Embodiment via body parts. Studies from various languages and cultures*. Maalej Z., Yu N. (eds.). Amsterdam: John Benjamins, 2011, 171–193.
- Pyers, Senghas 2020 — Pyers J., Senghas A. Lexical iconicity is differentially favored under transmission in a new sign language: The effect of type of iconicity. *Sign Language & Linguistics*, 2020, 23(1/2), Special Issue in memory of Irit Meir: 73–95.
- Radden 2001 — Radden G. The folk model of language. *Metaphorik.De*, 2001, 1: 55–86.
- Ryzhova et al. 2019 — Ryzhova D. A., Rakhilina E. V., Kholkina L. S. Approaching perceptual qualities: The case of HEAVY. *Perception metaphors*. Speed L. J., O'Meara C., San Roque L., Majid A. (eds.). Amsterdam: John Benjamins, 2019, 185–207.
- Sharifian 2011 — Sharifian F. *Cultural conceptualizations and language*. Amsterdam: John Benjamins, 2011.
- Sharifian 2017 — Sharifian F. *Cultural linguistics*. Amsterdam: John Benjamins, 2017.
- Sharifian et al. 2008 — Sharifian F., Dirven R., Yu N., Niemeier S. (eds.). *Culture, body, and language: Conceptualizations of internal body organs across cultures and languages*. Berlin: Mouton de Gruyter, 2008.
- Svorou 1994 — Svorou S. *The grammar of space*. Amsterdam: John Benjamins, 1994.
- van Staden 2006 — van Staden M. The body and its parts in Tidore, a Papuan language of Eastern Indonesia. *Language Sciences*, 2006, 28: 323–343.
- Vainik 2011 — Vainik E. Dynamic body parts in Estonian figurative descriptions. *Embodiment via body parts. Studies from various languages and cultures*. Maalej Z., Yu N. (eds.). Amsterdam: John Benjamins, 2011, 41–70.
- Wierzbicka 2007 — Wierzbicka A. Bodies and their parts: An NSM approach to semantic typology. *Language Sciences*, 2007, 29(1): 14–65.
- Wilkins 1996 — Wilkins D. Natural tendencies of semantic change and the search for cognates. *The comparative method reviewed*. Durie M., Ross M. (eds.). Oxford: Oxford Univ. Press, 1996, 264–304.

- Will 2005 — Will I. *Syntactic classes of nouns in Hausa*. Ph.D. diss., Univ. of Warsaw, 2005.
- Yu 1998 — Yu N. *The contemporary theory of metaphor: A perspective from Chinese*. Amsterdam: John Benjamins, 1998.
- Yu 2009a — Yu N. *From body to meaning in culture: Papers on cognitive semantic studies of Chinese*. Amsterdam: John Benjamins, 2009.
- Yu 2009b — Yu N. *The Chinese HEART in a cognitive perspective: Culture, body, and language*. Berlin: Mouton de Gruyter, 2009.
- Zalizniak et al. 2012 — Zalizniak Anna A., Bulakh M., Ganenkov D., Gruntov I., Maisak T., Russo M. The catalogue of semantic shifts as a database for lexical semantic typology. *Linguistics*, 2012, 50(3): 633–669.

Получено / received 02.10.2020

Принято / accepted 17.11.2020

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

научный журнал Российской академии наук
(свидетельство о СМИ ПИ № ФС77-77284 от 10.12.2019 г.)

Оригинал-макет подготовлен С. С. Белоусовым

Адрес редакции: 119019, Москва, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, редакция журнала «Вопросы языкознания»,
тел.: +7 495 637-25-16, e-mail: voprosy@mail.ru

Подписано к печати 25.01.2022 Формат 70×100^{1/6} Уч.-изд. л. 15,5

Тираж 300 экз. Зак. 5/1а Цена свободная

Учредители: Российская академия наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН

Издатель: Российская академия наук

20 экземпляров распространяется бесплатно

Исполнитель по контракту № 4У-ЭА-134-21 ООО «Интеграция: Образование и Наука»
105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1, пом. 13–14

Отпечатано в ООО «Институт информационных технологий»



ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

НА БАЗЕ ИНСТИТУТА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ РАН



БАКАЛАВРИАТ
История
Культурология
Археология



МАГИСТРАТУРА
Модели всемирной истории
Культура массовых коммуникаций
Теория и практика археологических исследований



АСПИРАНТУРА
Исторические науки
и археология
Теория и история культуры

Комплексные образовательные программы разработаны специалистами исторического факультета с учетом последних научных достижений и современных общемировых тенденций.

В основе образовательного процесса — передовые технологии обучения, направленные на развитие мышления и творческого потенциала личности, достижение успеха в профессиональной среде. Студенты факультета с первого курса погружаются в мир академической науки, слушают лекции ведущих российских ученых с мировыми именами и сами участвуют в научных мероприятиях. В образовательные программы, помимо обязательных дисциплин, предусмотрены федеральными стандартами, включены уникальные авторские учебные курсы.

5 ПРИЧИН ПОСТУПИТЬ В ГАУГН



ВЫДАЮЩИЕСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Научные сотрудники ведущих институтов РАН, включая академиков, членов-корреспондентов, докторов и кандидатов наук.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Преподаватель общается с каждым студентом индивидуально, помогает в выборе вектора профессионального развития.



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Отдельные лекции читают приглашенные специалисты из других стран. Большое внимание уделяется языковой подготовке.



УДОБСТВО

Факультеты находятся в Москве в непосредственной близости от метро. Обучение в магистратуре и аспирантуре в основном проходит в вечернее время. Подать документы можно онлайн.



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Студенты ГАУГН могут участвовать в многочисленных студенческих клубах («Что? Где? Когда?», Клуб политического анализа, Китайский разговорный клуб и др.).



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

НА БАЗЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
с 1994 года



Преподаватели – ведущие российские ученые

- более 30% – доктора наук
- более 45% – кандидаты наук



Стажировки в:

- ведущих научно-исследовательских организациях
- органах государственной власти
- крупнейших общественных организациях
- бизнес-структурах



Интеграция науки и образования



Бюджетные места



Насыщенная студенческая жизнь



Отсрочка от армии

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

АСПИРАНТУРА

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

• История •

• Философия •

• Политология •

• Социология •

• Международные отношения •

• Зарубежное регионоведение •

• Востоковедение и африканистика •

• Психология •

• Культурология •

• Археология •

• Менеджмент •

• Юриспруденция •

• Экономика •

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Горячая линия: +7 (499) 238-04-12



facebook.com/gaugn



instagram.com/gaugn_/_



gaugn.ru



E-mail: info@gaugn.ru



vk.com/gaugn

